

AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

Дополнительный том
СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ



AMERICAN RESEARCH PRESS

АБРАМ ИЛЬИЧ ФЕТ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 7-МИ ТОМАХ



Том 1-й

Инстинкт и социальное поведение

Том 2-й

Пифагор и обезьяна: роль математики в упадке культуры

Том 3-й

Заблуждения капитализма

Том 4-й

Польская революция

Том 5-й

Письма из России

Том 6-й

Интеллигенция и мещанство

Том 7-й

Воспоминания и размышления

Том 8-й, дополнительный

Статьи разных лет

Rehoboth, New Mexico, USA

— 2015 —

All correspondence and orders of printed copies of the books should be addressed to Ludmila P. Petrova, the copyright holder of A.I. Fet and the Editor-Compiler of the Collected Works in 7 volumes. E-mail: aifet@academ.org

Copyright © Abraham Ilyich Fet, 2015

All rights reserved. Electronic copying, print copying and distribution of this book for non-commercial, academic or individual use can be made by any user without permission or charge. Any part of this book being cited or used howsoever in other publications must acknowledge this publication.

No part of this book may be reproduced in any form whatsoever (including storage in any media) for commercial use without the prior permission of the copyright holder. Requests for permission to reproduce any part of this book for commercial use must be addressed to the Author. The Author retains his rights to use this book as a whole or any part of it in any other publications and in any way he sees fit. This Copyright Agreement shall remain valid even if the Author transfers copyright of the book to another party.

This book was typeset using the L^AT_EX typesetting system.

Cover image: “Melencolia I”, the 1514 engraving by Albrecht Dürer. This image is the public domain.

ISBN 978-1-59973-400-2

American Research Press, Box 141, Rehoboth, NM 87322, USA
Standard Address Number: 297-5092

AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. ФЕТ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 7-МИ ТОМАХ

Дополнительный том



СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ



Rehoboth, New Mexico, USA

— 2015 —

Оглавление

От редактора-составителя	5
СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ	9
Латинская Америка и иллюзии американских радикалов	10
Права и обязанности в американских университетах	37
Апокалипсис профессора Блума	59
Четыре аргумента в пользу устранения телевидения	76
Такой физики нет	96
Об учебнике геометрии А. П. Киселёва	101
Педагогические идеи А. Н. Уайтхеда	106
Капитализм и социализм	114
Культуры и культурный релятивизм	171
Эволюция и прогресс	189
Мудрость Запада и мудрость Востока	204
Судьба демократии	212
Двойная связка. Теория шизофрении по Грегори Бейтсону ...	251

От редактора-составителя

Большая часть статей А. И. Фета, написанных в разное время, уже вошла в 7-томное издание. Некоторые тома полностью состоят из статей, связанных единой тематикой (том 5 — «Письма из России»; том 6 — «Интеллигенция и мещанство»). Другие тома дополнены разделом «Статьи разных лет», где статьи связаны с основной публикацией сходством тематики. Том 2, «Пифагор и обезьяна», дополнили 10 статей: Наука и история, Мудрецы древности, Законы истории, Введение в естествознание, Введение в психологию, О вере, О религии, Конрад Лоренц и кибернетика, Учёный скот, Что такое образованный человек? В том 3, «Заблуждения капитализма», вошли 3 статьи: Социальные доктрины, Что такое социализм, Общество потребления. Том 4, «Польская революция», дополнен ещё тремя статьями: Макиавелли и начало национализма, Психологические аспекты национальных проблем, Тайная вечеря Сталина.

Дополнительный том составляют статьи, не вошедшие в предыдущие тома. Все они написаны в десятилетие с 1991 по 2000 год. После горбачёвской «перестройки» и крушения Советского Союза «невъездной» А. И. впервые смог выехать за рубеж. В этот период он дважды побывал в США: с сентября по декабрь 1990 года работал в Иллинойском университете в Чикаго, а в 1996 году совершил частную поездку. И хотя он говорил, что ничего нового в США не увидел, эти поездки определили некое новое направление в его творчестве.

Вскоре после первой поездки в США была написана статья «Латинская Америка и иллюзии американских радикалов». По словам самого автора, «Этот обзор латиноамериканской проблемы возник из моих споров с американцами, главным образом из числа левых радикалов». В обзоре освещаются: история колонизации Америки; общественный строй в латинской Америке к середине 20 века; зависимость Латинской Америки от США; особенности революционного движения в Латинской Америке; тоталитарные режимы после революций; общие черты тоталитарных режимов; что происходит после «социалистических революций»; характерные особенности «закрытого общества»; почему в стране с тоталитарным режимом с вами не будут говорить откровенно. Но один из главных лейтмотивов статьи — откуда и как «невъездной» автор добывает информацию.

Тогда же, в феврале 1992 года, на семинаре Московской Хельсинской группы А. И. прочитал доклад “Права и обязанности в американских университетах”, который был опубликован, вместе с его обсуждением, в сборнике “Социальные проблемы и права человека”, Москва, 1993.

“Американские университеты богаты, — говорит автор, — их здания, оборудование и библиотеки превосходят всё, что бывает у нас. Можно было бы подумать, что мы должны принять за образец американскую систему высшего образования и стремиться создать подобную систему у нас. Но в действительности дело обстоит не так просто. По моему мнению — и в этом со мною согласны все, кто имел возможность сравнить обе системы — средний американский университет по качеству предоставляемого им образования не лучше среднего российского вуза. . . Это предприятия, производящие и продающие дипломы, и надо сказать, что из всех производимых в Америке товаров это самый низкокачественный товар”.

Очевидно, что коммерческий подход к образованию и науке неизбежно ведёт к их деградации. Каждый студент может получить диплом за деньги, а самые способные к “выбиванию грантов” профессора далеко не всегда оказываются в той же мере способными в своей научной деятельности.

В этом докладе А. И. неоднократно упоминает книгу Алана Блума “Угасание американского духа”¹, в связи с которой он писал:

“Не все отдают себе отчёт в том, что мы живём в эпоху катастрофического упадка культуры. Технические удобства жизни и приложения научных открытий прошлого скрывают от публики этот упадок.

Профессор Блум много лет преподавал в американских университетах и наблюдал изменение человеческого типа студентов. Его впечатления кажутся горестным свидетельством недавнего прошлого западной культуры о её настоящем. Вряд ли в литературе имеется более пронизательное изображение обнищания человеческой личности. Можно ли думать, что в России мы ещё до этого не дошли?”

Проблемы образования и воспитания молодого поколения были источником постоянного беспокойства А. И. И когда в Петербурге начал выходить “Новый педагогический журнал”, одним из редакторов которого был А. В. Гладкий, для первого же номера этого журнала А. И. написал реферат по книге Блума.

¹Allan Bloom. *The Closing of the American Mind*. N.-Y.: Simon and Schuster, 1987.

Вышло всего четыре номера журнала, и в каждом появлялась статья А. И. — в виде рефератов, полемики или разбора школьных учебников. Пятого номера уже не было, но статья для него была написана. Все пять статей Фета для “Нового педагогического журнала” мы включили в дополнительный том.

Следующие пять статей, вошедших в этот том, публикуются впервые, на основе авторских рукописей. Они появились как эскизы к книге “Инстинкт и социальное поведение”. Но написание самой книги косвенно было связано с поездками в США.

Американцы, считавшие себя консерваторами, восхищались недавно вышедшей книгой Хайека “Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма”¹. Её автора они считали глубоким экономистом и философом; и когда в 1991 году вышло очередное издание книги, они прислали её А. И.

Хайек удивил его слабостью аргументов и полным забвением биологической природы человека, о которой сам он размышлял уже более четверти века, и даже делал попытки изложить свои мысли в статьях.

Вступив в полемику с Хайеком, А. И. написал свыше 250 рукописных страниц, где дал блестящий критический разбор основных идей Хайека. Из текста видно, что в третьей части он намеревался противопоставить ему свои собственные идеи. Но в какой-то момент у него пропала охота полемизировать и, наскоро завершив вторую часть, он принялся излагать собственные идеи, но уже не в этой книге, а в монографии “Инстинкт и социальное поведение”.

В самом конце лета 1996 года А. И. снова уехал в США, а в октябре сообщил, что вернулся к своей книге: “Пишу набросок главы об экономике «свободного рынка»”. Это была статья “Капитализм и социализм” — первый из пяти эскизов к книге “Инстинкт и социальное поведение”. Четыре других были написаны в 2000 году: Культуры и культурный релятивизм, Эволюция и прогресс, Мудрость Запада и мудрость Востока, Судьба демократии. Скорее это даже не эскизы, а предварительное изложение мыслей для возможного последующего использования.

Завершает дополнительный том лекция, прочитанная А. И. в 2000 году студентам Факультета семейного консультирования Томского педагогического университета — “Двойная связка. Теория шизофрении по Грегори Бейтсону”.

¹F. A. Hayek “*The Fatal Conceit. The Errors of Socialism*”, The University of Chicago Press, 1988.

Из названия можно заключить, что это реферат работы Бейтсона. В действительности доклад совсем о другом. О широте научных интересов Бейтсона, способного понять открытия в далёких научных сферах – кибернетике, теории множеств, математической логике – и применить их в своём исследовании. О “парадоксе Рассела” и разрешении этого парадокса в *Principia Mathematica*. О необходимости парадоксального мышления в научном и художественном творчестве (“О сколько нам открытий чудных/Готовят просвещения дух/И опыт, сын ошибок трудных,/И гений, парадоксов друг...”). Парадоксальность поведения шизофреников, замеченная Бейтсоном, для докладчика лишь повод развернуть перед слушателями величественную картину научного познания на примере самых выдающихся учёных.

А. И. был убеждённым просветителем и использовал любую возможность общения со студенческой молодёжью — выступал с лекциями на самые разные темы, беседовал с ними, провоцируя споры и дискуссии. Он никогда не ориентировался на “среднего студента”, но всегда старался заечь самых способных. В “эпоху катастрофического упадка культуры и обнищания человеческой личности” он считал первостепенной задачей воспитывать у молодёжи вкус к образованию и самостоятельному мышлению, увлекая её собственным примером. “Спасение культуры должно быть делом культурных людей, способных организовать общественное сознание”.

Л. П. Петрова

СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ



Латинская Америка и иллюзии американских радикалов¹

Этот обзор латиноамериканской проблемы возник из моих споров с американцами, главным образом из числа левых радикалов. Отсюда две особенности моей статьи, которые могут вызвать удивление у читателя, не принадлежащего этой группе людей.

Во-первых, я начинаю с подробного обзора “традиционного” состояния Латинской Америки, то есть её состояния до середины нашего века, когда там развились революционные движения, прямо или косвенно направленные против гегемонии Соединённых Штатов. Эта часть статьи имеет целью изложить моё представление о предпосылках революционного движения в Латинской Америке, чтобы мои американские друзья убедились, что между нами нет особенных различий в знании и понимании существовавших там условий.

Вторая особенность статьи — это объяснение некоторых очевидных условий жизни в тоталитарных государствах. Опыт показывает, что американцы, даже много читавшие о таких режимах и пытавшиеся установить контакты с людьми в условиях тоталитарного государства, плохо понимают психологию населения таких стран, и даже не отдают себе отчёта в структуре действующих там механизмов. Таким образом, эта статья предназначена для американцев, имеющих, может быть, со мною общие идеалы, но иначе понимающих рассматриваемый предмет.

1. История колонизации Америки

Латинскую Америку колонизировали испанцы и португальцы, Северную Америку — главным образом англичане. Колонизация Латинской Америки была почти завершена к началу XVII века, когда только начиналось переселение в Северную Америку предков нынешних белых американцев. Эти события разделяет не только столетие (1500–1620 годы), но в действительности целая историческая эпоха. Испанцы и португальцы, пришедшие в Америку после

¹Статья написана в 1992 или 1993 году. Публикуется впервые, на основе авторской рукописи. Для удобства читателей девять разделов, намеченных автором, редактор дополнил заголовками. — *Примеч. ред.*

Колумба, были почти во всём средневековые люди и, в частности, ревностно верующие католики; английские колонисты, начиная с “Мейфлауэра”, были верующие протестанты, но почти во всём люди нового времени. Вера их была менее церковной, более направленной на личное спасение, и они были меньше заинтересованы в прозелитизме.

Индейцы Северной Америки были менее развиты в культурном отношении, малочисленны в огромной стране. Они почти не оказывали сопротивления белым, а уходили на запад, где было много места для их кочевой жизни. Смешение рас на севере Америки не происходило. На юге оно произошло. Здесь испанцы столкнулись с развитыми цивилизациями и плотным населением, которому некуда было уйти. Крайняя жестокость колонизаторов не помешала их смешению с индейцами. Большая часть Латинской Америки — метисы, усвоившие испанский или португальский язык. Меньшая часть сохранила индейские языки и не смешивалась, но почти все приняли католическую веру. Поскольку в населении встречаются всевозможные расовые комбинации, в Латинской Америке меньше расизма, чем в Северной, и нет столь резкого барьера, социального и культурного, разделяющего в Соединённых Штатах белых и “цветных”.

Впрочем, ключевые позиции в хозяйстве всегда оставались в руках “чистых” европейцев, гордящихся своим происхождением. Лишь мексиканские революции 19 века внесли в это положение некоторые коррективы. И всё же, эти “белые” составляют небольшое меньшинство, а индейцы и их потомки-метисы — подавляющее большинство. Положение “цветных” в Латинской Америке, следовательно, совсем не то, что в Соединённых Штатах: они психологически не столь подавлены, и не столь подвержены комплексу неполноценности, привитому “цветным” в Северной Америке. Мне встречалось много этнографов, изучавших расовый вопрос на островах Карибского моря; они уверяют, что главная проблема негров не в том, что белые считают их хуже себя, а в том, что они сами подсознательно разделяют такую установку. Рабство в течение долгих поколений имеет свои психологические следствия, и я наблюдал аналогичные явления у нерусских народов, колонизированных Россией. Несомненно, такая психология меньше угнетает “цветных” Латинской Америки, оставляющих подавляющее большинство населения и сохранивших в значительной части племенную структуру и традиционный уклад жизни. Их проблема — не столь расовая, как социальная.

2. Общественный строй в Латинской Америке к середине 20 века

К середине двадцатого века в Латинской Америке сложился общественный строй, который я сейчас опишу. Вы сами сможете судить, насколько это моё описание соответствует вашим знаниям и представлениям, но я уверен, что здесь больших расхождений не будет, поскольку изображаемая историческая ситуация хорошо отражена в исследованиях социологов и историков, и в общих чертах не оспаривается никем.

В большинстве стран Латинской Америки сохранилось полуфеодальное, или даже почти феодальное общество, возникшее после колонизации, в котором главным видом производства было сельское хозяйство, с прибавлением в отдельных местах горнодобывающей промышленности, также устроенной на средневековый лад. Более “развитые”, то есть более затронутые прямой колонизацией местности делились на “асьенды”, помещичьи землевладения, в которых положение крестьян — “пеонов” — мало отличалось от положения крепостных в Европе раннего средневековья, а в ряде случаев напоминала положение рабов в древнем Риме. Для работы на плантациях ввозили также (до середины прошлого века) чёрных рабов из Африки, так что в Латинской Америке есть теперь и слой чёрного населения. Там, где возделывались плантационные культуры — сахарный тростник, кофе, рис, табак, бананы, хинин, кока, каучук, — или где велась хищническая эксплуатация лесов, пеоны находились практически в рабстве, даже если юридически они считались свободными, под начальством надсмотрщиков “классического” типа, известных в Соединённых Штатах в период рабовладельческого хозяйства на Юге. В асьендах, или латифундиях, крестьяне были в положении крепостных, если не юридически, то экономически порабощенные вечными долговыми обязательствами. Такое положение ещё в девятнадцатом веке привело к ряду крестьянских восстаний, особенно в Мексике, где проводились земельные реформы, не намного улучшившие положение крестьян. Зависимость от государственной бюрократии, от банков и посредников-торговцев оказалась почти столь же тяжёлой, как была зависимость от помещиков.

В промышленности, где главными продуктами были серебро, золото, медь, а в двадцатом веке также нефть, положение шахтёров также мало отличалось от рабства; при отсутствии механизмов, изнурительный ручной труд переносился лишь с помощью наркотического средства — листьев коки, и продолжительность жизни рабо-

чих была коротка. Во вновь возникших центрах промышленности, в больших городах, таких как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Мехико, бегство крестьян в города создало обилие дешёвой рабочей силы, и тем самым особенно благоприятные возможности для её эксплуатации местными и иностранными капиталистами. Безработица в городах обеспечила промышленникам резерв рабочих рук, переполнив предместья обнищавшими людьми, готовыми на любую работу, и в значительной части пополняющих ряды преступного мира.

Почти поголовная неграмотность народов Латинской Америки препятствовала организованному профсоюзному движению и формированию политических партий. Политика была в Латинской Америке привилегией правящей элиты, преимущественно происходившей из “несмешанных” потомков колонизаторов, и отчасти из более поздних белых эмигрантов.

В более отдалённых областях, в джунглях и на горных плато Южной Америки жили индейские племена, сохранившие свой традиционный образ жизни, свои языки и остатки своей культуры. Эти племена, совершенно бесправные и презираемые государственной администрацией, подвергались всяческой эксплуатации и вымогательству, а при обнаружении в их местностях природных богатств беспощадно истреблялись. Эта практика продолжается и по сей день. Феодалная структура латиноамериканского общества означала почти полное отсутствие доступного образования и здравоохранения, составлявшие привилегию имущих классов. Наложившаяся на этот уклад жизни урбанизация и миграция обнищавшего населения в промышленные центры привела к распаду семей, детской беспризорности и, вследствие этого, размножению молодежной преступности и проституции. Политические режимы стран Латинской Америки легко мирятся с “фавелами”, районами трущоб вокруг больших городов, и ничего не делают, чтобы помочь их обитателям. Социальное расслоение в Латинской Америке гораздо более жёстко, чем в развитых капиталистических странах. Общество более очевидным образом делится на бедных и богатых, бесправных и привилегированных. Господствующие классы афишируют своё богатство и власть, демонстрируя презрение к простому народу нередко в тех же формах, как в Средние века.

3. Зависимость Латинской Америки от США

Особой чертой экономического и политического положения Латинской Америки была (и остаётся) её зависимость от Соединён-

ных Штатов. После освободительного движения в начале 19 века страны Латинской Америки добились независимости от Испании и Португалии, но движение это было главным образом делом бедных колонистов, мало затронувшим интересы подневольного коренного населения. В многочисленных вновь возникших республиках установилась власть помещиков и торговцев, прикрытая демократическими вывесками. Особую роль при этом играли армии. Настоящие войны между государствами в Латинской Америке редки, там не было милитаризма в европейском смысле этого слова. Армия в Латинской Америке выполняет внутривнутриполитические функции: обеспечивает покорность населения, осуществляя время от времени карательные экспедиции, и доставляет престижное положение выходцам из местной правящей элиты. Армия здесь слилась с властью, и часто президентами становятся генералы. История военного переворота в Чили говорит о том, что, во всяком случае до 60-х годов, монополия армии на власть в Латинской Америке сохранялась.

Но во второй половине 19 века, и особенно в начале 20 века на место испанского колониализма пришёл североамериканский, так что фактическая власть во многих странах Латинской Америки (а в других — решающее подспудное влияние) перешла к Соединённым Штатам. Официальная позиция Соединённых Штатов всегда состояла в том, что у них не было и нет колоний. Это верно лишь в юридическом смысле: в самом деле, Соединённые Штаты никогда не называли колониями территории, которые они присоединяли, и тем более страны, над которыми они установили своё фактическое господство. Такой статус “великой державы без колоний” давал правительству Соединённых Штатов некоторое преимущество в отношениях со “старыми” колониальными странами; достаточно вспомнить споры Рузвельта с Черчиллем во время подготовки “Атлантической хартии”.

Но по существу Соединённые Штаты вначале даже вели колониальную политику старого типа, с применением военной силы. Если Луизиана и Аляска были куплены за деньги (причём никто, конечно, не спрашивал местное население), то Северная Калифорния и Техас были отобраны у Мексики в результате войны, а война с Испанией из-за Кубы была типичной схваткой между колонизаторами. Всё это можно было скрывать, поскольку присоединяемые территории были населены белыми, не особенно противившимися этому, или были мало населены и вскоре обжиты американцами. Дальнейшее присоединение испаноязычных стран, с чуждыми нравами и традициями, было нежелательно; но уже в нача-

ле 19 века президент Монро провозгласил официальную доктрину, по существу установившую протекторат Соединённых Штатов над всем Западным полушарием. Конечно, никто не спрашивал народы латиноамериканских стран, что они об этом думают. “Доктрина Монро” была, по существу, заявкой на монопольную эксплуатацию всего Западного полушария, и так была понята правительствами Европы, имевшими там значительные интересы. Но практическое освоение Латинской Америки североамериканским капиталом началось позже на несколько десятилетий. Компании и банки Соединённых Штатов стали контролировать экономику Латинской Америки, прибирая к рукам её внешнюю торговлю, в частности, вывоз сельскохозяйственной продукции, для которой Соединённые Штаты стали важнейшим рынком (сахар, кофе, фрукты, каучук), и вкладывая капиталы в горную промышленность (серебро, золото, медь, цветные металлы). Позже к этому добавились капиталовложения в обрабатывающую промышленность, очень выгодные вследствие дешевизны рабочей силы.

Экономическое господство и есть новый вид колониализма; европейские страны перешли к нему после второй мировой войны, но “изобрели” его североамериканцы. Контроль над ключевыми отраслями экономики означал также политическое влияние, абсолютное в так называемых “банановых республиках”, но непреодолимое даже для сильнейших, развивающихся стран — Мексики, Бразилии и Аргентины. Никакое правительство в Латинской Америке не могло рассчитывать на длительное существование, не заручившись поддержкой Соединённых Штатов. Кажущееся исключение (режим Перрона в Аргентине, использовавший военные трудности Соединённых Штатов) только подчёркивает это правило. При этом использовались специфические условия латиноамериканской политики, где редко возникали “законно избранные” правительства, а чаще власть переходила в руки другой клики в результате “пронунсиамента”. Всегда можно было сместить неудобное правительство, поддержав противостоящую ему клику. Как это делается, изобразил О’Генри в своём знаменитом романе “Короли и капуста”. Если американские консерваторы отрицают использование таких механизмов, это попросту означает, что они применяют теперь более тонкие методы, а военную силу пускают в ход лишь в тех случаях, когда можно сослаться на опасность для граждан Соединённых Штатов.

Гегемония Соединённых Штатов в Латинской Америке всем известна, и давно уже на “гринго” перенесена ненависть к прежним

колонизаторам. Эта ненависть носит не расовый, а социальный характер; “белые” латиноамериканцы так же не выносят “гринго”, как и “цветные”. Это не делает ненависть к североамериканцам благороднее, поскольку так называемая “классовая ненависть”, даже выражающая вполне оправданный протест и защиту вполне законных интересов, всегда несёт на себе отпечаток зависти, и относится не к отдельным лицам, а к целой массе людей определённого типа. Вряд ли “классовая ненависть” рядового латиноамериканца делает исключение для небогатых или “левых” граждан Соединённых Штатов, что бы ни говорили их интеллигенты. Существенно здесь, что понятие “классы” отождествляется в массе народа с другой массой — с гражданами неприятного государства. Когда в Соединённых Штатах настаивают, что их граждане где-нибудь находятся в опасности, это может быть не только предложением, но и неприятным фактом; и если не принимаются против этого (или под предложением этого) меры, то дело может дойти до убийств. Это случилось, впрочем, нечасто, так как любая государственная власть (если таковая контролирует ситуацию) старается не допускать подобных предложений для прямого вмешательства. На Кубе существовала ещё особая причина неприязни к североамериканцам. Соединённые Штаты использовали близко расположенную Кубу как любимое место для туризма и “отдыха”, отчего Гавана превратилась в крупнейший центр проституции. Что делалось на Кубе до “коммунизма”, в Соединённых Штатах хорошо знают. Я видел американский фильм, изображающий кубинскую революцию с “левых” позиций. Сцены разгрома разъярённой толпой роскошного кафе для туристов изображена со знанием дела; хотя, естественно, авторов фильма революция интересует лишь как фон для любовной истории.

Роль местной правящей элиты — помещиков, торговцев и военно-полицейского аппарата — в таких условиях однозначна: вольно или невольно они становятся посредниками между иностранными колонизаторами и собственным народом, облегчая эксплуатацию природных богатств и местной рабочей силы, и постепенно втягиваясь в круг понятий и привычек своих колониальных господ. Это явление было настолько распространено в колониальных странах, что для таких посредников местного происхождения выработался особый термин — “компрадоры”, португальского происхождения.

Итак, Латинская Америка к середине 20 века была фактически колонизирована капиталом Соединённых Штатов, державших в своих руках экономический контроль посредством капиталовложений,

монополизации сбыта и подкупа местных властей, а в ряде случаев пускавший в ход и прямые военные и полицейские средства для поддержки или свержения неустойчивых режимов.

4. Особенности революционного движения в Латинской Америке

Описанные черты общественной жизни Латинской Америки — полуфеодальная экономика, наследственная правящая элита и иностранный капитализм, использующий эту элиту в качестве посредников-компрадоров — определили характер революционного движения в этой части света. Эти черты очень напоминали дореволюционный строй России и, в меньшей степени, Китая. Очевидные отличия состояли в том, что здесь не было единого большого государства, состав населения и культура были неоднородны, и вследствие этого влияние иностранного капитала было ещё значительнее. Но, в общем, общие закономерности — закономерности проникновения капитализма в феодальные страны — здесь достаточно очевидны.

Политическая неразвитость, отсутствие навыков демократического самоуправления и неграмотность угнетённых классов делают невозможным возникновение политических партий европейского типа, выражающих интересы трудящихся; поэтому в Латинской Америке никогда не было массовых социал-демократических партий. Некоторые движения совсем иного направления и институционального характера иногда присваивали такую роль; но эти движения были ориентированы не на выборы и парламентские реформы, игравшие небольшую роль в этом регионе, а на создание аппарата для насильственного захвата или удержания власти. Примером служит партия, монополизировавшая власть в Мексике. Обычно революционные движения принимали в Латинской Америке бунтарский характер, выливаясь в стихийные мятежи или партизанство. Люди, руководившие этими движениями, происходили, как правило, из малообразованных мелкобуржуазных слоев, имевших привилегию грамотности, но очень мало настоящего образования. Таковы были руководители мексиканских революций прошлого века, заимствовавших у своих северных соседей лозунги демократии в борьбе против диктатуры и олигархии в своей стране. Позже, когда “демократия” была уже скомпрометирована комедией парламентаризма, которую научились разыгрывать правящие классы латиноамериканских стран, здешние революционные лидеры переняли лозунги социализма и коммунизма. Но официальная идеология всегда на-

кладывается на местные бытовые условия и местную, исторически сложившуюся психологию. В общем, социалистическая и коммунистическая фразеология стала в середине 20 века почти универсальной в так называемых “развивающихся” странах, поскольку идеологические товары, производимые Западом, столь же непреодолимо притягательны для “третьего мира”, как и потребительские товары. Это общее правило при воздействии более сильной цивилизации на более слабые.

Но если при этом обычные товары используются, в общем, по их прямому назначению, то идеология претерпевает в слаборазвитых странах самые удивительные и разнообразные видоизменения. Достаточно вспомнить всевозможные виды мусульманского и африканского социализма, прикрывающие феодальные режимы, диктатуры или господство одного племени над другим, или то, что называется коммунизмом в Китае или Северной Корее.

Крестьянские восстания, впрочем, имеют общие черты во всех феодальных странах, и вследствие консервативности крестьянской жизни сохраняют эти черты в течение долгих исторических периодов. Прежде всего, эти движения анархичны, лишены организации, или с трудом поддаются ей, так как крестьянин, привыкший к одной и той же, вечно повторяющейся жизни в небольшой общине, и обычно никогда не бывавший далеко от своей деревни, в условиях мятежа испытывает страх и неуверенность, не знает, что делать и чему верить. В таких случаях поведение индивида определяется инстинктами и, следовательно, становится неустойчивым и истерическим, а поведение коллектива принимает характер стадного поведения, в худших случаях приводя к насильственным действиям толпы (*mob violence*). Крестьянские восстания в России, в Китае и в Латинской Америке имеют столь общие черты, что их описания, независимо сделанные в художественной литературе разных стран, выглядят поразительно сходными. Сходны и их результаты: восставшие крестьяне пытаются установить привычную патриархальную власть, изменив только правящее лицо, но сохранив неизменным весь общественный уклад. В России они всегда выдвигали кандидатов в “хорошие цари”, так называемых “самозванцев”; в Китае победоносные восстания приводили к воцарению новой династии, с крестьянским вождём в роли императора; в Латинской Америке лидер крестьян становился диктатором, с властью и привычками племенного вождя. Не видеть эти общие черты — свидетельство упадка мышления в 20 веке, когда “культурный релятивизм” профессоров дошёл до непонимания фундаментального единства человеческого

рода, и до неспособности видеть общие закономерности, очевидные для историков прошлого.

Недооценка мышления, неверие в возможность анализа и понимания общественных явлений — это характерная для нашего века реакция на чрезмерные упрощения (*oversimplifications*) идеологов прошлого века, вообразивших, будто они владеют уже “научным” методом объяснения общества и истории. Одно из этих научных заблуждений — марксистский “исторический материализм”, было в этом смысле особенно вредно, потому что в его исходных идеях было много верного, объективно значимого; это придало правдоподобие неосновательным обобщениям самого Маркса и марксистов. Мы имеем здесь ещё один пример неоправданного расширения области применимости научной теории, явления, весьма известного в истории науки: достаточно привести в виде примеров “детерминизм” Лапласа, “социал-дарвинизм” или “фрейдизм”. Поскольку применение марксистских доктрин в странах с более или менее азиатским жизненным укладом, таким, как Россия и Китай, привело к катастрофическим последствиям, в университетской науке Запада возникла реакция против “идеологий”, которая, как всякая социальная реакция, зашла далеко за пределы рационального пересмотра прошлых ошибок и привела к полной дискредитации всякого мышления в общественных вопросах. В наше время такое мышление сменилось детальным изучением отдельных культур, то есть “фактографией” без общего исторического понимания (*insight*).

Как известно, в некоторых странах Латинской Америки революционные движения привели к свержению феодально-диктаторских режимов и к установлению “коммунистических” режимов, очень скоро превратившихся в тоталитарные диктатуры, с лишением граждан всех человеческих прав, бюрократическим управлением и крайней нищетой народа, причём зависимость от Соединённых Штатов сменилась зависимостью от Советского Союза и Китая.

5. Тоталитарные режимы в Латинской Америке после революций

Теперь я перехожу к характеристике тоталитарных режимов в Латинской Америке, возникших после победы революций на Кубе и в Никарагуа. Главным образом я буду говорить о Кубе, поскольку режим Кастро вполне развился в условиях островной изоляции, и до сих пор существует. Прежде чем перейти к изложению моих взглядов на нынешнюю ситуацию, я прошу читателя сравнить приведён-

ные выше представления о прошлом Латинской Америки со своими, особенно об её состоянии в середине 20 века, перед началом интересующего нас революционного движения. Думаю, что читатель (я имею в виду американцев лево-радикального направления) найдет мои представления в общих чертах согласными с его собственными, и что даже американский консерватор во многом согласился бы с ними, поскольку объективная истина в этих исторических фактах почти очевидна. Во всяком случае, леворадикальный читатель никак не сможет заподозрить меня в приятных иллюзиях или апологетических склонностях по отношению к латиноамериканскому прошлому.

Но я никогда не был в Южной Америке, и даже никогда не общался с латиноамериканцами. До самого последнего времени я был вообще “невъездным”, то есть мне запрещены были по политическим мотивам любые поездки за границу. Все мои сведения и представления происходят из чтения и критического анализа прочитанного, в чём мне всю жизнь приходилось упражняться, если я хотел знать объективную истину в советских условиях. Даже научная литература, выходящая в Советском Союзе на русском языке, была богатым источником информации для вдумчивого читателя. Это были книги по географии, истории, экономике, социологии и политике, переведённые с испанского, португальского, английского и других языков, с некоторыми пропусками и предисловиями и примечаниями советских “ученых”, которые можно было игнорировать. Естественно, переводились работы авторов “левой” ориентации, но большей частью не коммунистов, так как коммунисты на Западе мало пишут книги. Читал я и книги “либеральных” авторов; а консерваторы в Латинской Америке, кажется, вообще книг не пишут. Впрочем, никем не оспариваемые факты нищеты, бесправия и неграмотности основной массы населения делают позицию консерваторов — людей, желающих сохранения этого строя жизни — совсем уж неинтересной. Далее, я прочёл кое-что из художественной литературы Латинской Америки, обильно переведившейся в Советском Союзе, — литературы с явно левыми и даже революционными тенденциями, но содержащей множество конкретных фактов, которые авторы не могли выдумать. Извлечение информации из художественной литературы — особое искусство, которое сильно развивается в условиях искусственной изоляции. Если вы убедились, что я составил себе в основном правильные представления о *прошлом* Латинской Америки, то вы должны будете признать *основательность* моих методов анализа, основанных только на чтении.

Здесь я столкнулся с американским подходом, который меня несколько удивил. Некоторые американцы думают, что правильное понятие о какой-нибудь стране, её населении и образе жизни может иметь только тот, кто там побывал. Вот что я думаю об этой точке зрения. На первый взгляд она просто инфантильна, потому что недоверие к собственным мыслительным возможностям и желание всё пощупать собственными руками — чисто детская черта. Но инфантильность — вовсе не особое свойство американских левых: вся американская культура инфантильна, по единодушному признанию культурных европейцев. Оставляя в стороне этот вопрос, который можно будет обсудить отдельно (вместе с некоторыми не менее интересными свойствами русской культуры), спешу заметить, что в вопросах политики недоверчивость американцев, это их желание всё “потрогать собственными руками”, имеют и некоторые эмпирические основания. В самом деле, их слишком часто обманывали; они имеют причины не доверять печати, телевидению, своим и иностранным политикам и журналистам. С другой стороны, у них подсознательное — тоже вполне основательное — недоверие к собственной способности суждения, которую отнюдь не развивает американская система образования, и уж, конечно, не гарантирует университетский диплом.

Итак, американец знает, что его обманывают, и знает, что он не способен разобраться в массе доставляемых ему фактов. Из этого он делает смешной, чисто ребяческий вывод, будто он может положиться на то, что сам видел и слышал. Вывод этот, прежде всего, не логичен. Человек, не умеющий разобраться в сообщениях других людей и не доверяющий своему суждению, не сможет также *понять* то, что сам видел и слышал. Толпы американских туристов ездят по свету, видят, слышат, и *ничего не понимают*. Достаточно послушать, как они описывают увиденные ими страны. Кроме банальных данных, которые можно было бы извлечь из рекламных изданий, не выезжая из своего города, они не видят и не понимают почти *ничего* — “почти” означает, что они могут заметить какую-то курьёзную деталь, или странный местный обычай, истолковав это в терминах своих американских представлений.

Точно так же, но в ещё более карикатурных формах, я изучал мнения советских туристов, которые возвращались из-за границы. Для понимания увиденного и услышанного надо знать, в какой стране ты находишься, в каком положении находятся твои собеседники по отношению к тебе, и в какие условия ты поставлен в этой стране её властями. Здесь главное, чего недостает американским

туристам — это понимание, *как работает тоталитарная система власти.*

Конечно, американец скажет мне, что нет никаких *общих* закономерностей тоталитарной системы, и что нельзя переносить на Кубу наблюдения, сделанные в России. Но в действительности такой американец подсознательно понимает общие закономерности, политических систем, и применяет их *на практике.* Когда он едет прогуляться в Англию, Францию или Италию, он вовсе не опасается, что с ним, с его багажом, его перепиской там обойдутся совсем иначе, чем в Америке: он твёрдо знает, в каких странах закон и обычай означает, в общих чертах, то, что он называет “демократией”. Но когда он едет в Китай, Северную Корею или на Кубу, он принимает совсем другие меры: если он умён, он тщательно обыскивает свой чемодан, чтобы там не к чему было придраться; а если он глуп, всё же проверяет, не рылись ли в нём в его отсутствие; если он умён, он не заговаривает с симпатичным на вид незнакомцем, чтобы его не подвести под полицейские меры; а если он глуп, говорит с ним в присутствии его земляков, чтобы тот не сказал ничего лишнего; если он умён, избегает местных женщин, опасаясь работающих на полицию, а если глуп, то всё равно избегает их, понимая, что в таких странах не контролируются сифилис и СПИД. В общем, *на практике* разницу между свободным поведением в “демократических” странах и поднадзорным — в тоталитарных понимают все. Но обдумать всё это умеют немногие. Между тем, уже самая полицейская техника — организация тайной полиции — неизбежно универсальна, как всякая техника, желающая быть эффективной. В тоталитарных странах широко используется, кроме того, первоначальный *советский* опыт. Известно, что во все “страны народной демократии” Восточной Европы были направлены, после их оккупации советской армией, “специалисты” НКВД для организации там “органов государственной безопасности” по советскому образцу. Эти “эксперты” всегда оставались в аппарате тайной полиции, тщательно следя, чтобы процедуры её ничем не отличались от советских. Обычаи, история, взгляды населения в таких странах, как Чехословакия, Польша, Венгрия резко отличались от русских; но люди Берия насадили там точно такие же учреждения, подобрали для них кадры, и начали проводить точно такой же контроль. Я проследил за этим процессом в Польше (нет, я не был там, но я знаю польский язык и читал польскую литературу, в том числе подпольную!). В коммунистических странах Азии, не столь подчинённых Москве, был тоже перенят советский опыт: в Китай, Вьетнам, Се-

верную Корею посылали тысячи “советников”, не только военных и технических, но и гебистов. Ким Ир Сен был сам агентом КГБ, как и польский президент Берут; оба эти факта коммунистам не удалось скрыть. Точно так же, советское военное присутствие на Кубе всегда сопровождалось “сотрудничеством” тайных полиций. Система концентрационных лагерей на Кубе устроена по сталинскому образцу. “Вредные” диссиденты сидели там и сидят по 20, 30 лет, и по сей день; “безвредных” Кастро сплавляет иногда в Штаты, и это, в общем, “экономические преступники”, т. е. люди, нарушившие правила официальной хозяйственной системы, не уплатив кому надо взятку. Сталин таким тоже давал привилегии: в лагерях это были “социально близкие”, но вот сплавить их было некуда.

Мне известны основные факты об организации и функциях тайной полиции в Советском Союзе, странах Восточной Европы, Китае, Вьетнаме и Северной Корее. Конечно, в каждой стране есть свои особенности, но можно выделить общие правила, применяемые во всех случаях, где это удалось проверить. Если в некоторых случаях не всё известно, то фрагменты, которые поддаются проверке, неизменно укладываются в общую картину. Я исследовал литературу на разных языках, главным образом *не* коммунистическую или антикоммунистическую, потому что в Советском Союзе об этих “органах” хранилось полное молчание. Если человек, сидевший в китайском, вьетнамском, польском или кубинском лагере, рассказывает западному собеседнику то же, что мне говорили узники советских лагерей, — всегда *то же* — я знаю, что он говорит правду. Да и как могло быть иначе в лагерях, устроенных по планам НКВД? Я *не* думаю, что авторы всех этих книг и статей на разных языках сговорились, чтобы клеветать на коммунистов, приводя одинаковые подробности.

В фашистской Германии лагеря были устроены несколько иначе. Но в деятельности тайной полиции общие правила ещё более разительны. Несомненно, они отражают некий “мировой опыт” контроля над мыслями и запугивания. Не сомневаюсь, что “органы” разных стран делятся своим опытом друг с другом. Сейчас я расскажу, что такое “тоталитарный политический режим”, который я детально изучил в Советском Союзе; потом я объясню, почему на Кубе всё это *не может быть* иначе.

6. Общие черты тоталитарных режимов

Как я уже говорил, революционные движения в Латинской Америке возникали стихийно, под действием описанных выше социаль-

ных условий. Это были крестьянские мятежи, обречённые на неудачу не только вследствие неспособности крестьян к организации, но главным образом из-за отсутствия положительной программы. Крестьяне знали, чего они *не хотят*, но не знали, чего *хотят*, что придавало их восстаниям, если так можно выразиться, “негативный” характер. Политическая программа политического движения в двадцатом веке обычно называется “идеологией”, причём предполагается, что идеология — изобретение 19-го века, пущенное в ход демагогами 20-го, и оцениваемое самым отрицательным образом, по результатам деятельности коммунистов и фашистов. Между тем, *каждое* политическое движение, с незапамятных времен, стремилось выработать свою положительную доктрину — свою “идеологию”. Несчастье крестьянских восстаний было в том, что их идеология долго оставалась консервативной. Я уже говорил о китайских крестьянах, которым даже удалось, в течение долгой истории Китая, несколько раз одержать победу над императорской армией. Идеалом их был “справедливый император”; вождь повстанцев занимал престол, основывал новую династию, и всё прошлое повторялось, как в дурном сне. В России крестьяне выдвигали кандидатов на престол, причем консерватизм их был столь силён, что они пытались придать этим претендентам легитимный характер, считая их членами правящей династии. Таковы были “самозванцы” (что значит: “сами себя назвавшие царем”), например, Лжедмитрий и Пугачёв.

На Западе крестьяне очень рано усвоили “христианскую” идеологию, обосновывая справедливость своих требований ссылками на Священное писание, где ничего не говорилось о рыцарях и даже о священниках, а о царях (kings) говорилось только плохое. Но сами требования крестьян, составлявшие их идеологию, носили чаще всего ретроградный характер: крестьяне мечтали о возвращении к первобытно-общинному строю, пережитки которого сохранялись очень долго. Французские крестьяне во время Жакерии хотели вернуться к тем временам, когда “не пришли ещё дворяне с их королём Франком”; английские крестьяне во время восстания Уотта Тайлера думали о тех временах, “когда Адам пахал, а Ева пряла” и спрашивали, “кто был тогда джентльменом?” Здесь уже слышатся идеи будущей Реформации. Позже, во время крестьянской войны в Германии, немецкие крестьяне переняли уже идеи протестантизма, направленные к восстановлению “первоначального христианства”; но их социальный идеал состоял в возвращении к племенной общине и совместному хозяйству вроде русского “мира”. Идеоло-

гия крестьянских восстаний всегда была утопической — в смысле *ретроградной* утопии.

Появление социализма и марксизма — последней ереси христианской религии — придало новую окраску этой старой тенденции. В сущности, положительный идеал коммунистов тоже носил ретроградный характер: они хотели отказаться от всех изобретений “исторического материализма”, от собственности, денег, рыночного хозяйства, и вернуться к прямому производству для реального потребителя и к обмену продукцией между её производителями. У Маркса этот идеал усложняется использованием техники и организации труда, которые предполагается заимствовать у капитализма. Но как раз эта сторона марксизма мало влияла на интересующую нас психологию крестьянских восстаний. Крестьяне пошли за марксистами из-за их ретроградно-утопических идеалов, созвучных ретроградным мотивам коммунизма. Они представляли себе нечто вроде возвращения к племенной общине, без имущественного неравенства и денежных отношений, — как это до сих пор сохраняется у “отсталых” индейцев пуэбло, возделывающих кукурузу. Эти представления о “кукурузном коммунизме” были использованы выходцами из городской мелкой буржуазии, возглавившими крестьянские движения — такими как Кастро и Ортега. Вначале эти “вожди” были даже не коммунисты, а бунтари с неопределёнными “революционными” тенденциями. Кастро был вожаком одной из многочисленных террористических организаций, возникших при разлагавшемся режиме Батисты и вбравших в себя недовольные деклассированные и полунинтеллигентские элементы. “Идеология” этих террористов колебалась в широких пределах, от фразеологии, напоминавшей социализм, до откровенно фашистской, а в ряде случаев эти “партизаны” попросту становились гангстерами, грабившими “классового врага” для собственной выгоды. “Экстремисты” двадцатого века вообще выделяются не своей идеологией, а общей склонностью к насилию. Очень часто группы крайне “левых” и крайне “правых” взглядов соприкасаются между собой, и отдельные люди переходят из “левых” в “правые”. Мао, вначале хотевший служить в полиции, совершил очень рано обратную эволюцию. Я не знаю, о чём в юности мечтал Фидель Кастро, но он пришёл к власти *не в качестве коммуниста*. Коммунистическую фразеологию он усвоил потом, а “настоящих”, “идейных” коммунистов — истребил. В точности так же поступил Сталин, вначале, по-видимому, примыкавший к меньшевикам, затем возглавлявший большевистских террористов и почти наверное бывший провокатором на службе царской охранки. Я не утверждаю,

что у Кастро столь же тёмное прошлое, что он был связан с ЦРУ или грабил банки. Но он вначале не был коммунистом, а потом, придя к власти, *назвал* себя коммунистом; и, что самое важное — перебил коммунистов, принимавших эту идеологию до него, и всерьёз. Так же поступил Мао со “старыми коммунистами”; точно так же, Гитлер, захватив власть, перебил в 1934 году “ветеранов” “национал-социалистической рабочей партии”, принимавших слишком всерьёз “социалистические” и “рабочие” пункты её программы. Очень трудно не заметить здесь общие черты всех тоталитарных диктатур. Муссолини не позаботился истребить своих “ветеранов”, и в 1943 году его сместил “большой фашистский совет”.

Простите, что я повторяю здесь простейшие наблюдения современной “политологии”; тоталитарные режимы в 20 веке столь многочисленны, и закономерности их появления и эволюции столь хорошо изучены, что Кастро и Ортега просто не могли не пройти весь путь, описанный в учебниках. Если бы они попытались уклониться от него, их сменил бы кто-нибудь из их “соратников”. Если бы Ленин оправился от болезни, во время которой он был фактически отстранён от власти, то Сталину пришлось бы его убить, как он и поступил почти со всеми, кого знал Ленин. И точно так же, как Сталину пришлось выслать из России Троцкого, принимавшего всерьёз идеи большевизма и слишком знаменитого, чтобы можно было его расстрелять, — Кастро пришлось изгнать Че Гевару, чтобы он устраивал дальше революции в другом месте. Когда вы видите ряды аналогичных явлений, повторяющихся с удручающей регулярностью, вы не радуетесь точности вашей “политологии”, а сокрушаетесь от того, каким образом *воспроизводятся одни и те же явления*, просто в силу “кибернетических” закономерностей политических систем. Когда Мао был заблокирован и фактически изолирован группой Лю, это в точности напоминало то, что сделали со Сталиным в конце его жизни; но Мао был здоров, сумел вырваться из блокады и устроил “культурную революцию”. И тогда у нас в России говорили: “Ну вот, у них начался 37-ой год”; говорили это и не очень умные люди — так было всё очевидно. Теперь мы слышим, как Фидель возится со своими “диссидентами” — одних гноит в тюрьме, других тайно убивает, а некоторых вынужден терпеть — и мы узнаём по газетным сообщениям все подробности истории, которую пережили на собственном опыте. Но аналогии идут дальше этого. Они отнюдь не ограничиваются “аппаратом власти”, а распространяются на ряд экономических и социальных явлений. Сейчас я расскажу, что происходит после победоносных “социалистических революций”.

7. Что происходит после “социалистических революций”

Прежде всего, эти революции — сложные, многозначные исторические явления. Они отражают реальное, *вполне оправданное* недовольство и протест трудящихся масс, страдающих от двойного гнета пережиточного феодализма и вновь возникающего компрадорского капитала. Всё, что говорят об этом “левые” радикалы, и просто объективные наблюдатели, всё, что пишут об этом в своих книгах честные писатели — справедливо в историческом и моральном смысле. Вопрос о том, “надо ли устраивать революции” в таких странах, как Россия, Китай или Латинская Америка звучит просто издевательски. Революции не “устраивают” и не “организуют”, они просто происходят — как извержение вулкана. Но в человеческом обществе все процессы получают “моральную” и “политическую” ориентацию. Лава, изливающаяся из вулкана, не чувствительна к доктринам; но человеческие массы, в решающий момент, можно направить в ту или иную сторону с помощью некоторых “спасительных” учений. Удачливые демагоги сначала “подстраиваются” к настроениям массы, а потом начинают её “вести”, куда им кажется нужным, — разумеется, “для её же блага”. Не моя вина, если мой язык сбился здесь на терминологию популярной в наше время психологической школы: есть общие закономерности психологии, и их можно использовать с самыми разными намерениями. Обычно люди, возглавляющие революционное движение, сами верят тому, что говорят — во всяком случае, вначале. Такая вера является, очевидно, важной предпосылкой удачной пропаганды.

Итак, революция побеждает под лозунгами, выдвинутыми её политическими вождями. Что же происходит затем? На первых порах революционную власть возглавляют бывшие подпольщики и герои гражданской войны, искренне стремящиеся осуществить свою партийную программу. Это бескорыстные люди, вначале ничего не желающие для себя. У них много энергии, потому что выдвинувшая их революция была, естественно, делом рук очень активных людей. И у них неограниченная власть, со всеми её преимуществами и опасностями. Опасности проявятся уже в ближайшем будущем; но преимущества видны *сразу же*, и в стране происходят, по-видимому, некоторые благотворные перемены.

Конечно, революция и гражданская война несут с собой разруху, а утопические меры в области экономики очень скоро обнаруживают несостоятельность доктрины правящей партии — “положительной” части её программы. Старый строй жизни удалось разрушить,

но не удаётся создать новый. Всё это вначале можно оправдывать последствиями гражданской войны и саботажем бывших хозяев, что с доверием воспринимают благожелательные иностранцы. Но, вместе с тем, можно видеть и прямые *положительные* результаты революции; такие же результаты были у нас в России в 20-е годы. Экспроприация господствующих классов доставляет революционерам значительные материальные возможности; в дальнейшем разорённое хозяйство страны не создаёт уже новых богатств, но на первых порах можно использовать старые: ценности в банках, здания, оборудование предприятий. И прежде всего, можно использовать оставшуюся от старого слоя прослойку образованных специалистов, многие из которых становятся на сторону революции. Инженеры, уверовавшие в идеалы революции, совершают чудеса, восстанавливая в трудных условиях предприятия; учителя, ранее преподававшие в элитарных учебных заведениях, с энтузиазмом учат детей из бедных семей; врачи устраивают для народа бесплатную медицинскую помощь. В условиях, когда изгнаны общественные паразиты, (и ещё не утвердились новые), энергия честных революционеров, кажется, творит чудеса. И многие простые люди, уверовавшие в революцию, начинают, по-видимому, пользоваться её плодами. Революционеры находят поддержку в среде рабочих и крестьян; многие из них учатся грамоте и даже сами становятся специалистами — хотя и не столь образованными, как старые, происходившие из образованных семей. Самое впечатляющее следствие революции — это тяга к грамотности в народной массе. У нас в России большевики очень много сделали для образования народа. Они создали “ликбез” — систему элементарных школ для “ликвидации безграмотности”, охвативших миллионы людей. Таким образом, улучшения в образовании и здравоохранении после революции были вполне реальны, и я вовсе не думаю их отрицать в случае Кубы, где дело обстояло примерно так же. У нас большевики устраивали в деревнях общедоступные библиотеки — “избы-читальни”, привлекавшие лучших, наиболее любознательных крестьян. Это влечение к знанию, возникшее в русской деревне вокруг “избы-читальни”, заметил даже крайне консервативный русский писатель Солженицын, объявивший себя врагом всех прошлых и будущих революций.

Большевики развили большую издательскую деятельность, используя опыт дореволюционных издателей и их типографии. Под руководством Максима Горького была начата “Библиотека всемирной литературы”, с целью доставить читателю образцовые переводы лучших писателей всех стран и всех времён. Книги были в совет-

ской России особым товаром, не подчинённым экономической выгоде. Государство, по существу, дотирировало издание учебной литературы, продававшейся по крайне низким ценам, научной и технической литературы, а также художественной литературы, выходявшей огромными тиражами в дешёвых изданиях. Конечно, такая государственная опека над книгами означала ограничение свободы печати, всё более чувствительное по мере вырождения коммунистической власти, но в двадцатые годы, и по инерции государственной политики в течение долгих последующих десятилетий книга оставалась в Советском Союзе самым дешёвым товаром: если мерить цены общей покупательной способностью рубля, то книги стоили у нас в двадцать или в тридцать раз дешевле, чем книги аналогичного содержания на Западе (хотя обычно с более низким качеством бумаги и печати).

То же относилось и к другим областям классической культуры. Дотировались “академические” театры, и просто театры, так что билеты стоили дёшево, даже при дорогостоящих постановках. Государство содержало музеи, с дешёвым, почти бесплатным входом. Государство содержало консерватории и симфонические оркестры, с дешёвыми билетами на концерты. И с двадцатых годов старые интеллигенты, проникнутые просветительскими идеями и готовые бескорыстно служить распространению культуры, сидели в издательствах, театрах, учебных заведениях и музеях, продолжая свою работу — вначале при поддержке большевиков, а потом, после истребления большевиков и значительной части интеллигенции во время террора, при всё возрастающем разрушительном вмешательстве чиновничьего аппарата. Но, при всём этом, “культурное строительство” большевиков оставило следы, которые можно проследить до шестидесятых годов, когда сошло со сцены последнее поколение русских интеллигентов. Во время войны ещё радио передавало серьёзные музыкальные передачи, в том числе произведения немецких композиторов; а дешёвые издания классиков продолжались даже в брежневские времена.

Важным следствием Октябрьской революции было повышение чувства собственного достоинства у простого человека, исчезновение “барства” и унижения трудящегося человека перед “барином”. Все эти забытые “завоевания революции” надо иметь в виду, если мы хотим сохранить правильную историческую перспективу и правильно понять, кто такие были большевики. Я начал даже писать об этом книгу, но кто же станет теперь читать о положительных результатах революции?

Известно, как все эти завоевания революции были уничтожены после уничтожения большевиков. Сами большевики, впрочем, положили начало разрушению русской культуры. Террор во время гражданской войны и вызванный ею голод изгнали в эмиграцию около двух миллионов человек, большая часть которых вовсе не была из прежних господствующих классов: это были главным образом русские интеллигенты. Большевики также начали дискриминацию молодёжи из интеллигентских семей при поступлении в вузы, разрывая таким образом вековую культурную традицию. А сменившие их бюрократы уже вообще не были заинтересованы в культуре — скорее в том, чтобы от неё избавиться. Вместо прежнего, в значительной части культурного барства мы получили хамское барство партийных чинуш.

Не сомневаюсь, что после революции и на Кубе, и в Никарагуа дела обстояли почти так же, как у нас. В общественных делах сходные причины вызывают сходные следствия: это, если можно так выразиться, даёт главный член уравнения, связывающего общественные процессы в разных странах; различия в исторических и культурных условиях — это уже второй, меньший член. Не будем следовать глупостям “культурного релятивизма”. Конечно, Кастро больше кубинский Сталин, чем кубинский Ленин, и на Кубе не было “нэпа” (то есть не допускалось оживление частной инициативы под контролем государства, как у нас при большевиках). Но я не сомневаюсь, что на Кубе тоже было, сразу же после революции, время надежд и освобождённой инициативы. Это подтверждается и наблюдениями, на которые любят ссылаться американские “левые”. К сожалению, после “социалистических революций” в отсталых полуфеодалных странах неизбежно происходят процессы вырождения, так хорошо известные у нас в России. В этих странах, где никогда не было ни демократии, ни даже местного самоуправления, население привыкло жить в повиновении, и подсознательно готово к повиновению любой наличной власти, а протест против невыносимых условий жизни выражается лишь в форме кровавых стихийных мятежей. Если власть захватывает некоторая организованная группа, то в таких странах, где нет “партий” в западном смысле и нет избирательных механизмов, эта группа неизбежно превращает свою власть в тоталитарную диктатуру. “Идеалистические” элементы группы, принимающие всерьёз программу “партии”, неизбежно устраняются, а “идеология” приспосабливается к интересам нового правящего класса. Вырождение “авторитарной” власти в “тоталитарную” неизбежно, если сословная структура старого общества

разрушена революцией, но в стране не созрели условия для демократического строя.

8. Характерные особенности “закрытого общества”

Мне осталось объяснить, почему иностранному туристу трудно понять что-нибудь из разговоров с населением тоталитарного государства. Дело в том, что в таком государстве иностранец является предметом особой опеки, а население основательно иммунизировано от контактов с ним. Я не был в Латинской Америке. Но у меня есть личный опыт жизни в государстве, полицейская система которого была перенесена на Кубу. Я говорил с нашими туристами, ездившими в (ещё фашистскую, или, если угодно, коммунистическую) Румынию Чаушеску, в коммунистический Китай. Я читал много рассказов о поездках иностранцев в страны советского блока и анализировал эти рассказы. Наконец, я разговаривал с русскими, ездившими по служебным делам на Кубу, и с советскими туристами, побывавшими на Кубе. Люди, заслуживающие доверия, рассказывали мне о своих разговорах с кубинцами, учившимися вместе с ними в наших вузах и доверявшими этим русским друзьям. В каких же условиях иностранец может общаться с кубинским населением, и что он может понять из этого общения?

Когда с гражданами “соцстран” общаются *русские*, имеющие собственный опыт жизни в тоталитарном обществе, то они в один голос указывают на *ситуационный характер* поведения своих собеседников. Китайцы при Мао все были всем довольны, и попросту повторяли партийные лозунги. В период китайской “оттепели” 80-х годов многие китайцы стали говорить откровенно, и обнаружилось, что они очень недовольны своей жизнью и надеются на изменения в направлении большей свободы. Сейчас китайцы, приезжающие в Россию, стали осторожнее. После побоища на “Площади небесного спокойствия” они откровенно разговаривают только в одиночку; в присутствии других китайцев они повторяют общие места официальной пропаганды. Будучи в Соединённых Штатах, я познакомился с молодым китайцем, эмигрировавшим из Китая в конце 80-х годов. Это был молодой учёный, не собиравшийся возвращаться в Китай, и он мог говорить со мной откровенно. Его рассказы не имели ничего общего с официальным оптимизмом китайской пропаганды. Вы скажете, что на Кубе всё это может быть иначе? Но люди, дружившие с кубинцами, слышат от них *точно то же*, что я от моего китайца.

Почему же в условиях *случайного* разговора житель тоталитарного государства не может сказать правду, и никогда её не скажет? Просто потому, что он всегда находится под угрозой; а в такой стране, как Куба, это может быть и смертельной угрозой. Один мой знакомый американец, ясно выраженный левый радикал, недавно побывавший на Кубе, утверждал, что кубинцы довольны своей жизнью и одобряют существующий режим. Он заметил также, с несколько легкомысленным видом, что “они едят один раз в день”. Конечно, от этого молодого человека, никогда не пережившего голода, трудно ожидать понимания переживаний того, кто ест один раз в день (и наверное не досыта). Я могу заверить его по собственному опыту, что *ежедневно голодный* человек не может быть доволен своей жизнью; и, если он не редкий политический фанатик, не может одобрять режим, при котором ему приходится голодать. На Кубе пища распределяется государственными чиновниками, и каждый получает паёк, соответствующий его положению в государстве. Рядовой кубинец знает, что приходится на долю начальства; начальство живёт в роскоши, и не всегда эту роскошь скрывает. В Никарагуа все могли видеть лимузины, в которых партийное начальство разъезжало по нищей стране. Вы скажете, что на Кубе Кастро и его коллеги ведут скромный образ жизни? Но ведь и Сталин показывал некоторым иностранцам свою скромную квартиру в Кремле. К его подмосковным “дачам” и его дворцам на Чёрном море нельзя было и подойти. Но все знали, чьи это дачи и дворцы. Только иностранцу никто бы этого не сказал! Человек “в одежде простого солдата”, как о нём думал Анри Барбюс, жил в Ливадии, царском дворце в Крыму, и каждый мальчик в Крыму это знал. Я жил неподалеку и тоже это знал. А однажды утром я увидел на рейде весь черноморский флот: мне сказали, что Сталин едет по морю в Сочи, в другой дворец, а флот должен его охранять. Черчилля он принимал в скромной кремлёвской квартире; но как раз Черчилля и нельзя было обмануть. А вот Фейхтвангера он провёл за нос, как ребёнка: тот хотел увидеть в нём героя — и увидел. Конечно на Кубе каждый мальчик знает, как живет Фидель, — даже если этот мальчик ест раз в день. Ещё в 20-м году Бертран Рассел, побывав в России и познакомившись с Лениным, не верил, что партийные начальники, имеющие *абсолютную власть*, могут сохранить скромный образ жизни. Так могут думать только наивные люди, не понимающие, что такое неограниченная власть.

Нет, кубинцы не могут быть голодны каждый день своей жизни и *довольны* такой жизнью. Просто мой американский турист не

привык встречаться с людьми, *вынужденными лгать*. Американцу приходится, конечно, лицемерить и притворяться, как всем на свете; но лгать в ответ на прямой вопрос незнакомого человека — к этому он не привык. Если только он не гангстер и не шпион, у него никогда не было в этом надобности. Но кубинец *лжёт, чтобы выжить*.

Люди с Запада упорно не хотят понять, что такое тоталитарное государство. Это столь же определённое понятие, как, например, “демократическое государство”. Каждый американец уверен, что в Англии, Франции, Германии или Голландии он встретится с теми же условиями жизни, что у себя в Америке; но он не понимает, что в других государствах, таких, как Куба, Китай, Северная Корея или Вьетнам, он встретится со столь же определёнными, столь же однотипными условиями жизни. Различия в подробностях и местном колорите лишь подчеркивают единообразие в работе политической системы. Для удобства читателя я сопоставлю условия жизни в “открытом” и “закрытом” обществе в следующей таблице.

Организация полицейской слежки в бывшем Советском Союзе, в странах Восточной Европы, в Китае и Северной Корее хорошо известна и строго единообразна. Разница лишь в том, что после смерти Сталина система полицейских репрессий была несколько смягчена в СССР и странах Восточной Европы, главным образом в целях стабилизации положения чиновников. Однако, в Китае, и в особенности в Северной Корее, репрессии остались в полной силе, вместе с единоличной властью диктатора. Есть основания полагать, что лагеря на Кубе тоже мало изменились. Недавно неугодные Фиделю генералы были расстреляны, под предлогом торговли наркотиками (что они вряд ли могли делать без санкции диктатора). Система полицейской слежки во всех известных мне случаях не изменилась, вплоть до крушения коммунистических режимов. Русские, побывавшие на Кубе, и кубинские студенты, учившиеся у нас, это подтверждали во всех случаях, когда возможен был откровенный разговор. Поскольку — повторяю — полицейская система была во всех этих странах устроена офицерами КГБ по советскому образцу, здесь нечему удивляться.

Впрочем, есть, по-видимому, объективные закономерности полицейской слежки. Один “стукач” на 20 человек был общим правилом во всех тоталитарных странах; в СССР считалось необходимым иметь не менее одного секретного осведомителя в каждой бригаде на производстве, в каждой студенческой группе и в каждой научной лаборатории. Обычно все знали своего “официального” стукача, но

<i>Открытое общество</i>	<i>Закрытое общество</i>
Основные материальные блага (еда, одежда, жилища) свободно покупаются на рынке. Единственным необходимым для этого средством являются деньги. Потребление не ограничено сословными и политическими критериями.	Основные материальные блага распределяются правительством, или ограничиваются в зависимости от служебного положения и политической оценки субъекта. Дефицитные предметы, нередко даже хлеб и рис, выдаются по карточкам.
Работу можно получить во множестве учреждений с разными требованиями и условиями труда. Предоставление не контролируется государством, кроме должностей в государственном аппарате.	Работа предоставляется в строгом соответствии с указаниями государственного аппарата. Условия труда унифицированы. Увольнение с работы обычно означает невозможность получить работу в другом месте.
Собственность практически неотчуждаема. Политические убеждения и политическая деятельность субъекта не дают правительству возможности присвоить его собственность (но в некоторых случаях влияют на условия получения работы).	Собственность в западном смысле не существует. Всё, чем пользуется субъект, может быть в любой момент присвоено правительством посредством “политического” процесса в суде, или простым полицейским распоряжением. Пользование вещами регламентируется, и правила меняются произвольно.
Как правило, никто не может быть арестован по политическим мотивам, если не было уголовно наказуемого действия. Политическую деятельность, не связанную с насилием, очень трудно подвести под уголовное обвинение.	Всякое высказывание неугодных правительству мнений рассматривается как уголовное преступление и наказывается тюремным заключением. Организованная политическая деятельность наказывается смертью, или заключением, откуда не выходят живыми.
Полицейская слежка за человеком, не занимающимся активно политической деятельностью, крайне редка. Люди обычно не думают о полицейском наблюдении или не знают о нём.	Слежке подвергается всё население, посредством сети платных и добровольных агентов. Все знают об этом и всегда считаются с возможностью доноса. Последствием доноса может быть тюремное заключение, и часто пытки. За независимое поведение часто убивают, по приказу начальства.

чаще всего ещё кто-нибудь, не столь заметный, “стучал” ради своей карьеры. В ГДР все эти вещи уже точно известны и широко опубликованы. Я уверен, что без такой плотной сети полицейской слежки *ни одна* тоталитарная структура не может существовать. Целью её является, главным образом, *запугивание* населения, поскольку серьёзной опасности для режима очень скоро не остаётся. Такие режимы гибнут от внутреннего разложения аппарата. Запуганность населения — основной психологический факт в тоталитарной стране. При этом её граждане вовсе не проявляют этой запуганности в обществе незнакомых людей, и особенно иностранцев: неписанный закон требует от них “жизнеутверждающего оптимизма”. Образец для них — “стойкий оловянный солдатик” из сказки Андерсена. Пессимизм и неуверенность могут дорого стоить.

9. Почему в стране с тоталитарным режимом с вами не будут говорить откровенно

Типичные высказывая американца выглядят, примерно, таким образом: “Вы не были на Кубе, а я недавно был, и говорил на улице со случайными прохожими. Они довольны режимом”, или: “Моя сестра недавно была на Кубе, она свободно ездила, куда хотела, и говорила по-испански с женщинами в сельскохозяйственном кооперативе. Там их было около 20, и все были настроены в пользу режима”.

Что сказать о такой наивности? Представьте себе, что с кубинцем заговаривает на улице незнакомый иностранец. Он может быть подсланным агентом полиции, и каждый знает о таких случаях. Его может сопровождать переодетый сыщик, приставленный наблюдать за ним. Наконец, случайный прохожий, услышав этот разговор, может донести об этом. Чего ради кубинец станет рисковать? Допустим даже, что режим Кастро несколько ослабел, что много иностранцев бродит без присмотра. Всё равно, можно нарваться на неприятности: вызовут для “объяснений” в полицию, “проработают” на собрании. Зачем осложнять себе жизнь? Кубинец, говорящий по-английски, это обычно служащий в какой-нибудь государственной конторе, чиновник. Эти особенно не любят рисковать карьерой.

Американка в колхозной бригаде, говорящая по-испански с 20 женщинами, не понимает, что одна или две из них — регулярные осведомители полиции; а ещё 2–3 могут побежать с доносом из опасения, чтобы их не обвинили в недоносительстве. В тоталитарной стране не донести о чём-то — особенно о разговоре с иностранцем

— это *уголовное преступление*. Представьте себе, что одна из колхозниц бригады стала бы жаловаться иностранке. Ясно, что в тот же вечер об этом знали бы в партбюро колхоза и в отделении КГБ. Я нарочно применяю здесь советские термины, поскольку учреждения тождественны. Есть ещё одна сторона дела, не замеченная этой американкой. Конечно, её подход к теме разговора не мог не настроить колхозниц. Ведь американские “левые”, как всем известно, ищут способы оправдать режим Кастро, приуменьшить его жестокость. Это нужно им, чтобы поддержать свои старые иллюзии, и чтобы обвинить во всём американское правительство. Конечно, такую позицию американка и выдала самым тоном разговора. У нас больше всего боялись “левых” иностранцев, объективно выступавших *в поддержку* режима — также и в печати. Если бы в бригаде возник спор, американка могла бы его вынести на обсуждение в своей стране. Не лучше ли избежать такого скандала?

Простые люди в условиях тоталитарного режима становятся осторожны. Если они “едят один раз в день”, им надо думать, как бы их не лишили *продовольственных карточек*. На Кубе едят *по карточкам*; чтобы уморить человека, нет уже надобности его судить. Женщины в той бригаде, где была эта американка, должны были кормить своих детей. Надо думать, придя к себе домой, они отчетливо выразили, что думают об американской гостье. Я слышал такие разговоры много раз.

В условиях доверия, после длительного знакомства, кубинец *скажет* вам правду. Попробуйте тогда поговорить с ним — наедине.

Правда ли, что американцы наивны, как дети? Думаю, таковы всегда люди, выросшие без страха и живущие без особенных забот. Американцу не приходится бояться тюрьмы, и он не знает, что такое голод. Я вовсе не желаю ему приобрести этот опыт. Пусть будет на свете больше наивных людей, приятных иллюзий и застольных разговоров. Ну, а им — слаборазвитым — достаточно *есть раз в день*. Ведь они этим довольны, не правда ли?

Права и обязанности в американских университетах¹

В прошлом году мне довелось работать в одном из американских университетов. Как мне кажется, я был подготовлен к этому предприятию: я много читал об Америке, начиная с отцов американской конституции и классиков американской литературы, особенно заботился о том, чтобы понять не только историю, но и нынешнюю жизнь этой страны, и много говорил с американцами, приезжавшими в Россию. В отношении интимной, психологической стороны американской университетской жизни мне была особенно полезна книга Алана Блума “Угасание американского духа” (*Closing of the American Mind*), которую я прочёл незадолго до поездки. Непосредственное знакомство с Соединёнными Штатами очень мало изменило сложившиеся у меня представления и, пожалуй, самое сильное из моих впечатлений состояло в том, что я не увидел почти ничего нового.

Я многим обязан прошлой Америке, не только создателям этой великой демократии, но и американским учёным, во многом определившим мои собственные научные интересы. Полагаю, что я был беспристрастным наблюдателем впервые увиденной мною страны, и если мои мнения окажутся близкими к позиции какой-либо из сторон американского общественного мнения, это от меня не зависит. Разумеется, многое из того, что я имею сказать, относится не только к культуре Соединённых Штатов, но к современной западной культуре вообще.

В Соединённых Штатах больше шестисот университетов, но это название означает там почти то же, что у нас “вуз” — высшее учебное заведение. В университетах находятся также технические и медицинские факультеты; с другой стороны, имеются учебные “институты” с очень широким набором специальностей, к которым без изменений относится всё дальнейшее. В отличие от России, в американских университетах выполняется также основная часть научной деятельности, хотя и есть отдельные научные учреждения, не связанные с преподаванием.

¹ Доклад был прочитан в феврале 1992 года на семинаре Московской Хельсинкской группы и опубликован, вместе с его обсуждением, в сборнике “Социальные проблемы и права человека”, Москва, 1993. — *Примеч. ред.*

Университеты делятся на государственные и частные. Федеральное правительство не содержит учебных заведений, кроме военных; государственные университеты принадлежат отдельным штатам, и более точное их обозначение — “университет такого-то штата”. Подавляющее большинство университетов — частные, содержащиеся за счет корпораций, общественных фондов и религиозных организаций. Роль государства сводится к финансированию некоторой части фундаментальных и прикладных исследований; но, в общем, даже государственные, а тем более частные университеты мало зависят от государства. А поскольку они, как правило, имеют много разных источников дохода, в том числе плату за обучение и заказы частных фирм, то обычно университет не зависит от какого-либо одного хозяина, а сам решает свои дела, как и все американские корпорации. Это создаёт большое разнообразие и конкуренцию между университетами, о чём мы пока не можем и мечтать; не говорю уже о том, что американские университеты богаты, их здания, оборудование и библиотеки превосходят всё, что бывает у нас.

Молодые люди из многих стран жаждут получить образование в американских университетах, которые приобретают, вследствие этого, всё более интернациональный характер. Многие из самых выдающихся учёных нашего времени получили образование в американских университетах, и хотя эта страна весьма заинтересована в импорте специалистов высокой квалификации, Соединённые Штаты могли бы теперь обойтись и без всякого притока эмигрантов, во всяком случае, после второй мировой войны. Можно было бы подумать, что мы должны принять за образец американскую систему высшего образования и стремиться создать подобную систему у нас.

Но в действительности дело обстоит не так просто. По моему мнению — и в этом со мною согласны все, кто имел возможность сравнить обе системы — средний американский университет по качеству доставляемого им образования не лучше среднего российского вуза. Подавляющее большинство из тех шестисот университетов, которые действуют под таким именем и выдают университетские дипломы, это очень слабые учебные заведения, и дипломы их мало стоят. Если оставить в стороне предприятия вроде колледжа доктора Беббита, то в “типичном” случае, когда выдача дипломов прикрывается видимостью экзаменов, между уровнем знаний среднего российского и американского студента или преподавателя особой разницы нет. В обоих случаях это фиктивное образование, производящее дипломированных невежд.

Можно предвидеть два возражения. Во-первых, американские университеты по-прежнему выдают научные и технические результаты, несоизмеримые с нашими, а это трудно совместить с нарисованной выше картиной высшего образования в Штатах. Во-вторых, способы управления и финансирования столь различны, что можно удивиться, как они могут производить одинаковый культурный продукт. Начну со второго возражения, на которое проще ответить.

У нас вузы финансируются и управляются государством, у них они независимы и должны сами себя содержать; но в обоих случаях они заинтересованы выпускать как можно больше “специалистов”. У нас от этого зависят штаты института и, следовательно, поддержание кормушки для устроившейся там публики: государство содержит вузы за то, что они готовят возможно большее число “специалистов”, и не интересуется качеством этого продукта. Оставляю в стороне исторические причины, породившие такое положение вещей. В Соединённых Штатах университеты, содержащиеся за счёт поступающей от студентов платы за обучение, точно так же заинтересованы в возможно большем числе выдаваемых дипломов. Это предприятия, производящие и продающие дипломы, и надо сказать, что из всех производимых в Америке товаров это самый низкокачественный товар. Дальше я объясню, почему такой товар имеет спрос, но если принять в виде опытного факта, что находят спрос даже дипломы совсем не престижных или сомнительных университетов, то остальное уже нетрудно понять. Американские университеты переполнены студентами, в каждом из них тысячи, а то и десятки тысяч, общее же число студентов в Штатах в несколько раз больше, чем у нас. В таких условиях университет, как и всякая корпорация, стремится расширять и поддерживать своё производство. Конечный продукт его — диплом — ценится и у нас, и у них.

Но зачем в Америке нужны дипломы? У нас это объясняется свойством бюрократического аппарата, не способного оценивать человека иначе, как с помощью официального документа и безразличного к тому, какое знание и умение стоит за этим документом. Но в Америке, казалось бы, ценится только эффективность труда, проверяемая заинтересованным в ней хозяином предприятия, — зачем же хозяину диплом, выданный неизвестными ему и ненадежными людьми? Ответ на это состоит, в общих чертах, в том, что личности хозяина в современном предприятии давно уже нет. Чем крупнее предприятие, тем больше дифференцировано на нём производство, тем сложнее бюрократическая система управления этим

производством. Конечно, у нас бюрократия доведена до абсурда, поскольку отсутствие конкуренции позволяет зачастую вообще ничего не производить или производить смехотворно мало и плохо. У них до этого дело не дошло, но все уже понимают, что никакой компьютерный контроль не мажет заменить хозяйского глаза. Вероятно, по этой причине сохранились небольшие фермерские хозяйства, а в дальнейшем окажется невыгодным большинство крупных предприятий: их парализует сложность. Но пока эта сложность терпима, большие корпорации управляются бюрократией — не столь глупой и бесполезной, как наша, но все же бюрократией. О государственной бюрократии я уже не говорю, в Штатах её все проклинаяют. Вообще, двадцатый век — это эпоха “белых воротничков”; чиновники же всегда имеют ту же психологию — судят о человеке по бумажке.

Мне объяснили, что в Америке, как и у нас, миллионы людей заинтересованы в приобретении дипломов, чтобы занять или сохранить определённые должности в компаниях или учреждениях. В отличие от нашей практики, в Америке иногда учитывается и качество диплома, если человека берут на важную должность; но скромные люди составляют большинство, они на многое не претендуют, и 600 университетов, таким образом, могут существовать.

Вы скажете, конечно, что в таком случае американские предприятия не могут быть эффективны. Они и в самом деле дают лишь малую долю того, что могли бы. Нынешние предприятия не похожи на потогонные системы прошлого века. Ни физический, ни умственный труд в Америке давно уже не связан с напряжением сил или риском: как правило, там работают аккуратно, но “не выкладываться”. Конкуренты, конечно, есть, но у них такая же рабочая сила и, главное, такой же стиль. В действительности каждый американец должен уметь делать одну-единственную работу — не то, чтобы виртуозно делать её, но прилично, на принятом уровне. Система действует гладко, потому что сложилась эволюционным путем, но уже плохо выдерживает появление японцев, пока ещё способных проявлять больший темперамент; долго ли она протянет, это другой вопрос, уже не относящийся к моей теме.

Впрочем, всё-таки относящийся. Я объяснил, почему Америка обзавелась вездесущей бюрократией и каким образом отсюда произошла дипломная промышленность, столь же жалкая, как у нас. Но мы должны ещё понять, каким образом в Америке всё ещё получают научные результаты и — тем более — развивается техника. Те, кто больше интересуется производством вещей, думают даже,

что мы живём в эпоху небывалого расцвета, потому что никогда ещё не умели лучше делать предметы широкого спроса — “ширпотреб”. И в самом деле, ширпотреб американцы производят дешёво и приличного качества, ещё недавно они делали это лучше всех. Но совсем иначе обстоит дело с более утончёнными вещами, например, с выработкой научных идей. Двадцатый век, как признают все его мыслители, был веком упадка культуры; последние десятилетия уже не приносят принципиально новых научных достижений. Происходит разработка материала в рамках уже утвердившихся направлений, то есть развитие приняло, по существу, технический характер. Что касается техники в обычном смысле слова, именуемой на Западе “технологией”, то научные открытия XIX и начала XX века обеспечивают её идеями на целые столетия. Развитие науки и техники продолжается, таким образом, по инерции, уже не вдохновляемое никаким человеческим идеалом и всё меньше — чистой любознательностью. Количественное приращение разработок и публикаций свидетельствует о превращении науки в бизнесе.

Нынешние американские университеты представляют собой нечто принципиально иное, чем европейские университеты прошлого. Больше того, они сами становятся образцом для подражания, даже в самой Европе, где процесс “американизации” тождествен с процессом разложения культуры. Конечно, описанные выше университеты в большинстве своём не способны даже к техническому продолжению научного процесса, да это и не нужно. Новых открытий и изобретений делается теперь никак не больше, чем в прошлом веке, и происходят они из небольшого числа факультетов и лабораторий, обычно узко специализированных и воспитывающих узких специалистов. Этого достаточно для поддержания механического действия огромной экономической машины. В прошлом веке, при гораздо более динамическом развитии техники, было совсем мало университетов: в России семь или восемь, и вряд ли больше в Америке. Теперь же можно было бы обойтись и вовсе без открытий: для современной экономики достаточно разработок, того, что хорошо передаётся английским выражением *research and development*, в отличие от старого, идущего из средневековья понятия означавшего науку.

Соответственно изменился тип университетского учёного. Теперь это почти всегда делец, ставящий своей целью материальный успех с помощью тех или иных специальных способностей и не рассматривающий научную карьеру как нечто качественно отличное от всякой другой. Я внимательно изучал всех университетских про-

фессоров, с какими мог познакомиться; по обстоятельствам моей работы я мог не сомневаться, что мои знакомые — отнюдь не худшие представители своих профессий, а некоторые из них были выдающимися представителями своих специальностей. Общей чертой этих людей была их неинтеллигентность.

Слово “интеллигент” с трудом поддается переводу на другие языки. Оно выражает не только способность к умственному труду, но широкую образованность и приверженность общечеловеческим, личным интересам. Кто-то определил культуру как “образование, перешедшее во вкус и инстинкт”. Может показаться странным, что у нас в России всё ещё сохранилось представление о таком образовании. В Соединённых Штатах образование рассматривается как своего рода капиталовложение с целью приобретения полезных навыков, *skills*, из которых впоследствии можно будет извлекать доход. Ясно, что человек с такой установкой не станет тратить своё время на занятия, не сулящие прямой выгоды. Для поддержания светских разговоров требуются некоторые сведения о том, что называлось “европейской культурой”, но поскольку никто уже не способен вести эти разговоры на интеллигентном уровне, то американцу достаточно упомянуть что-нибудь из прослушанных в молодости необязательных лекций. Неловко вспоминать, что говорили эти культурно нищие люди.

Ещё меньше доступны американскому учёному “общечеловеческие идеалы”. Разумеется, он слышал о “моральных ценностях” и обычно причисляет себя к какой-нибудь религии. Но всё это — чисто словесные формулы, не обязывающие ни к каким поступкам, то, что по-английски называется *lip service*. Поведение же определяется его интересами и ограничениями в виде законов и обычаев, чаще всего вошедшими в привычку. Он редко нарушает эти ограничения, если не считать заполнения налоговых деклараций. Но соблюдение их носит столь же инерциальный, остаточный характер, как и вся нынешняя американская цивилизация. В этом смысле интересно употребление слова “современный”: всё “современное” в Америке — дальше всего от культуры и духовности в любом смысле этого слова. По-видимому, более живое ощущение традиционных ценностей сохранилось у так называемых “фундаменталистов”, а некоторая ностальгия по культуре — в первых поколениях выходцев из Европы.

Исключительная сосредоточенность на материальной стороне жизни — или, в современной терминологии, на “эффективности работы” — сообщает всей американской цивилизации мертвенный характер. Как подчёркивал Конрад Лоренц, переживание радости во-

все не тождественно с физическим удовлетворением или разрядкой напряжения, тем, что обозначается выражением *“to have fun”*. Конечно, я всё это знал, и яснее всего по книге Алана Блума: классическая филология и история философии дают этому автору точку опоры вне этого общества. Да, я всё это знал, но был потрясён при виде этой массы людей, неспособных к человеческому переживанию. Поистине, Америка — это страна комфортабельного несчастья.

Но вернёмся к университетской науке. Учёный, ограничивший себя узкой специальностью, тем самым обречён на посредственность. Ведь самые интересные идеи возникают при столкновении далёких предметов мышления, вначале производящих впечатление парадокса: недаром Пушкин оказал однажды, что “гений — парадоксов друг”. Люди, создавшие современную науку, получили широкое образование и были совсем не похожи на своих нынешних эпигонов. Ясно, что стремление к “эффективности” научной работы, проявляющееся в безжалостном отсечении всех “посторонних” интересов, очень скоро приведёт к истощению источников научного творчества.

Американские дельцы — очень наивные люди; они воображают обычно, будто можно получить в любой области результаты, пропорциональные капиталовложениям. Когда обнаружилось, что некоторые проблемы современной техники не удаётся решить таким способом, было предпринято статистическое исследование с целью выяснить наилучшие условия для научной работы. Я не очень доверяю статистике в серьёзных делах, но всё же выводы этих статистиков не лишены интереса: они обнаружили, что наука лучше всего получается в небольших университетах, расположенных в маленьких городках, на небольших кафедрах, при скромных ассигнованиях и традиционном способе подготовки молодых учёных — в общем, в таких университетах, какими были в прошлом столетии Кембриджский или Гёттингенский.

Сходство между американскими университетами и нашими не ограничивается общим процессом научной и культурной деградации, присущей двадцатому веку. Оно распространяется и на многие отрицательные черты, унаследованные от прошлого. К ним относятся бесправное, зависимое положение молодого учёного и привилегированное положение утверждённого в должности профессора, часто превращающего эту должность в синекуру.

Когда-то положение ассистента на университетской кафедре примерно соответствовало статусу подмастерья-ученика в средневековой мастерской. Он был зависим от профессора, заведовавшего

кафедрой, но эта зависимость смягчалась чем-то вроде семейных отношений: как и подмастерье, ассистент находился на положении “приёмного сына” своего профессора, обычно избранного им добровольно и, в свою очередь, добровольно избравшего себе ученика. Как правило, на кафедре был один ассистент, предназначенный в преемники профессору, так что им приходилось дорожить. Патриархальные средневековые порядки имели, таким образом, и свои положительные стороны, а в девятнадцатом веке общая либеральная атмосфера предохраняла ассистента от эксплуатации. Критерии, предъявлявшиеся к работе молодого учёного, не были формальными. Его скромное жалование зависело лишь от постоянного бюджета университета, то есть от покровительства государственной власти, вельмож и филантропов, даже в средние века не вмешивавшихся в чисто научные дела. При таком постоянном финансировании профессор не должен был всё время искать деньги на содержание своего ассистента, а тот мог спокойно заниматься своим делом, пока им был доволен уважаемый профессор. Не было такой формальной зависимости от публикаций: молодой человек, принявшийся за серьёзную задачу, мог работать над нею, сколько надо. Публикации ценились, но были редки; журналов было немного, и в них был строгий отбор статей.

Деградация университета начинается с того, что молодой учёный оказывается в зависимости от своего заведующего кафедрой в гораздо худшем смысле. Кафедры стали большими, ассистентов много, и личные отношения между профессором и его ассистентом утратили свой интимный характер. Молодой человек попадает на ту или иную кафедру более или менее случайно, либо со студенческой скамьи того же университета, либо со стороны. Кафедра — это его “джоб”, а заведующий кафедрой — его “босс”, на которого он работает. На немногих лучших факультетах или, точнее, лучших отдельных кафедрах дело обстоит лучше, чем я описываю. Но, как правило, ассистент просто работает на своего босса, занимаясь тем, что тому выгодно: чаще всего он должен выполнять, вместе с другими, вспомогательную работу для какого-нибудь проекта, результаты которого приписываются руководителю. “Соавторы” могут и вообще не упоминаться, а “руководитель” может не вносить в проект никаких собственных идей. У нас такая практика ещё недавно отдавала душком проституции, но в Штатах она воспринимается как естественная часть университетского бизнеса, особенно в прикладных областях. Конечно, если молодому учёному приходит в голову особенно интересная идея, он старается её скрыть.

Между положением молодого учёного в Штатах и у нас есть и существенные различия. У нас до недавнего времени финансирование вузов было только государственным и, так сказать, автоматическим. В Америке же ассистент должен ежегодно получать так называемый “грант”, то есть единовременное целенаправленное ассигнование. Источники грантов разнообразны: их предоставляют компании, общественные фонды и государственные учреждения, в частности, военные ведомства. Не следует думать, что гранты всегда связаны с конкретными интересами учреждений, которые их оплачивают. Часто они служат поддержанию отношений с определёнными группами и лицами. Они проходят через бюрократический аппарат, распределяющий не свои деньги, но всегда преследующий свои интересы. Ещё раз напомню, что эффективность американской организации — это миф. Она эффективна лишь по сравнению с нашей, но в действительности крайне расточительна. Во всяком случае, искусство “выбивания грантов” есть бюрократический навык, имеющий мало общего с научными способностями, и это превращает заведующего кафедрой в дельца худшего разбора, скорее в советском понимании этого слова, потому что он имеет дело не с производством, а с чиновниками. Итак, молодой учёный может быть спокоен за своё положение, как правило, лишь *на один год*. Это создаёт у него чувство неуверенности и унижительной зависимости от босса. Впрочем, у нас теперь дело обстоит не лучше.

С другой стороны, американский молодой учёный гораздо свободнее в своих перемещениях, поскольку система американских университетов разнообразна, есть много возможностей найти работу, а способных людей даже сманивают. И, конечно, переезд не связан с квартирным рабством, так что американских молодых учёных можно сравнить с крепостными до отмены “юрьева дня”. Есть и другое, очень важное для сохранения науки различие. По ряду причин, американские университеты всё ещё заинтересованы в некотором числе престижных исследований и в учёных, имеющих признанную репутацию. Поэтому положение *особо* одарённых молодых учёных в Америке гораздо лучше, чем у нас, где дарование прямо мешает карьере. Это ни у кого не вызовет удивления; поразительно другое — насколько типичные, средние явления в американских университетах *похожи* на такие же явления в наших. По этой причине упадок науки и образования происходит в Америке столь же неуклонно, как у нас, хотя и гораздо медленнее.

Если молодой учёный продержится в университете несколько лет — то, обычно пять-шесть лет — он может претендовать на посто-

янную профессорскую должность, так называемый “теньер”. Для этого требуется благоволение начальства, то есть заведующего кафедрой и руководства факультета, а также хорошие отношения с коллегами. Молодой учёный должен читать лекции на приличном — обычно очень невысоком — уровне и регулярно печатать свои результаты, что также не вызывает больших трудностей. Всякий, кто видел нынешние журналы, занимающие бесконечные стеллажи в библиотеках, не имеет иллюзий по поводу качества их обычных публикаций; в последние годы журналы, выпускаемые коммерческими издательствами, сделали безответственность своей официальной политикой, не посылая на рецензию статьи, присланные сколь угодно известным лицом. В таких условиях преуспевает посредственность, так как для благополучной службы в университете не требуется особых дарований: требуется покладистый характер и, всё-таки, некоторое трудолюбие.

Правовое положение учёного резко меняется, когда он получает теньер. У нас сохранение профессорской должности достигается связями и интригами, а нежелательного человека всегда можно под каким-нибудь предлогом выжить. В Америке же теньер даёт ученому юридическую гарантию оплачиваемой работы до достижения пенсионного возраста, а затем пенсии. Лишь в особых случаях профессор может потерять свой теньер: для этого он должен очень уж пренебрегать своими обязанностями или совершить какой-нибудь компрометирующий поступок. Теньер оплачивается из общего университетского бюджета и не требует получения грантов, хотя профессор может их добиваться, если хочет увеличить свой доход. Система теньера вызывает в Штатах нарекания, поскольку многие слабые учёные, добившись такого положения, оказываются вне конкуренции и попросту занимают без пользы свои места. При бессмысленно раздутой сети университетов бездарные профессора неизбежно будут составлять большинство, и тут ничего нельзя поделать, пока останется спрос на “университетский диплом”.

В сущности, система теньера воспроизводит статус “полного” или “ординарного” профессора в старых европейских университетах, и если отвлечься от злоупотреблений такой системой, она служит важной цели: избавить признанного учёного от постоянной заботы о материальном существовании. К тому же, эта система отнюдь не порабощает его, так как он может переменить университет, оговорив в контракте сохранение теньера со всеми его преимуществами. Конечно, конкуренция существует и в области науки, но она не должна быть борьбой за кусок хлеба. Мне кажется, что отказ от системы

теньера нисколько не мешает мнимым учёным, способности которых лежат именно в области служебных отношений, но причинит ненужные хлопоты настоящим учёным.

Здесь надо напомнить, что я не занимаюсь вопросом об улучшении американской системы высшего образования, а пытаюсь оценить состояние прав и обязанностей участвующего в ней человека. У нас привыкли требовать соблюдения *прав человека* от государства, которое должно было обеспечить их изданием хороших законов и распоряжений. Ясно, что такой подход подразумевает государственный контроль над образованием, а при этом условии ничего добиться нельзя. Более разумная постановка вопроса такова: способствует ли данная система образования развитию личности и способностей учёного? Думаю, на этот вопрос можно дать определённый ответ: да, способствует развитию его способностей, если у него есть уже подходящая для этого личность; но сама не способна выработать такую личность. За редкими исключениями, американская университетская система не воспитывает в человеке научную любознательность и бескорыстное служение истине, но если он принёс эти качества со стороны, из родительского дома или из другой страны, то он может найти в американских университетах благоприятные условия для научной деятельности.

Попробуем теперь посмотреть с той же точки зрения человеческих ценностей на *обязанности* университетского учёного: обеспечивают ли университеты выполнение им обязанностей перед обществом, и в особенности перед учащейся молодежью? В применении к американским университетам, на этот вопрос можно дать только отрицательный ответ. Даже в отношении профессиональной подготовки студентов американские преподаватели не удовлетворяют самым необходимым требованиям. Уровень лекций в большинстве случаев низкий, да и не может быть выше при слабой научной подготовке лекторов и их чрезмерно узкой специализации. В среднем они ничем не лучше наших доцентов; я не говорю здесь о немногих лучших учёных. На экзаменах довольствуются самыми элементарными требованиями, так что выставленные отметки стоят не больше, чем у нас. Таким образом, преподаватели не исполняют свой профессиональный долг, и университет от них этого не требует, поскольку заинтересован только в торговле дипломами. Всякое усиление требований к студентам означало бы материальный ущерб для университета и самих преподавателей — точно так же, как у нас.

Тем более, на преподавателя не возлагается обязанность воспитания студентов. В старых университетах предполагалось, что препода-

даватель должен быть для студента не только руководителем в его профессии, но также мудрым и просвещённым учителем, формирующим его культуру и нравственность. Очень трудно было бы объяснить преподавателям американских университетов, что всё это входит в их обязанности: вы бы слышали от них, что “это не их бизнес”. Конечно, могут быть исключения, но исключения могут быть и в самых немыслимых условиях, даже в России. Я же говорю о социальных явлениях. Хочу напомнить, что эмпирическое никогда не отменяет должного, и если никто не требует от нас исполнения долга, это не значит, что мы не должны.

Перехожу теперь к наиболее интересной, как мне кажется, части моего предмета — к правам и обязанностям *студентов*.

Первое, что бросается в глаза при виде американских студентов, это их многорасовый состав, гораздо более разнообразный, чем можно ожидать по составу населения Соединённых Штатов. Чёрная раса представлена преимущественно гражданами Штатов, но есть негры из Африки и Вест-Индии. Жёлтая раса — это преимущественно китайцы и выходцы из Юго-Восточной Азии. Китайцы делятся на местных уроженцев, хорошо говорящих по-английски, уроженцев Тайваня и других стран западной ориентации, говорящих по-английски прилично, и, наконец, присланных из красного Китая; эти последние, не желающие вернуться туда после побоища на Площади Небесного Спокойствия, говорят на совсем уж непонятном языке. Китайцев очень много также среди преподавателей и лаборантов. Японцев же среди студентов мало, я встретил лишь одного аспиранта: они учатся у себя дома. Немало учёных японского происхождения, но родившихся в Штатах. Далее, много индийцев, арабов и других жителей Передней Азии, но израильтяне учатся главным образом у себя дома. Встречаются эмигранты из России, больше среди преподавателей. Наблюдая за всей этой многонациональной публикой, и не только в университетах, но и на улицах городов, можно подумать, что идеалы дружбы народов, словесно провозглашённые в нашей стране, осуществились в Соединённых Штатах. Внешние отношения всегда дружелюбны, дискриминация официально отсутствует. Но, как мы увидим, действительность оказывается сложнее.

Бросается в глаза, что почти все студенты, особенно те, кого в Америке называют “цветными”, небогатые люди; возникает вопрос, как они могут платить за учение. Оказывается, из собственных

средств платят немногие, а большинство учится за счёт “спонсоров” (полагаю, теперь это уже русское слово). Американские негры, беднейшая часть населения страны, часто пользуются помощью разных фондов и организаций; за иностранных студентов платят их правительства, компании в их странах или американские благотворители. Студент живёт скромно, часто меньше чем на тысячу долларов в месяц; не думайте, что это много денег, обед в студенческой столовой стоит семь долларов, проезд в метро — доллар или два, а книги им приходится брать в библиотеке. У нас спекулятивный курс доллара, не отвечающий стоимости жизни в Штатах.

Представители всех рас и национальностей равномерно распределяются по специальностям, кроме негров, которые предпочитают гуманитарные специальности, реже — технические дисциплины и точные науки. Это видно из статистики, констатируется в книге Блума, и то же мне подтвердили мои собеседники, преподаватели точных наук. Китайцы, напротив, весьма многочисленны на технических, физических и математических факультетах. Интересно было бы знать, какие факторы воспитания и социального окружения обуславливают эти различия.

На вопрос, существуют ли в Соединённых Штатах преимущества для белых студентов по отношению к “цветным”, можно в настоящее время ответить: юридически таких преимуществ не существует, а фактические условия такого рода, вероятно, редки. С сороковых годов явления дискриминации в университетах неуклонно шли на убыль, как раз в то время, когда в нашей стране нарастала прямо противоположная практика, особенно направленная против евреев. Конечно, не следует идеализировать расовое равноправие в Америке: положение человека в обществе определяется не только законами и правилами учреждений, но также настроениями и установками общества, нередко тщательно скрываемыми. Чем цивилизованнее общество, тем больше в нём маскируются подлинные чувства, а американский средний класс, очень некультурный в более серьёзном смысле этого слова, весьма цивилизован в отношении обязательного лицемерия. Мы ещё вернемся к тому, как это лицемерие проявляется в университетской жизни.

Оставаясь на официальном уровне, нельзя не заметить, однако, противоположное явление, создающее в Штатах серьёзные проблемы — специальные льготы и привилегии для “цветного” населения. Такая “дискриминация навыворот” имеет долгую историю. Борьба чёрного населения за свои права постепенно вынудила белый истеблишмент отменить дискриминационные законы и прави-

ла. Но экономическое положение чёрных оставалось тяжёлым, что привело в шестидесятые годы к мятежам в негритянских кварталах ряда городов. В то же время вспыхнули студенческие волнения, имевшие мало связи с дискриминацией негров, к тому времени уже практически исчезнувшей из университетов. В конце шестидесятых годов правительство президента Джонсона предприняло широко задуманные социальные реформы, создавшие в Штатах их нынешнюю систему социального обеспечения и здравоохранения. Смысл этой реформ, в кратком изложении, состоял в том, чтобы откупиться от самых бедных: полагали, что дешевле содержать их за счёт богатого общества, чем готовиться к социальному взрыву. Богатые общества, клонящиеся к упадку, и прежде прибегали к подкупу своих бедняков: достаточно вспомнить, как римское государство содержало паразитический плебс. Есть основания думать, что реформы Джонсона не столько помогли нуждающимся американцам, сколько увековечили их бедность, а в ряде случаев прямо способствовали их развращению. Социальные вопросы не решаются подачками.

Во время студенческих волнений студенты-негры стали предъявлять свои требования, как правило, не оправданные. Можно догадываться об их психологических проблемах: большинство из них получило плохое школьное образование и нуждалось в помощи, чтобы справиться с курсом. Но их лидеры повели их по ложному пути и стали требовать для чёрных особого режима внутри университетов, например, устройства отдельных специальностей и курсов, посвящённых африканской культуре, и тому подобных вещей, не входивших в учебные программы и не имевших применения в профессиональной жизни Америки. На фоне общих студенческих беспорядков и мятежей в негритянских кварталах всё это казалось очень опасным и вызвало паническую реакцию университетских властей, делавших всевозможные уступки и белым, и черным студентам. В американских университетах установился строй жизни, в котором студенты приучились время от времени терроризировать своих учителей, а студенты-негры добились положения особо привилегированной прослойки.

Наиболее проникательные и свободные от предрассудков наблюдатели американской жизни, Ханна Арендт и Алан Блум, рассматривают сложившееся в университетах положение как нажим негритянских организаций с целью снижения для чёрных экзаменационных требований. В результате чёрные получили возможность платить за свои дипломы ещё меньшими усилиями, чем белые сту-

денты. Для этого им пришлось, по существу, самим восстановить изоляцию, которой их давно уже не подвергают: чёрные студенты нарочито держатся отдельно, особенно в столовых и общежитиях, и наказывают презрением своих товарищей, которые не участвуют в этом рэжете и хотят честно заработать свои дипломы. Выделение чёрных в отдельную общину внутри университетов, безусловно, объясняется не только прямым материальным интересом — удешевлением дипломов; в этой “дискриминации навыворот” проявляется и чёрный расизм, уже наблюдавшийся в виде различных форм экстремизма. Трусливое попустительство университетских властей такому нажиму обычно маскируется так называемым “либерализмом”, имеющим теперь мало общего с классической доктриной того же имени. Характерной чертой таких “либералов” является чувство вины по отношению к чёрным и стремление избавиться от такого комплекса вины подачками и лестью.

Совсем недавно в Соединённых Штатах существовала система узаконенных “квот” для приёма негров на работу и в учебные заведения — нечто вроде процентной нормы для евреев навыворот. Эта система вызвала сильное негодование, и законодательные требования, заставлявшие принимать обязательный минимум чёрных, были отменены. Но большинство университетов, претендуя на “либеральную” репутацию, добровольно поддерживает такие квоты. Рекламные объявления университетов в большинстве случаев старательно подчеркивают, что они проявляют особое внимание к “меньшинствам”, и даже в регистрационных листках, заполняемых в библиотеках, вначале спрашивается, не принадлежите ли вы к особо привилегированным расовым группам. В одной из таких анкет я должен был сообщить, не являюсь ли я, во-первых, американским индейцем, во-вторых, “афро-американцем”, в третьих — выходцем из Юго-Восточной Азии, в-четвёртых, “испаноязычным”, или, наконец, обыкновенным читателем без особых примет. На отделениях, куда чёрные поступают неохотно, можно увидеть особенно много негров среди обслуживающего персонала, например, библиотекарей и чиновников. Чиновники так же бездельничают, как у нас, а библиотекари ещё более некультурны и некомпетентны, чем их белые коллеги; конечно, они лишь жертвы “системы квот”.

Разумеется, такая практика столь же унизительна, как если бы представителей какой-либо группы демонстративно *лишили* обычных прав. И если сохранить за словом “дискриминация” его обычное английское значение, то есть “выделение по особому признаку”, то “либеральная” практика американских университетов есть не что

иное, как назойливая и оскорбительная форма расовой дискриминации, яснее всего свидетельствующая о неблагополучной, отравленной расизмом психологии обеих сторон. В сущности, эта политика является глубоко “антиамериканской”, поскольку основой американской конституции было уничтожение привилегий.

Немногие преподаватели университетов, пытавшиеся противостоять практике незаконных привилегий для негров, были уволены. Негритянские группы нажима обвинили их в “расизме”, и подобные демагогические приёмы не получили отпора от администрации и коллег, озабоченных только сохранением своих должностей.

Таким образом гипертрофия “прав” переходит в нарушение права. Но это ещё не всё. Дело в том, что неграм предоставляется право на сниженные стандарты образования: группы, действующие в этом направлении, как будто заинтересованы в получении совсем уж пустых дипломов. Может быть, это и выгодно в какой-нибудь бюрократической конторе, но у владельца такого диплома остаётся на всю жизнь невежество плохо учившегося человека и комплекс неполноценности человека, получившего незаслуженный диплом. Негритянские группы нажима оказывают плохую услугу своим подопечным. И, конечно, чувства белых по поводу таких “дипломированных специалистов” отнюдь не способствуют сглаживанию расовых антипатий, даже если таковые выражаются в узком кругу. Такую же близорукую политику проводили советские чиновники в Средней Азии, облегчая получение дипломов представителям “коренных” национальностей; возмездие за эту глупость уже пришло. Единственный выход из подобных затруднений — честное равноправие. Тому, кто беден или недостаточно грамотен, надо помочь, но диплом его должен стоить столько же, как всякий другой.

Впрочем, гипертрофированными до уродства “правами” пользуются в Америке все студенты, и самое главное из этих “прав” — уклонение от работы. Как я уже объяснил, предъявление к студентам серьёзных требований противоречит финансовым интересам университета. Даже если часть дохода университета получается от прикладных разработок, студенты платят за обучение, или кто-нибудь платит за них; от этого зависит “объём нагрузки” преподавателей, а также престиж университета. Принято думать, что в Америке условия бизнеса диктует покупатель, а кто такой студент, если не покупатель диплома? Такое положение покупателя, на первый взгляд завидное и вызывающее восторги наших неумных журналистов, в действительности прикрывает его обман и экс-

плуатацию. В самом деле, покупателю сплошь и рядом навязывают ненужные ему товары, качество которых он не в состоянии оценить. Таким образом лесть и угодливость по отношению к покупателю маскируют безжалостную деловую практику. Точно так же обстоит дело с университетским бизнесом: молодым людям внушают, что им нужны дипломы, но не объясняют, что сам по себе диплом ничего не стоит, а подлинной ценностью является образование. Диплом без образования, с которым выпускается из университета молодой человек, и есть самый недоброкачественный из производимых в Америке товаров.

Но, в сущности, преподаватели и администрация университетов — это не владельцы предприятия, а всего лишь обслуживающий персонал. Если продолжить аналогию с торговлей, то они не владельцы магазина, а продавцы; от продавцов же в Америке требуется любезность и угодливость по отношению к покупателю, то есть студенту. Таким образом совершенно искажается отношение между учителем и учеником, лежавшее в основе образования. Учитель, угождающий ученику, перестаёт быть учителем. Нарушается естественная преемственность в передаче опыта и знания от поколения к поколению, и во всех учебных заведениях — в школах тоже — устанавливается противоестественный порядок, для которого изобрели уже слово “педократия” — “власть детей”.

Студенческие беспорядки шестидесятых годов получили уже оценку в исследованиях серьёзных авторов, особенно в книге Конрада Лоренца “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества”. К сожалению, люди старшего возраста, поддержавшие это разрушительное и бессмысленное движение, избежали заслуженного позора. Я имею в виду таких “интеллектуалов”, как Сартр или Маркузе, ставших в то время, на фоне общего интеллектуального вырождения, чем-то вроде властителей умов. Престарелый философ Сартр, изображающий из себя маоиста и бегающий с распущенными мальчишками, — одно из самых жалких зрелищ двадцатого века. Конечно, само по себе возбуждение студентов имело понятные мотивы. В основе его — по крайней мере у лучших его участников — был бессознательный протест против бессмысленности жизни в сложившемся буржуазном обществе, рассматривающем человека лишь как производителя и покупателя товаров. Идеология такого общества есть злая карикатура марксизма, и молодые люди инстинктивно ощущали неполноценность предлагаемого им профессионального образования и убожество предстоявшего жизненного пути. Но у них не было никаких положительных

идеалов, потому что философия, по выражению Альберта Швейцера, оказалась в вине перед двадцатым веком. Вина же её в том, что её больше не существует. Взрослые не сумели поставить перед молодыми людьми сколько-нибудь серьёзные жизненные цели. Поэтому мятеж студентов принял анархический характер и направился на разрушение того, что ещё осталось от университетских традиций. Естественно, к меньшинству искренне заблуждавшихся студентов примкнуло множество бездельников, воспользовавшихся случаем безнаказанно проявить свою ребяческую агрессивность. Трудно представить себе жалкую администрацию, которую можно было этим запугать.

Участники этих мятежей стали взрослыми людьми, почти все они благополучно устроились в буржуазном обществе, доказав этим, что их юношеские выходки вовсе не означали серьёзного отношения к жизни, стремления работать для её изменения. Всё это движение — конечно, не заслуживающее такого названия — было карикатурой на социальные движения прошлого века, точно так же, как их вдохновители-интеллектуалы были карикатурой на революционеров и реформаторов того времени. Трудно поверить, что с тех пор прошёл всего один век.

Гипертрофия прав и недостаток обязанностей приводит к тому, что американские студенты попросту не знают, чем себя занять. Как показали социологические исследования, они почти не читают книг. Телевидение невыносимо скучно: обычно американец не может досмотреть ни одной из сотни программ и, лениво развалившись в кресле или на подушке, щёлкает переключателем, перескакивая от одной к другой. Любовные переживания нынешнему молодому человеку недоступны, потому что он начинает половую жизнь подростком, раньше, чем могут сложиться эмоциональные механизмы привязанности; а без серьёзных эмоций так называемый “секс” — совсем не интересное дело. Материальные нужды тоже не особенно беспокоят студента, поскольку его расходы кто-нибудь оплачивает за него. Таким образом, у американского студента, в сущности, нет ни интересов, ни увлечений. Это самый скучный тип человека, какой можно себе представить.

Конечно, есть меньшинство, всерьёз занятое наукой или, чаще, карьерой. Небольшое число молодых людей увлекается каким-нибудь научным предметом ради его внутренней красоты, и из них вырабатываются учёные. Но наука выпала из культурного контекста, и даже лучшие из нынешних учёных руководствуются лишь спортивными или эстетическими мотивами: это, как правило, *не*

интеллектуальные люди. Не буду здесь объяснять, чем отличается старое русское понятие “интеллигент” от того, что по-английски обозначается термином *intellectual*, а на современном русском языке неприятным словом “интеллектуал”. Английский публицист Пол Джонсон написал злую сатиру на ведущих “интеллектуалов” нашего века; к сожалению, мало что можно сказать в их защиту. Теперь “интеллектуалов”, в общем, не принимают всерьёз, а специалисты “делают своё дело”.

Менее привлекает к себе внимание тот факт, что и стремление к обогащению не похоже в наши дни на классические образцы. Герои Бальзака и Драйзера принадлежат истории: они умели рисковать, а нынешний американец (как и его собрат европеец или японец) выше всего ценит *безопасность*. Пожалуй, наибольшую деловую активность проявляют в Америке недавние эмигранты и иностранные фирмы, начинающие на новом месте. Что касается коренных американцев, то им, в сущности, незачем особенно стараться. Экономическая машина Америки вертится гладко, почти без трения, и никто не спрашивает, зачем. Всего этого благополучия хватит ещё на несколько десятилетий, а думать об отдалённом будущем никто не хочет. Меньше всего озабочены им государственные деятели, выбираемые на небольшой срок. Американский студент твёрдо знает, что для безопасного устройства в этом обществе ему нужно только придерживаться принятых правил. Подлинной страсти к успеху у него нет, как и других страстей.

На первый взгляд может показаться, что американские студенты и сейчас буйны и непокорны, но в действительности они себе позволяют, в известных пределах, шалить, и эти шалости никто уже не принимает всерьёз. Когда я был в Америке, надвигалась война в Персидском заливе, и многие студенты выражали сочувствие революционному герою Саддаму. Они устраивали демонстрации в поддержку “арабского национального движения”, против “американского империализма”. На стенах университета можно было увидеть популярный лозунг “*No blood for oil*” (“Не надо крови за нефть”), а в книжном магазине “Революционной коммунистической партии” продавались газеты с той же идеологией. Студенческая газета тоже усердно защищала Саддама, но главным образом воевала с администрацией по поводу практикуемой в университете “расовой дискриминации”. Состояла она в том, что задерживали открытие специального отделения “африканских наук”. Если бы кто-нибудь захотел дурачить молодых людей, чтобы отвлечь их от серьёзных вещей, достаточно было бы повторять из года в год один

и тот же репертуар. Но я полагаю, что это и есть американский радикализм. Мне осталось сказать ещё об одном явлении, недостаточно известном у нас, но в значительной степени определяющем будущее Соединённых Штатов. Я имею в виду расслоение населения по профессиям, связанное с угасанием энергии коренного населения. Давно уже белые американцы предоставляют “цветным” тяжёлые и неприятные виды физического труда. Прошли времена, когда это была действительно изнурительная работа, как работали рабы на плантациях. Теперь потогонная система почти исчезла, во всяком случае, для американских граждан, имеющих законные права. Но по-прежнему, как выразился наш пролетарский поэт, — “чёрную работу делает чёрный”. На улицах большого города можно видеть негров-мусорщиков: они укладывают в машину пластиковые мешки с мусором, аккуратно увязанные жильцами. Делают они это не торопясь; если у них и есть какие-то нормы, то не слишком обременительные, и зарабатывают они при этом не меньше университетского ассистента. Точно так же, высоко оплачивается работа уборщиков, судомоек, всё, что связано с неприятными веществами, запахами, или просто не престижно. Теперь заметную долю физического труда взяли на себя выходцы из Восточной Азии — вьетнамцы и корейцы, а также “испаноязычные”, законные или незаконные эмигранты из Латинской Америки. Этим так много, что в метро делают для них надписи на испанском языке. Так обстоит дело с физическим трудом.

Более новая черта американской жизни состоит в том, что белые американцы среднего класса всё больше избегают и тяжёлой умственной работы. Сюда относятся занятия точными науками и техникой, и эти вещи всё больше переходят в руки эмигрантов. Я знаю, что эта яркая черта вырождения относится не ко всем белым американцам, но в Америке господствует “средний класс” или, как раньше у нас говорили, “мелкая буржуазия”, из которой, впрочем, происходит и крупная. Типичные представители коренного белого населения, составляющие этот класс, именуется ироническим сокращением WASP (*White Anglo-Saxon Protestant*, белые англо-саксы, протестанты). До сих пор из них выходят люди, правящие Америкой, и в последние десятилетия эти люди предпочитают вполне определённые специальности, сулящие денежный успех и престиж при не слишком тяжёлом умственном труде: они выбирают бизнес и право. Деловые и юридические профессии в Америке щедро оплачиваются и высоко ценятся, но не требуют особого умственного напряжения. Они требуют ловкости и некоторого знания людей и обстоя-

тельств, а эти качества обычно приобретаются в родительском доме. Если понадобятся специальные знания или изобретательность, дельец покупает их за деньги, обычно у людей, не имеющих доступа к выгодным сделкам: за него мыслит наёмный персонал. Теперь советские журналисты, агитирующие за строительство капитализма, внушают нам, что бизнес — это умственная работа, но лучше вспомнить, как описывали дельцов те, кто их в самом деле знал, или посмотреть на них и поверить собственным глазам.

Так или иначе, белые американцы среднего класса предпочитают школы менеджмента и юридические факультеты, а отделения техники и точных наук всё больше заполняют эмигранты. В настоящее время более половины студентов и преподавателей этих отделений родилось вне Штатов. Конечно, большинство приезжающих студентов просто живёт за счёт своих правительств, родителей или каких-нибудь фондов, не утруждая себя работой, об этом я уже сказал. Но есть меньшинство трудоспособных молодых людей, которые учатся всерьёз, используя все имеющиеся в Штатах возможности. Эта молодежь, не имеющая возможности приобрести квалификацию у себя дома, приносит в Соединённые Штаты лучшие дарования своих наций и, как правило, не возвращается в свою “развивающуюся” страну. Условия жизни и работы слишком различны, а научная карьера требует современной аппаратуры, хороших библиотек, постоянного общения с коллегами на семинарах и конференциях: кто привыкает к этим условиям, уже не может без них обойтись. Трудно осудить этих молодых людей, оправдывающих своё поведение обычными софизмами, какие можно услышать от советских эмигрантов. Итак, выучившись всему, что может им дать Америка, они остаются в ней навсегда. Конечно, это самый выгодный для американцев вид импорта, и сделанные недавно изменения в иммиграционных правилах свидетельствуют о понимании этой выгоды. На газетном языке описанное явление называется “*brain drain*”, выкачивание мозгов.

Нетрудно предвидеть, что новые граждане — метеки нынешней Америки — скоро станут её научной и технической элитой. Возьмите в руки любой американский журнал (ещё недавно их выписывали в нашей стране). На обложке вы увидите фамилии авторов — это подлинный интернационал. Особенно бросается в глаза число китайцев, японцев и индийцев: как правило, они живут и работают в Штатах, что часто можно проверить по прилагаемым биографическим данным. Итак, мышление и планирование перейдут в руки пришельцев, тогда как белая элита попытается сохранить за собой

финансовое господство и так называемые “коридоры власти”. Легко понять, что это декаданс американской “белой” культуры. Складывается многорасовое общество, а белые, потеряв в нём интеллектуальное превосходство, со временем утратят и свою власть, потому что власть неизбежно переходит к более сильным и умелым.

Сам по себе, этот факт меня не тревожит; вопрос только в том, какое общество возникнет на месте нынешней Америки. То, что можно увидеть в американских университетах, говорит о глубоком распаде культуры, и очень сомнительно, чтобы эмигранты, столь же нищие в культурном отношении и усваивающие американский образ жизни, могли влить в неё свежую кровь.

Апокалипсис профессора Блума¹

Книга Аллана Блума называется “Угасание американского духа”. Несколько искусственный перевод связан с тем, что автор рассматривает “открытость” — справедливо или нет — как важное свойство прежнего американского общества и полагает, что это свойство теперь исчезает. Книга Блума появилась в 1987 году и сразу же стала бестселлером; это вовсе не значит, что многие американцы прочли и поняли её. В России она почти неизвестна. Случайно она попала мне в руки в 1990 году, незадолго до моей поездки в Соединённые Штаты (тогда мне впервые разрешили выехать за границу). Я прочёл её первую, наиболее важную часть, а в Америке дочитал её.

Недавно умерший Аллан Блум (1930–1992) был специалистом по истории философии, переводчиком и истолкователем Платона и Руссо. Он был также внимательным и правдивым наблюдателем жизни. В течение тридцати лет он преподавал в лучших американских университетах и наблюдал изменения, происходившие в американской молодежи. В этом главный интерес его книги. Будучи в Чикаго, я хотел поговорить с ним, но он оказался в Европе. Во многом я хотел ему возразить, но не в самом главном, о чём будет речь ниже.

Вопреки хвалебным отзывам, украшающим по американскому обычаю обложку, эта книга написана не так уж хорошо. Она состоит из трёх частей, несколько искусственно скомпонованных в одно целое. Первая часть — о детях и студентах — представляет потрясающий интерес, и только о ней я собираюсь в дальнейшем говорить; точнее, постараюсь как можно меньше говорить от себя, предоставляя слово профессору Блуму. Во второй части речь идет о судьбе философии в двадцатом веке и об её восприятии в Америке; третья изображает процессы распада в американских университетах. Всё это интересно, и при случае можно будет к этому вернуться.

Следующий отрывок из введения к книге свидетельствует о том, как автор представляет себе преподавание и какой опыт общения с учащимися выражается в его книге:

¹Реферат по книге Allan Bloom. *The Closing of the American Mind*. N.-Y.: Simon and Schuster, 1987, написан для первого номера “Нового педагогического журнала”, 1996. В 2003 году А. И. Фет разместил его на своём сайте “Современные проблемы. Библиотека”, подписав буквами Н.Т. — *Прим. ред.*

“Увлечённая работа с учениками приводит к пониманию того, что существуют разные виды души, с разной способностью к восприятию истины и заблуждения, а также с разной способностью к обучению. Такой опыт создаёт условия для исследования фундаментального вопроса: «Что такое человек?» — понимая это в смысле его высших чаяний, а не его низших и повседневных потребностей.

Смысл гуманитарного образования (*liberal education*)¹ состоит именно в том, чтобы помочь учащимся поставить перед собой этот вопрос, осознать, что ответ на него не очевиден, но и не невозможен, что невозможна никакая серьёзная жизнь, перед которой не стоит постоянно этот вопрос. Вопреки всем усилиям его извратить (некоторые из них будут рассмотрены в нашей книге), каждый молодой человек спрашивает себя «Кто я такой?», и это мощное стремление следовать дельфийскому² поучению «Познай самого себя», рождающееся в каждом из нас, означает прежде всего: «Что такое человек?». В нынешних условиях, при нашей хронической неуверенности, дело сводится к знанию альтернативных ответов и размышлению над ними. Гуманитарное образование открывает доступ к этим альтернативам, многие из которых направлены против нашей природы или нашей эпохи. Гуманитарно образованный человек — это человек, способный сопротивляться лёгким и предпочтительным ответам, — не из простого упрямства, но потому что знает другие, заслуживающие внимания. Хотя глупо отождествлять книжное образование с воспитанием в целом, оно всегда необходимо, особенно же в такие времена, когда недостаёт живых примеров, представляющих возможные высшие типы человека... Большинство учащихся довольствуется тем, что в настоящее время считается важным; у других останется дух энтузиазма, который сохранится и тогда, когда связи и честолюбие доставят им другие интересы; и небольшое меньшинство их посвятит свою жизнь стремлению к автономии. Они и станут образцами благороднейших человеческих качеств и, тем самым, благодетелями для всех нас — больше благодаря тому, чем они являются, чем тому, что они делают. Если их нет (или, следует прибавить, их не уважают), то никакое общество не может быть названо цивилизованным, сколь бы оно ни было технически оснащено, и какие бы в нём ни были приятные отношения.

С точки зрения учителя — понимаемой таким образом — я наблюдал и выслушивал моих студентов с самым напряжённым инте-

¹Буквальный перевод: “свободное образование”.

²Дельфы — город в древней Греции, где в храме Аполлона находился оракул, предсказывавший будущее.

ресом, в течение более тридцати лет...

По поводу моей выборки скажу, что она состояла из тысяч студентов со сравнительно высоким интеллектом, в материальном и духовном отношении вполне способных делать всё, что они хотели, в течение нескольких лет обучения в колледже, — иначе говоря, молодых людей, наполнявших двадцать или тридцать наших лучших университетов”.

В самом начале книги Аллан Блум описывает на примере своих студентов господствующий в современной Америке “культурный релятивизм”, характерный для интеллектуальной атмосферы нынешнего Запада и выражающий неуверенность в ценностях собственной культуры, а по существу потерю интереса к культуре вообще.

“В одном преподаватель может быть абсолютно уверен: почти каждый студент, поступающий в университет, убеждён — или говорит, что убеждён — в том, что истина относительна. Если сделать это убеждение предметом опроса, можно предсказать реакцию студентов: они вас попросту не поймут. Если кто-нибудь не находит это утверждение самоочевидным, они реагируют на такое мнение, как если бы вы сомневались в том, что $2 + 2 = 4$. Это вещи, о которых не задумываются. Исходные позиции столь разнообразны, как только могут быть в американских условиях. Некоторые из них верующие, другие атеисты; некоторые левые, другие правые; некоторые собираются заниматься естественными науками, другие — гуманитарными, или свободными профессиями¹, или бизнесом; некоторые бедны, другие богаты. Объединяют их лишь релятивизм и признание равенства. То и другое связаны в нечто вроде *моральной установки*. Относительность истины для них не теоретическая идея, а моральное требование, условие свободного общества, как они его понимают. Все они очень рано обзавелись этой конструкцией, ставшей современной заменой традиционной американской веры, что основой свободного общества являются неотъемлемые естественные права человека. Самый характер ответов свидетельствует, что для студентов это моральный вопрос; они реагируют на него комбинацией недоверия и негодования: «Неужели вы — абсолютист?», что говорится таким же тоном, как вам сказали бы: «Неужели вы — монархист?», или: «Вы в самом деле думаете, что бывают ведьмы?» ... Как их научили, опасность абсолютизма — не заблуждение, а нетерпимость. Релятивизм необходим для открытости, а открытость — это добродетель, даже единственная добродетель, которую школьное обра-

¹Такими, как право или медицина.

зование старается привить им в течение более чем пятидесяти лет. Открытость — это великое достижение нашего времени, а релятивизм — это единственная возможная установка перед лицом разнообразных притязаний на истину и различных человеческих типов. Подлинно верующий — это и есть настоящая опасность. История и изучение различных культур учат, что весь мир был в прошлом безумен; люди всегда думали, что они правы, и это приводило к войнам, преследованиям, рабству, ксенофобии, расизму и шовинизму. И дело вовсе не в том, чтобы исправить эти заблуждения и найти подлинную правду: надо попросту никогда не думать, что вы правы.

Конечно, студенты не способны защитить своё мнение. Это не то, что было им просто внушено. Самое большее, они могут сказать вам, что были и есть такие-то мнения и культуры, и может ли кто-нибудь утверждать, что одна из них лучше других? Предположим, я задаю шаблонный вопрос, чтобы смутить их и заставить думать: «Если бы вы были английским администратором в Индии, разрешили бы вы туземцам сжечь вдову на погребальном костре её мужа?» На это они отвечают молчанием, или говорят, что англичанину вообще нечего было делать в Индии. Они мало знают о других нациях, и даже о своей собственной. Их воспитывали не для того, чтобы сделать их образованными, а чтобы привить им некую моральную добродетель — открытость...

Есть два вида открытости: открытость равнодушия — распространяемая с двойной целью, унижить нашу интеллектуальную гордость и позволить нам быть чем угодно, лишь бы только не людьми, уверенными в своих взглядах; и открытость, побуждающая нас к исследованию в поиске знания и уверенности, для чего мы находим великолепный ряд примеров в истории и разнообразии существующих культур. Второй вид открытости поощряет стремление, воодушевляющее любого серьёзного учащегося и поддерживающее в нём интерес: «Я хочу знать, что хорошо для меня, в чём я найду моё счастье»; первый же — подавляет это стремление. Открытость в той форме, как её обычно понимают, это способ, позволяющий придать видимость принципиальной позиции повиновению любой силе, преклонению перед любым вульгарным успехом... Подлинная же открытость означает закрытость по отношению ко всему, что делает приятной и удобной нашу повседневную жизнь»⁷.

Одна из главных тем книги — разрушение системы образования в Соединённых Штатах. В немногих лучших университетах там всё ещё продолжается научная деятельность, и это маскирует подлинное положение вещей: типичные выпускники американских универ-

ситетов попросту малограмотны — не умеют грамотно писать по-английски, как может убедиться каждый знающий этот язык. Что же касается американской школы, то все наши преподаватели, побывавшие в Америке, и все американские, посетившие Россию, единогласно приходят к парадоксальному выводу: после всех злоключений образования в советское время наша школа всё же лучше американской. Я в это просто не хотел верить, пока меня не засыпали живыми примерами и статистическими данными об американских школах. Все попытки исправить это ни к чему не ведут, о чем много говорит профессор Блум. Приведём только один отрывок:

“Почти все люди среднего класса имеют диплом какого-нибудь колледжа, большинство — какую-нибудь степень. Те из нас, чьи родители или предки никогда не переступали порога высшей школы, могут поздравить себя, сравнивая свои достижения со скромным образованием своих предшественников. Но нельзя избежать впечатления, что иллюзия лучшей образованности этой массы населения зависит от неоднозначности самого слова «образование», от смешения технического образования с гуманитарным. Весьма искусный специалист по компьютерам так же мало нуждается в обучении морали, политике или религии, как любой невежда... Когда юноша, подобный Линкольну, хотел заняться своим образованием, то очевидными и доступными предметами изучения были для него Библия, Шекспир и Евклид. Был ли он от этого хуже образован, чем молодые люди, проглотившие технический винегрет нынешней школьной системы, с её полной неспособностью отличить важное от неважного, не оглядываясь на рынок?”

И дальше он говорит об уважении к книге:

“Мои дедушки и бабушки находили смысл существования своей семьи и выполнения своего долга в серьёзных книгах, и они соотносили свои личные страдания с великим, облагораживающим прошлым. Их простая вера и благочестие связывали их с великими учёными и мыслителями, размышлявшими над теми же предметами, причём не внешним образом, с какой-нибудь чуждой точки зрения, а с той же верой, но более глубоко, и чтение доставляло им руководство. У них было уважение к подлинной учёности, потому что они ощущали в ней связь с собственной жизнью...”

Не думаю, чтобы мое поколение, или мои двоюродные братья и сестры, воспитанные на американский лад и все ставшие докторами медицины или философии¹, получили сравнимое с этим образова-

¹В Соединённых Штатах “доктор медицины” — дипломированный врач; “док-

ние. Когда они толкуют о небе и земле, об отношениях между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, об условиях человеческой жизни, я слышу одни только штампы, банальности, достойные сатиры. Я вовсе не хочу сказать какую-нибудь пошлость вроде того, что жизнь становится полнее, если у людей есть мифы, которыми можно жить¹. Но я думаю, что жизнь, основанная на Книге, ближе к истине, что она доставляет материал для более глубокого исследования и проникновения в подлинную природу вещей. Без великих открытий, без эпоса и философии, как части нашего естественного взгляда на мир, не остается ничего стоящего внимания во внешнем мире и, в конечном счете, мало что во внутреннем. Библия — не единственный источник для наполнения человеческой психики; но без книги подобной же серьезности, читаемой с серьезностью потенциально верующего человека, жизнь остается неполной...

Этим постоянным ослаблением старых политических и религиозных пережитков в душах молодых людей объясняется разница между студентами, каких я знал в начале моего преподавания, и теми, кого я вижу сейчас. Потеря книг сделала их более узкими и плоскими. Более узкими — потому что им недостаёт самого необходимого — подлинного основания для недовольства настоящим и сознания, что возможны альтернативы нынешнему положению вещей. Они более склонны довольствоваться существующим, и в то же время не надеются его избежать. Стремление к необычному у них ослаблено. Исчезли самые образцы для восхищения и презрения. И они стали более плоскими, потому что без понимания мира, без поэзии и воображения их души подобны зеркалу, отражающему не природу, а всего лишь ближайшее окружение. Утонченность духовного зрения, позволяющая видеть тонкие различия между людьми, между их поступками и их мотивами, утонченность, составляющая подлинный вкус, невозможна без содействия литературы высокого стиля... Теперь гораздо труднее связать классические книги с каким-либо опытом или потребностью нынешних студентов”.

Интеллектуальное обнищание, о котором говорит профессор Блум, отражает общий процесс распада культуры, который он не может охватить и объяснить: он ведь не философ, а только наблюдатель отдельных симптомов, сопровождающих этот процесс. Естественно, в его положении воспитателя молодежи он особенно озабочен разрушением семьи:

тор философии” — примерно соответствует нашему кандидату наук в любой области естествознания.

¹Намёк на популярную книгу Дж. Кемпбелла *Myths To Live By*.

“Я говорю здесь не о несчастных разрушенных семьях, составляющих столь значительную часть американской жизни, а об относительно счастливых, где муж и жена относительно хорошо относятся друг к другу и заботятся о детях, часто посвящая им лучшую часть своей жизни. Но им нечего дать детям в смысле понимания мира, высоких образцов деятельности и глубокого содержания связи с людьми. Чтобы выжить и выполнить своё назначение, семья нуждается в весьма утончённом сочетании природы и условности, человеческого и божественного. В основе её лежит простое физическое воспроизводство, но цель её — образование цивилизованного человека. Семья должна обладать некоторым авторитетом и мудростью относительно путей небесных и человеческих. Родители должны обладать знаниями прошлого и предписаниями относительного должного будущего, чтобы сопротивляться лицемерию и испорченности настоящего. Теперь нередко говорят, что семья нуждается в ритуале и церемониях, но их уже нет. Семья должна быть священным сообществом, верящим в непреходящую ценность того, чему она учит; лишь в этом случае ритуал и церемонии могут выразить и передать тот чудесный нравственный закон, который может передать только семья, — что придаёт ей особую роль в этом мире, поглощённом человеческой, слишком человеческой погоней за полезным. Когда эта вера исчезает, что произошло у нас на глазах, то от семьи остаётся, в лучшем случае, временное сообщество. Люди вместе едят, вместе играют, вместе путешествуют, но уже не думают вместе. Вряд ли теперь есть семьи с общей интеллектуальной жизнью, тем более — с общим пониманием насущных вопросов жизни. Высший уровень общественной деятельности семьи сводится к образовательным передачам телевидения...

Родители не имеют уже той юридической и моральной власти, какую они имели в Старом Море. Как воспитатели своих детей, они не уверены в себе; они питают лишь неопределённую надежду, что дети будут лучше своих родителей, не только в отношении материального благополучия, но и в моральном, физическом и интеллектуальном развитии...

Наряду с непрерывным потоком новшеств и переездами с места на место, радио, а затем телевидение подорвали и уничтожили интимную жизнь семьи, ту подлинно американскую интимность, которая была условием развития высокой и независимой жизни в демократическом обществе. Теперь родители уже не контролируют атмосферу в своём доме, и даже потеряли желание это делать. Телевидение с большой утончённостью и энергией вторгается не

только в жилища, но и во вкусы людей, старых и молодых, апеллируя к немедленному удовольствию и подрывая всё, что этому препятствует”.

Вряд ли надо объяснять, что телевидение играет во всём мире фатальную роль в разрушении культуры. Ведь культура строится на системе ограничений, как раз препятствующих “немедленному удовлетворению”, чтобы сделать возможным систематический осмысленный труд. Этим дело не ограничивается: телевидение разрушает также физическое здоровье, как это было доказано в Америке опытами на крысах. Крысы не видели передач, они просто облучались экраном телевизора и гибли через несколько недель. Никакое лекарство, убивавшее крыс, не стали бы давать детям, а телевизоры им дают. Об этом говорит книга американца Джерри Мандера “Четыре довода в пользу устранения телевидения”.

Телевидение — только часть общего явления коммерческой наркотизации детей. Наркотизацией я называю любое воздействие на человека, аналогичное применению наркотиков, то есть искусственное возбуждение и мнимое удовлетворение, заменяющее настоящую жизнь. Для этого явления в нашем языке нет даже общего термина: самая страшная опасность нашего времени подкралась к нам без названия! В английском языке есть термин *addiction*, означающий наркотизацию химическими веществами: “обычную” наркоманию, пьянство и даже курение. Но это слово по самому своему смыслу (“вовлеченность”, “втянутость”) подчёркивает роль жертвы наркотизации; между тем, главным её фактором является коммерческое внедрение и распространение наркотиков, спиртных напитков и табака, чем занимаются вездесущие корпорации, влияющие на политическую жизнь.

Но опаснейшая сторона коммерческой наркотизации — это не химическое отравление, не радио и даже не телевидение, а так называемая “рок-музыка” и аналогичные ей виды шумового развращения. Анализ этого явления, содержащийся в книге Блума, не нуждается в комментариях:

“Ницше¹ в особенности пытался вновь отворить иррациональные источники жизненной силы, пополнить высохший поток её из «варварских» источников; поэтому он поощрял дионисийское начало и музыку, происходящую от него.

¹Ницше противопоставлял современному цивилизованному обществу, в котором он усматривал упадок жизненных сил, возрождение варварства, понимая под ним безжалостную борьбу за власть, выдвигающую «сверхчеловека» — “белокурую бестию”. Эта теория Ницше вдохновила немецких фашистов.

Таков смысл рок-музыки. Я не хочу этим сказать, что у неё есть высокие интеллектуальные источники. Но она поднялась до своего нынешнего положения в воспитании молодежи на развалинах классической музыки и в атмосфере, в которой отсутствует всякое интеллектуальное сопротивление попыткам открыть дорогу самым грубым страстям. Современные рационалисты, например экономисты, равнодушны к тому, что она собой представляет. Иррационалисты все — за неё. Можно не опасаться, что из слабых душ наших подростков возникнет «белокурая бестия»¹. У рок-музыки есть лишь единственная, варварская привлекательность: она апеллирует только к половому влечению — не к любви, не к эросу, а к недоразвитому, незнающему половому влечению. Она распознаёт первые проявления детской сексуальности и принимает их всерьёз, возбуждая и узаконивая их — не как юные побеги, нуждающиеся в тщательном уходе, чтобы из них выросли роскошные цветы, а как некую законченную реальность. Рок подносит детям на серебряном блюде, со всем публичным авторитетом индустрии развлечений, те самые вещи, о которых родители всегда говорили, что с ними надо подождать, что сначала надо подрасти, чтобы их понять.

Молодые люди знают, что рок имеет ритм полового сношения. Именно поэтому «Болеро» Равеля — единственное произведение классической музыки, которое они знают и любят. С небольшим прибавлением искусства и большой дозой псевдоискусства целая промышленность культивирует вкус к оргиастическим состояниям чувства, связанным с сексом, поставляя непрерывный поток пицци для их жадного аппетита. Никогда ещё не было формы искусства, столь исключительно адресованной детям...

Представьте себе тринадцатилетнего мальчика, сидящего в гостиной своей семьи и готовящего свой урок по математике, с наушниками на голове или поглядывающего на телевизор. Он наслаждается свободой, завоёванной в многовековой борьбе союзом философского гения и политического героизма, освящённой кровью мучеников; самая производительная экономика в истории доставляет ему удобства и свободное время; наука проникла в тайны природы, чтобы доставить ему этот чудесный, подобный живому электронный звук и это изображение, которыми он наслаждается. Но чему же служит весь этот прогресс? Перед нами подросток, тело которого содрогается в ритме, симулирующем оргазм; чувства которого формируются гимнами, воспевающими радости онанизма или убийство

¹«Сверхчеловек» в фантазиях Ницше.

родителей; честолюбие которого — добиться славы и богатства, подражая наряженному женщиной обольстителю, производящему эту музыку. Короче говоря, жизнь превращается в непрерывную фантазию онанизма в коммерческой упаковке...

Это явление поразительно, и в то же время невыносимо, а между тем его едва замечают, оно стало привычным. То, что в нашем обществе лучшая пора юности, её лучшая энергия поглощаются этим способом, приобрело историческое значение. Люди будущих цивилизаций будут удивляться этому, найдут это столь же непостижимым, как мы находим кастовую систему, сожжение вдов, людоедство, гаремы или бои гладиаторов. Вполне возможно, что величайшее безумие общества кажется нормальным ему самому. . .

Результат всего этого крайне важен: Родители теряют всякий контроль над моральным воспитанием детей в такое время, когда этим всерьёз не озабочен никто другой...

Рок-музыка доставляет преждевременный экстаз и, в этом смысле, напоминает наркотики, которым она родственна. Она искусственно вызывает экзальтацию, в естественных условиях связанную с завершением величайших дерзаний — победой в справедливой войне, триумфом любви или художественного творчества, обретением религиозной веры или постижением истины. Плодами всего этого может теперь пользоваться кто угодно, без усилий, без таланта, без добродетели, без упражнения своих способностей. Как показывает мой опыт, студенты, испытавшие серьёзное действие наркотиков — и преодолевшие его — с трудом поддаются энтузиазму и редко питают большие надежды. Они производят такое впечатление, будто их жизнь обесцвечена и они видят всё в черно-белом свете. Удовольствие, испытанное в самом начале, было столь сильным, что они уже не ожидают его в конце, или в качестве завершения. Они могут функционировать вполне удовлетворительно, но сухо, шаблонным образом. Их энергия подорвана, и они рассчитывают всего лишь произвести своей жизнедеятельностью средства к жизни; между тем, гуманитарное образование должно поддерживать веру в то, что хорошая жизнь — это приятная жизнь, а наилучшая жизнь — самая приятная жизнь. Я подозреваю, что действие рок-музыки, особенно при отсутствии сильных противодействий, аналогично действию наркотиков. Студенты преодолеют эту музыку, или по крайней мере исключительную страсть к ней. Но они делают это таким же образом, как, по словам Фрейда, принимается принцип реальности — как нечто суровое, неприятное, по существу непривлекательное, как простую неизбежность. Такие студенты бу-

дут усердно изучать экономику или какую-то профессию; они снимут наряд Майкла Джексона, под которым обнаружится костюм от братьев Брукс. Они захотят продвигаться по службе и жить с комфортом. Но жизнь эта будет так же пуста и ложна, как и оставшаяся позади. Настоящий выбор — это вовсе не выбор между быстрым удовлетворением и скучным расчетом. Именно это должно было показать им гуманитарное образование. Но пока на них наушники, они не способны услышать, что говорит им великая традиция. А когда, после продолжительного пользования, они их снимут, то окажется, что они оглохли”.

Предельным достижением наркотизации было бы электрическое стимулирование мозга с помощью введённых внутрь черепа электродов, как это делали физиологи — Дельгадо и другие. Сначала они делали это с крысами, которые могли включать такие переживания, нажимая на педаль. По-видимому, крысы получали от этого сильное удовольствие, так как продолжали нажимать эту педаль до полного изнеможения. Потом эти опыты были проведены со студентами, но их переживания почему-то не были описаны. С электродом в мозгу можно вовсе не жить, а лежать в постели и всем наслаждаться — как это делали курильщики опиума, лёжа на своей циновке. Жаль только, что эти прежние любители немедленного удовлетворения жили недолго; нынешние живут дольше.

Но представим себе относительно благополучный случай, который изображает профессор Блум: молодого человека, “преодолевшего” шумовую болезнь. Посмотрим, как он описывает своих нынешних студентов:

“Хотя они хотели бы хорошо думать о себе, как и все люди вообще, они сознают, что заняты лишь своей собственной карьерой и своими отношениями. Такой жизни придаётся некоторая внешняя привлекательность риторикой по поводу реализации личности; но молодые люди знают, что во всём этом нет ничего особенно благородного. Качеством, вызывающим восхищение, стала теперь способность выжить, а не героизм, как было в прежние времена. И этот поворот к личному вовсе не является возвращением к нормальности от лихорадочного возбуждения шестидесятых годов¹, как хотели бы думать некоторые; он не является также выражением извечно-го эгоизма. Это новая ступень изоляции, не оставляющая молодому

¹Речь идёт о студенческих волнениях, охвативших в 60-ые годы ряд западных стран. Студентам не доставало тогда, как говорил выше Аллан Блум, “подлинных оснований для недовольства”, что придавало их протестам карикатурный характер.

человеку другого выбора, кроме обращения к самому себе. Предметы, почти автоматически привлекающие внимание к более общим вопросам, попросту отсутствуют. Конечно, голод в Эфиопии, массовые убийства в Камбодже или атомная война — всё это подлинные бедствия, заслуживающие внимания. Но они не связаны непосредственно и органически с жизнью студента. Его повседневные дела редко включают в себя заботы о более широких общественных вопросах таким образом, чтобы личное и общественное сливались в его мыслях... Современный экономический принцип, по которому личная порочность производит общественную добродетель, проник во все аспекты повседневной жизни до такой степени, что не видно причин быть сознательной частью гражданской жизни¹.

Отечество, религия, семья, идеи цивилизации, эти эмоциональные и исторические силы, стоявшие между бесконечностью космоса и индивидом, дававшие ему некоторое представление о его месте в мире, всё это подверглось рационализации и потеряло свою притягательную силу. Америка не ощущается уже как некоторый общий проект, а как нечто вроде рамки, в которой отдельные люди предоставлены самим себе. ... Единственный общий проект, привлекающий воображение молодых людей, это исследование космоса, который, как известно, пуст.

Возникающий отсюда неизбежный индивидуализм, присущий нашему политическому строю, усиливается другим, непредусмотренным и непредвиденным явлением — упадком семьи, которая была посредником между индивидом и обществом, доставляла индивиду в некотором смысле естественные внеличные привязанности, внушала ему необходимые заботы по крайней мере о некоторых близких и создавала совсем иное отношение к обществу, чем проявляет теперь изолированный индивид. Родители, мужья, жёны и дети — это залог продолжения общества. Они смягчают равнодушные к нему, связывая с его будущим личный интерес. Это не просто инстинктивная любовь к своей стране, а любовь к ней ради самого себя. Это мягкая форма патриотизма, простейшим образом вытекающая из личной заинтересованности и не требующая слишком большого самоотречения. Распад семьи означает, что общество потребует от человека крайней самоотверженности в такое время, когда всё побуждает его лишь потворствовать собственным желаниям.

Наряду с тем, что многие студенты пережили развод своих ро-

¹«Современный экономический принцип», о котором здесь говорится, есть извращенное понимание идей Адама Смита, объяснившего рыночную экономику. Теперь это извращение усиленно пропагандируется в России.

дителей и знают из статистики, что развод с большой вероятностью ожидает их самих, они вряд ли думают, что им придётся в будущем заботиться о своих родителях или о других родственниках, или даже часто видеть их, когда они станут взрослыми. Социальное обеспечение, пенсионные фонды и медицинское страхование для престарелых освобождают детей даже от необходимости оказывать им материальную поддержку, не говоря уже о том, чтобы родители жили в их доме. Когда ребенок поступает в колледж, это действительно начало конца его жизненной связи с родителями, хотя сам он едва ли это сознаёт. Родители имеют мало власти над детьми, когда те уходят из дома, а детям приходится думать о том, что их окружает, и о будущем. Не то, чтобы они были бессердечны: попросту их главные интересы теперь в другом. В духовном смысле семья уже была довольно пуста, и новые предметы заполняют их поле зрения по мере того, как старые блекнут...

Они могут стать всем, чем захотели бы стать, но у них нет особенных причин стать чем-то определённым”.

Первая черта, бросающаяся в глаза при наблюдении нынешней молодёжи, — если только сам наблюдатель сохранил некоторое понимание своей культурной традиции — это её так называемая “сексуальная свобода”. Аллан Блум говорит нам, что он об этом думает, и его рассказ следует сопоставить с известным фактом снижения половой потенции у нынешней “освобождённой молодёжи”: ¹

“Сексуальное освобождение выступило на сцену как смелое утверждение бесспорного естественного побуждения, против нашего пуританского наследия, общественных условностей и репрессий, поддерживаемых библейским мифом о первородном грехе. С начала шестидесятых годов началось постепенное испытание прочности барьеров, ограничивавших выражение сексуальности, и оказалось, что они легко распались или уже исчезли, незаметно для всех. Легко было преодолено осуждение родителей и учителей по отношению к юношам и девушкам, спящим или живущим вместе. Исчезло всё, что препятствовало добрым половым сношениям — страх болезни, риск беременности, семейные и общественные последствия, трудности с помещениями. Студенты, особенно девушки, больше не стеснялись демонстрировать свою сексуальную привлекательность или свои сексуальные успехи. Вид сожителства, который в двадцатые годы был опасен, в тридцатые и сороковые был рискован

¹См., например, книгу Конрада Лоренца “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества” (в сборнике “Оборотная сторона зеркала”, изд-во “Республика”, М., 1998).

и отдавал душком богемы, стал теперь столь же нормальным, как членство в гёрл-скаутах. Я говорю «особенно» о девушках, потому что юноши, как всегда предполагалось, склонны к немедленному удовлетворению, тогда как молодые женщины, поддерживаемые скромностью, должны были, как раньше считалось, этому сопротивляться. Новые отношения стали возможны благодаря изменению или устранению женской скромности. Но поскольку скромность рассматривалась теперь как простая условность или привычка, её ничего не стоило преодолеть...

Обещанное немедленное сексуальное освобождение было попросту ожиданием счастья, понимаемого как освобождение энергии, подавленной мрачными тысячелетиями репрессий: это должно было привести к непрерывной великой вакханалии. Но как только открылась дверь клетки, рычавший за нею лев оказался безобидным маленьким котёнком. В самом деле, в исторической перспективе сексуальное освобождение можно истолковать как признание того, что заключённая в нас сексуальная страсть уже не опасна, и что разумнее предоставить ей свободу, чем рисковать мятежом, ограничивая её. Однажды я спросил моих студентов, как это могло быть, что в недавнем прошлом родители говорили заблудшей дочери: «Никогда больше не переступай нашего порога», между тем как теперь они редко возражают, когда их дочери спят со своими приятелями в их доме. И очень милая, очень нормальная молодая женщина ответила: «Но ведь это не так уж важно». В этом всё дело. Самый поразительный результат, подлинное откровение сексуальной революции — именно это бесстрашие, делающее молодое поколение более или менее непостижимым для старших⁷.

Всё дело, конечно, в том, что человеческие переживания зависят не столько от физического поведения, сколько от понимания этого поведения в определённой культуре. Распад культуры обесмысливает отношения между мужчиной и женщиной, сводя их (как объясняется в упомянутой выше книге К. Лоренца) к биологическому типу отношений, наблюдаемых у домашнего скота. К сожалению, это не сатирическое преувеличение, а результат объективного исследования. Профессор Блум этого, в сущности, не объясняет, но подробно описывает; в отличие от домашних животных, люди рационализируют своё поведение, и вот к чему это приводит:

“Восторг освобождения испарился, поскольку неясно, от чего именно нас освободили... И здесь мы вернёмся к нашим студентам, для которых всё ново. Они не уверены в своих чувствах друг к другу и не знают, чем руководствоваться, если какие-то чувства

возникают.

Студенты, о которых я говорю, осведомлены о всевозможных сексуальных альтернативах, они знали их с самого раннего детства, и они полагают, что допустимы любые сексуальные акты, не наносящие вреда другим. Они не думают, что должны испытывать по поводу секса чувства вины или стыда. В школе они получили сексуальное воспитание, либо в варианте «биологических фактов с предоставлением выбора ценностей им самим», либо даже в варианте «выборов и ориентаций». Они жили в мире, где повсюду вокруг них секс является предметом самых бесцеремонных разговоров и жалоб. Они мало опасаются венерических болезней¹. С самого начала половой зрелости в их распоряжении были противозачаточные средства и легкодоступный аборт. Для значительного большинства из них половые сношения были нормальной частью жизни ещё до поступления в колледж², без опасения социального осуждения и, тем более, возражений родителей. Девочки были менее ограничены в своих отношениях с мальчиками, чем в любую другую историческую эпоху. Нельзя назвать этих молодых людей в точности язычниками, но они вполне знакомы с телом своего партнёра и легко пользуются своим собственным телом для целого ряда эротических целей. Девственности партнёра или своей собственной не придаётся особенного значения. Предполагается, что у партнёра раньше были другие связи, и — что кажется невероятным людям старшего возраста — это их не беспокоит, хотя даёт основания для предсказания будущего. Они не беспорядочны в половых отношениях, не предаются оргиям и не имеют так называемого случайного секса. Как правило, они имеют в данное время одну связь, но большинство из них имело уже раньше несколько последовательных. Они привыкли к общим спальням. Многие живут совместно, почти никогда не рассчитывая на брак. Это по-

¹Неясно ещё, каково будет действие СПИДа. Волна публикаций по поводу лихая несколько лет назад почти не имела психологических последствий. — *Примеч. Блума.* СПИД не вызвал никаких изменений в психологии американской молодёжи. — *Примеч. Фета.*

²То есть примерно до 18 лет. Как известно из американской статистики, около 30% мальчиков и 20% девочек начинают половые сношения в 13–14 лет или даже раньше, задолго до наступления эмоциональной зрелости, необходимой для полноценных отношений между полами. Испорченные таким образом дети вряд ли способны к любви и браку в том смысле, как обычно понимались эти слова. Читатель, не разделяющий опасений по поводу «раннего секса», может представить себе (вполне реальный через несколько лет) случай СПИДа в классе, где учится его ребёнок.

просто удобное соглашение. Это не пары в смысле какого-то подобия брака или в смысле образа жизни, отличного от жизни не связанных таким образом студентов. Как они сами себя называют, они соседи по комнате, включающие секс и удобства в квартирную плату. Исчезло всякое препятствие к половым отношениям между молодыми людьми, не состоящими в браке, и эти отношения имеют шаблонный характер. Для пришельцев с другой планеты самым поразительным покажется то, что сексуальная страсть уже не содержит в себе иллюзии вечности...

Фрейд и Д. Г. Лоуренс¹ для них — старая чепуха. Это им не интересно. Ещё меньше они могут узнать о своём положении из старой литературы, которая — начиная с Эдема — изображала совокупление таким тёмным и сложным делом. Подумав, нынешние студенты недоумевают, из-за чего было всё это беспокойство. Многие полагают, что секс открыли их старшие братья и сёстры, и это было, как известно, в шестидесятых годах. На меня произвело впечатление, как удивились студенты, узнав из «Исповеди» Руссо, что он состоял во внебрачной связи с женщиной — в восемнадцатом веке. Как он до этого додумался?

Конечно, бывает литература, глубоко трогаящая одно поколение, но теряющая всякий интерес для следующего, поскольку её главная тема оказывается преходящей; между тем, величайшие произведения литературы обращаются к вечным проблемам человека. Например, «Привидения» Ибсена потеряли всё своё действие на молодых людей, когда сифилис перестал быть угрозой. Как учит Аристотель, мы испытываем сострадание к чужому несчастью лишь в том случае, если то же может случиться с нами. Так вот, со студентами не случаются больше многие вещи, происходившие с людьми прежде — во всяком случае, в отношениях между полами. И поскольку эти предметы не кажутся им вечными проблемами, они должны удивляться, почему литература вечно занималась такими вещами...

Анна Каренина и мадам Бовари были прелюбодейки, но их поступки уже не потрясают вселенную. В наши дни Анна получила бы, вероятно, своего сына посредством мирного развода с мужем. Все романы, с их описанием резкой противоположности мужчины и женщины, с их напряжённой сублимированной чувственностью и с их настойчивым подчёркиванием святости брака, попро-

¹Английский писатель начала двадцатого века, автор напумевшего романа «Любовник леди Четтерли».

сту не имеют отношения к реальности, интересующей нынешних молодых людей. Ни Ромео и Джульетта, вынужденные бороться с сопротивлением родителей, ни Отелло с его ревностью, ни Миранда с её тщательно хранимой невинностью. Как мне сказал один студент в моем семинаре, у святого Августина были «заскоки на сексуальной почве». Что уж там говорить о Библии, раз каждое «нет» в ней превратилось в «да». Все запреты, кроме, может быть, запрета, нарушенного Эдипом, исчезли, и вместе с ними исчезла скромность”.

Разумеется, ссылка на Библию вовсе не означает, что профессор Блум предлагает вернуться к религии. Сам он, по-видимому, был неверующий, лишь испытывавший ностальгию по вере своих предков. Но Библия была основой культуры, теперь именуемой западной, а раньше называвшейся христианской. А библейские запреты — это, в общем, запреты любой культуры, и каждая культура есть система ограничений, препятствующих “немедленному удовлетворению” ради более высоких целей. “Скромность” же означает уважение к культурной традиции, без которой никто не может воспитывать и никого нельзя воспитать.

Поколение, порвавшее с прошлой культурой, и вдобавок лишённое психической и моральной энергии, конечно, никакой новой культуры не создаст, а будет пробавляться осколками разбитого прошлого, погружаясь в варварство.

Отзывы американской критики о книге профессора Блума лишь подтверждают ту известную из истории истину, что больная цивилизация не способна понять своё положение. В общем, критики поняли его так, что он жалуется на “упадок классического образования”; на языке американской печати это значит — добивается ассигнований на свой факультет. Да и сам автор книги вряд ли понял, что он изобразил в её начале. Во всяком случае, его советы в конце книги выглядят достаточно наивно: он рекомендует читать старых философов, особенно своего любимого Платона.

Верующие слышат уже приближение всадников Апокалипсиса. Не обязательно думать, что крушение нашей культуры неоправдано. Но, может быть, мы задумаемся, что нам делать с нашими детьми?

Четыре аргумента в пользу устранения телевидения¹

Автор реферируемой книги — американский специалист по рекламе, много лет работавший на телевидении и знающий его технические возможности и коммерческие условия. Как правило, люди этой профессии не разделяют опасений по поводу своего “средства массовой информации” и далеки от критиков телевидения, чаще всего происходящих из гуманитарной интеллигенции. И в самом деле, Джерри Мандер вовсе не интеллигент, даже в смысле культурной подготовки: его мировоззрение достаточно хаотично, и если ему можно приписать какую-то “философию”, то она состоит из фрагментов достаточно стандартных установок американских “левых радикалов”. Этот рекламный агент стал радикальным противником телевидения просто потому, что начал задумываться над ролью этого “средства” в жизни современного человека. Преуспевающий дельец над такими вещами обычно не задумывается; пожалуй, самая способность о чём-нибудь задумываться противопоказана дельцу, который должен быть всегда сосредоточен на текущем деле, не связывая все свои текущие дела ничем, кроме банковского счёта.

Дж. Мандер был преуспевающим дельцом, и перестал им быть. Он стал скептиком, а затем обличителем собственной профессии. Даже в политическом смысле он настроился весьма радикально, но, конечно, он не “красный” радикал, а скорее “зелёный”. Это значит, что его угнетает техническая сложность современного общества, от которого он хотел бы спастись в утопически идеализированной “естественной среде”, где люди вновь обретут непосредственность и доброжелательность “благородных дикарей”. Время от времени Джерри Мандер выражает негодование в адрес капиталистических дельцов, управляющих телевидением в своих интересах и не понимающих никаких других интересов, кроме денежных. В таких случаях автор может показаться “красным”, но его “социальный протест” никогда не достигает отчётливого понимания общества, в котором он живёт. Он всегда остаётся буржуа, или, как предпочитают говорить американцы, принадлежит к “среднему классу”.

¹Реферат по книге Jerry Mander. *Four Arguments for the Elimination of Television*. Quill, N.Y., 1978, написан для “Нового педагогического журнала”, 1996, №2. — Прим. ред.

Книга его интересна не этим. “Средства массовой информации”, и в особенности телевидение, уже достаточно критиковали с культурных позиций, и вряд ли кто-нибудь ожидает от них чего-нибудь большего, чем дешёвого развлечения. Дж. Мандер смотрит на телевидение глазами специалиста, если можно так выразиться, “изнутри”, и объясняет нам, что телевидение по самым своим техническим свойствам *неисправимо*, независимо от того, каковы намерения управляющих им людей. Мне кажется, он заходит в этом мнении даже слишком далеко: техническое средство становится у него чем-то вроде самостоятельного общественного зла, почти демонизируется. Но в *нынешних общественных условиях* он несомненно прав: телевидение надо устранить.

Отношение Дж. Мандера к технике выражено во введении к его книге, в разделе “Иллюзия нейтральной техники”.

“Большинство американцев, — говорит он, — независимо от того, принадлежат ли они в политическом отношении к левым, центру или правым, скажут, что техника нейтральна, что техника всего лишь благотворное орудие, средство, зависящее от того, в какие руки оно попадёт, что она может быть использована разными способами. В технике нет ничего, что препятствовало бы её хорошему или дурному применению; ни в самой технике, ни в обстоятельствах её появления нет ничего, что предопределяло бы её использование, управление ею и её влияние на отдельную человеческую жизнь или на общественные и политические явления вокруг нас.

Отсюда заключают, что телевидение — всего лишь окно или канал, через который может проходить любое восприятие, любая аргументация или любая действительность. Поэтому телевидение в принципе способно просвещать своих зрителей и может быть полезно для демократии”.

И дальше автор возражает против такой точки зрения:

“Главная тема этой книги состоит в том, что эти предположения относительно телевидения, как и относительно других видов техники, совершенно ошибочны”.

Ряд примеров, которыми автор пытается опровергнуть “иллюзию нейтральности техники”, доказывает лишь то, что техника может плохо действовать на людей, и что техникой в обычных условиях управляют плохие люди, “кондиционируемые” этим воздействием. Обычные условия, которые всё время неявно подразумеваются в книге, — это капиталистическое общество, с его властью денег и неизбежной конкуренцией. Другого общества автор не может себе представить, и это типично для нынешних американских “левых”. Я

говорил с несколькими из них, в том числе с талантливыми людьми, и все они не могли представить себе общество без денег. Между тем, как раз в идеализируемом ими племенном обществе индейцев или африканцев не было денег, и были исключены мотивы конкуренции.

Неисправимость телевидения Дж. Мандер объясняет следующим образом:

“Если вы допускаете существование рекламы, то вы принимаете систему, предназначенную для того, чтобы убеждать людей и властвовать над ними, вмешиваясь в их навыки мышления. Вы допускаете также, что такую систему будут использовать люди определённого рода, те, кто любит влиять на людей и преуспевает в этом. Тот, кто не стремится господствовать над другими, не будет заниматься рекламой, или, занявшись ею, не добьётся в этом успеха¹. Поэтому главная сущность рекламы и всех видов техники, созданных ради неё, должна соответствовать этой цели, то есть будет поддерживать в обществе подобное поведение и подгонять общественное развитие в этом направлении.

Во всех таких случаях основная форма учреждения и техники определяет их взаимодействие с миром, способ их использования, тип людей, которые их используют, и цели их использования.

Так обстоит дело с телевидением.

Телевидение вовсе не «нейтрально», оно само предопределяет людей, которые будут пользоваться им, его воздействие на отдельные человеческие жизни и, если его широкое использование продлится, политические формы, которые отсюда неизбежно возникнут”.

Во всём этом много правды, но не вся правда. Автор допускает здесь логическую ошибку: доказывая, что “техника” сама по себе не “нейтральна”, он невольно подставляет вместо самой техники сочетание “учреждение и техника”, вдруг появившееся в его рассуждении. Иначе говоря, он всё время думает не о технике как таковой (которую он, не будучи инженером, знает поверхностно), а о коммерческом использовании телевизионной техники, которое он глубоко изучил. В этом и состоит интерес его книги.

Что касается *самой* техники, то правы, конечно, его оппоненты: *техника* по своей природе нейтральна. Даже в случае атомной бомбы надо различать технику и её использование: все процедуры изготовления “атомного горючего” могут быть применены и приме-

¹Здесь Джерри Мандер, по-видимому, забывает, что сам он долго занимался рекламой и преуспел в этом деле, о чём и рассказал в начале книги.

няются для мирной цели — получения атомной энергии, и только решение собрать из этого горючего бомбу противоречит нашим ценностям. Но как раз это решение не “предопределяется” техникой, а носит политический характер: вспомним, что атомной бомбе предшествовал построенный Энрико Ферми атомный реактор, практически содержащий все элементы атомной электростанции.

И если атомная бомба должна быть навсегда изгнана из человеческого общества, вместе с породившей её фашистской угрозой, то атомная энергия, вопреки мнению Джерри Мандера и его “зелёных” единомышленников, не может быть “устранена”. Это единственный вид энергии, способный заменить сожжение углеводородных топлив — процедуру, не только уничтожающую ценнейшее и невозобновимое сырьё, но, что ещё важнее, засоряющую атмосферу *принципиально неустранимым* углекислым газом.

Напротив, атомная энергетика, при соблюдении необходимых предосторожностей, безопаснее всех других видов энергетика, что ещё предстоит объяснять современной публике. И обойтись без ядерной техники просто *невозможно*.

Точно так же, изобретённая Джозефом Джоном Томсоном катодная трубка сама по себе “нейтральна”, то есть не “предопределяет” того фатального общественного явления, которое мы называем телевидением: она применяется, например, в ряде физических приборов. Даже само телевидение, то есть устройство для приёма телевизионных программ, может быть использовано в разных целях, например, для передачи лекций на серьёзные темы и даже в некоторой степени для распространения серьёзного искусства. Лишь коммерческие применения (и, в странах с тоталитарным строем, политические расчёты) сделали телевидение тем, чем оно стало — величайшим общественным злом.

Но вернёмся к книге Дж. Мандера. Во введении к этой книге рассказывается, каким образом возникло телевидение, и какую роль оно играет в нынешнем капиталистическом хозяйстве. После второй мировой войны, снявшей на время кризисные явления в экономике Соединённых Штатов, появилась угроза нового “спада деловой активности”. В то время ещё не было ясно, что так называемая “холодная война” с Советским Союзом и сопутствующие ей “горячие” войны (Корея, Вьетнам, Афганистан) могут обеспечить военно-промышленный комплекс достаточной “работой”, и американские корпорации стремились компенсировать конверсию военной экономики, создавая у потребителей новые потребности. Как раз в этот момент и появилась телевизионная техника, как будто

идеально приспособленная для рекламы. Мы ещё займёмся дальше этой стороной дела, поскольку она приобрела решающее значение: *всё, что передаётся по телевидению, так или иначе служит рекламе* и оплачивается рекламодателем в той или иной форме.

Уже во введении Дж. Мандер обращает внимание на единственную в своём роде роль телевидения в современном мире — то, что он называет “унификацией опыта”:

“Поскольку многие из нас смешивают переживание телевидения с прямым переживанием мира, мы не замечаем, что и само переживание унифицировалось в одно и то же поведение: «смотреть телевидение». Переключаясь с одного канала на другой, полагая, что спортивная программа будет существенно иным переживанием, чем полицейская программа или новости об африканской войне, 80 миллионов зрителей, сидящих отдельно в тёмных комнатах, вовлечены в одно и то же время в одну и ту же деятельность: смотрят телевидение.

Дело обстоит так, как будто целая нация собралась в гигантский цирк с тремя аренами. Те, кто смотрит на трюки велосипедистов, полагают, что переживают нечто иное, чем те, кто смотрит на горилл или на пожирателя пламени, но все они находятся в цирке. Хуже того, поскольку мы смотрим цирк из наших отдельных комнат, это всё равно, как если бы мы сидели там в изолированных кабинах, неспособные обмениваться какими-либо реакциями на то, что мы воспринимаем вместе. Все мы втянуты в одно и то же действие, в одно и то же время, но каждый действует отдельно.

Какая странная ситуация!

Вдруг стало возможным обращаться сразу ко всей нации в 200 миллионов человек, как к отдельным личностям — к каждому человеку или каждой семье через их телевизор”.

И Джерри Мандеру, бывшему рекламному агенту, стало ясно, к чему это может привести: к тоталитарному строю, который он называет “автократией”. Предоставим ему рассказать собственными словами, как это могло бы выглядеть в Америке; читатель без труда сможет перевести его фантазию на русский политический жаргон:

“Я был потрясён этой мыслью, осознав, что все условия телевидения — замешательство, унификация, изоляция, особенно в сочетании с пассивностью и тем, что я потом узнал о воздействиях внушенных представлений — составляют идеальные предпосылки для установления автократии.

Но в ту пору, как и у большинства американцев, мои понятия о природе автократии ограничивались образцом единственного ха-

ризматического вождя. Гитлер. Сталин. Чан Кай Ши. Франко. Мао. Различия между ними стирались в представлении о сильном вожде, навязывающем свою волю, осуществляющем абсолютную власть. Это была для меня автократия. И телевидение казалось совершенным орудием, способствующим введению такого правления.

Мои опасения усилились в 1971 году, когда я сидел в моем офисе, читая утренний выпуск «Нью-Йорк Тайме», где я увидел небольшую заметку. В ней говорилось о предложении Пентагона президенту Никсону приделать к каждому телевизору в стране некоторое электронное устройство. Эти устройства, непосредственно приводимые в действие президентом, одновременно включали бы все телевизоры в стране. Конечно, предполагалось использовать их лишь в случае чрезвычайной опасности для нации. Через мой ум сразу же прошла параноидная последовательность картин:

4.00 утра. Двести миллионов человек пробуждаются от звуков национального гимна. Откуда они исходят? Что там светится? Это телевизор. На экране президент.

«Друзья американцы, я крайне сожалею, что пришлось разбудить вас, прервав ваш заслуженный отдых. Но этого требует серьёзный кризис, касающийся нас всех. Национальные агентства по охране конституционного порядка провели тщательное расследование, обнаружившее крупный заговор с целью свержения нашего демократического строя, заговор, который пользуется, по крайней мере, молчаливой поддержкой тысяч студентов, журналистов, юристов, и даже некоторых судей и выборных должностных лиц.

В качестве вашего Верховного Главнокомандующего, я приказал немедленно арестовать террористов и поддерживающих их лиц, каковы бы ни были их официальное положение и престиж.

Я применил также вытекающую из конституции власть Президента управлять в таких случаях тяжелого кризиса, не считаясь с обычными препятствиями. Я надеюсь и я уверен, что эти чрезвычайные меры для охраны нашей демократии продлятся недолго.

Благодарю вас. Желаю вам всего лучшего и доброй ночи».

Через несколько месяцев я прочел в «Таймс» продолжение этой истории: предложение Пентагона было отвергнуто. По-видимому, правительство решило, что народ может «ошибочно истолковать» намерения такого проекта».

Разумеется, такой сценарий государственного переворота и установления диктатуры соответствовал бы состоянию американского общества в шестидесятые годы и напоминает известный детективный роман «Семь дней в мае», написанный двумя журналистами

в то же время. В дальнейшем выяснилось, что подобные силовые методы уже не нужны. Джерри Мандер понял это и прибавляет к своей фантазии следующее заключение:

“Теперь я знаю, что этот мой сценарий был фантастичен и примитивен, что он основывался на моём бесхитроном представлении, будто авторитарные перевороты могут совершаться лишь путём единоличного акта или заговора. Но, каковы бы ни были намерения Пентагона и президента Никсона, подтвердившего впоследствии, что президенты могут создавать свои собственные законы, мне стало ясно, что само существование новой техники создало новую возможность.

Централизованный источник информации может обращаться ко всем в одно время дня или ночи, и это в действительности происходит. Ежедневно горстка людей говорит, а остальные слушают. Может быть, грубые и насильственные методы, ограничивающие сознание, переживание и поведение, уже отошли в прошлое. Во многих смыслах телевидение делает ненужным военный переворот и массовые аресты, возникшие в моём воображении. Теперь, когда совершается более утончённый переворот, мы начинаем осознавать, что такие действия утратили смысл.

Переворот происходит непосредственно в умах, в восприятии и в жизненных навыках отдельных людей. Техника делает это возможным, а может быть и неизбежным, притупляя в то же время любое понимание происходящего”.

“Более утончённый переворот”, о котором говорит автор, состоит в том, что *людьми стали управлять, прямо воздействуя на их подсознание*. Поскольку Джерри Мандер объясняет это лишь на ряде примеров, не пытаясь описать происходящее в общем виде, я это сделаю за него. Думаю, что моё описание правильно резюмирует изображаемые им факты, так что я не излагаю новых идей, а только реферирую его книгу, в точном смысле этого слова.

Тоталитарный способ правления (который автор называет “авторитарным”) сводится к тому, что *всех людей заставляют делать то, чего хочет некоторая власть, вместо того, чего хотели бы они сами*. Это можно делать только путём обмана: надо внушить людям, что они сами хотят того, что им навязывают. В прошлые времена в таком внушении не было необходимости, потому что “простой человек”, воспитанный в сословном обществе, с детства сознавал себя и подсознательно рассматривал себя как существо определённого вида — знал, что он крестьянин, ремесленник, буржуа или дворянин — и им можно было управлять, используя эти

“встроенные” в его психику понятия. В двадцатом веке сословные барьеры исчезли, и все люди считают себя “равными”, полагая, будто они имеют одинаковые права и возможности; эту иллюзию они называют “демократией” (а великий биолог Конрад Лоренц называет её “псевдodemократической доктриной”). Чтобы управлять такими людьми, надо внушить им, будто они сами хотят делать то, чего от них хотят. Это и есть тоталитарное правление.

Есть два способа внушать людям это ложное представление, — эти способы описал ещё в 1941 году Эрих Фромм в своей книге “Бегство от свободы”. Первый способ состоит в насильственной унификации всего, что говорят и печатают в некоторой стране, так что все люди могут слышать и читать только официальную пропаганду правящей клики (обычно именуемой “правящей партией”). Тогда люди, не способные к самостоятельной разработке идей, воспринимают эту пропаганду как нечто само собою разумеющееся, поскольку не имеют шансов познакомиться с каким-нибудь другим упорядоченным мышлением. А пропаганда настойчиво внушает людям, что её содержание — это их собственные мысли и чувства, и такое внушение, бесконечно повторяемое средствами массовой информации и агентами режима, входит в подсознание, от которого и зависит поведение людей. Так управляли гитлеровской Германией и советской Россией.

Второй способ тоталитарного правления, описанный Фроммом, это “общество массового потребления”, образцом которого (пока ещё не вполне законченным!) служат Соединённые Штаты. Целью правящих групп и в этом случае является внушение всем людям, будто они сами хотят того, чего хотят от них эти группы. При более тонкой организации “единомыслия” нет надобности изымать из обращения “инакомыслящих”, запрещать какие-либо организации или издания. Достаточно, чтобы все *массовые* средства информации находились в руках правящих групп; поскольку технические средства информации дороги, это автоматически отдаёт массовую информацию в руки *богатых*.

Таким образом, реальная власть в таких странах — это то, что уже давно называется “властью денег”. Видимость демократии поддерживается тем, что всем несогласным оставляется право выражать свои мысли в кругу своих знакомых, или в малотиражных “элитарных” изданиях. Эти “диссиденты” не имеют возможности воздействовать на широкие массы людей, так что их безобидная суета служит лишь интересам “системы”, доказывая публике “демократичность” такого правления.

В такой системе правящие группы не обязательно должны быть *во всём* согласны: они согласны в главном — в желании сохранить свои привилегии. Им не нужна “абсолютная” власть, они довольствуются своей долей власти и всеми преимуществами, какие дает “власть денег”. Такая власть давно уже получила меткое название: “власть без славы”. Частные интересы отдельных групп выражают “политические партии”, всегда согласные между собой в их главном общем интересе — в сохранении “власти денег”. В сущности, эта система власти сложилась уже в недрах “классического” капитализма, в 19-ом веке, где она была прикрыта пережитками идеологий, выработанных 18-ым веком и обозначаемых словами “монархия”, “республика”, “демократия”, “прогресс”. Все эти слова давно утратили смысл, но осталась “система” — машина, действующая по определённым правилам в интересах правящих групп, вовсе не принимая во внимание мысли, чувства и потребности всего остального населения. Чтобы это остальное население — то есть главная масса людей — соглашалась вертеться в этой машине, надо сделать так, чтобы у людей совсем не было собственных мыслей, чтобы их чувства были стандартизированы, легко предсказуемы и управляемы, а их потребности формировались самой “системой”, *превращающей людей в “потребителей”*.

Эти задачи и выполняют “средства массовой информации”, которые в условиях такого общества *вредны для человека и принципиально неисправимы*. Важнейшее из таких средств обработки людей — безусловно телевидение, поскольку оно особенно приспособлено для прямого воздействия на подсознание. Весь интерес книги Дж. Мандера как раз и состоит в описании того, как это делается.

В книге объясняется, каким образом телевидение формирует американскую политику. В прошлом публика узнавала взгляды и предложения политических деятелей по их печатным статьям, или по печатным программам их партий; всё это обсуждалось на собраниях, где присутствовали живые представители этих партий, которым можно было возражать, задавать вопросы, а если надо — свистеть и бросать в них разные неприятные предметы. Это и был “демократический процесс”, в котором сохраняло свою роль *содержание* обсуждаемых вопросов. Телевидение, “унифицирующую” роль которого Дж. Мандер образно представляет в виде “национального цирка” с отдельными кабинами для зрителей, оттесняет

содержание на задний план, выдвигая вперёд *видимость*: внешний вид и манеру поведения политического деятеля, его произношение, его шутки и остроты (конечно, заранее заготовленные штабом сотрудников, как и всё, что он говорит). Поскольку такому призрачному оратору нельзя задавать вопросы и возражать, как на общественных собраниях, и поскольку его мнение нельзя неторопливо обдумать, как при чтении книги или статьи, у слушателей вырабатывается привычка воспринимать только общую «интонацию» выступления — убедительность голоса и жестов, правдоподобие отдельных фактов, заразительность острот и насмешек. Теряется связь между частями выступления и логические умозаключения, то есть исчезает *смысл целого*, и остаются несущественные для содержания детали. Эти детали Дж. Мандер не очень удачно называет «стилем». В действительности надо было бы говорить о «приёмах» и «повадках» выступающих по телевидению политиков, потому что стиль, в серьёзном смысле этого слова, *предполагает* осмысленное содержание.

«Ричард Никсон, — рассказывает нам книга, — был, по-видимому, первым крупным общественным деятелем, глубоко понявшим телевидение». Далее описывается, как Никсон проиграл телевизионные дебаты с Кеннеди и понял, что в телевидении «видимость важнее личных качеств». Когда он снова выдвинул свою кандидатуру, он уже «пересмотрел свой образ»: это был «новый Никсон». Для читателей, не видевших фотографий этого политика, надо пояснить, что в его лице находили неприятную асимметрию, так что ему было трудно нравиться зрителям. «И хотя многие понимали, что это лишь косметические изменения, он выиграл. . . Во время своей третьей кампании Никсон появлялся только на телевидении, но никогда публично. Между тем, Макгаверн¹ допустил ошибку, попытавшись провести «содержание» через средство информации, предрасположенное этому сопротивляться. Далее рассказывается, как противники Никсона, в свою очередь, использовали телевидение, чтобы опорочить его в Уотергейтском скандале; как пользовался телевидением Линдон Джонсон, создавший с его помощью вымышленную историю «тонкинского эпизода» для поддержки войны во Вьетнаме; как использовал свою внешность и голос киноактера «жалкий» Рейган (в книге он описывается трудно переводимым словом *underdog*, буквально означающим «последняя собака»); как создавал свой «телевизионный образ» не менее жалкий Картер. Поскольку эта коме-

¹Его соперник.

дия продолжается и по сей день, а наши малограмотные политики пытаются ей подражать, вряд ли стоит дальше рассказывать, как делают политику без содержания, рассчитывая на телевидение, где все делает “стиль”.

“Четыре аргумента против телевидения”, которые приводит Джерри Мандер, касаются отдельных сторон этого “средства массовой информации”, вряд ли достаточно известных непосвященной публике. Об этих аргументах мы сейчас расскажем.

Первый аргумент — это: “Опосредование переживания” (*The Mediation of Experience*). Ему предшествует авторское резюме:

“Все люди живут теперь в совершенно искусственной среде; у нас отнято прямое знание о планете, где мы живём. Оторванные от неё, как парящие в пространстве космонавты, мы не способны отличить верх от низа, истину от вымысла. Эти условия способствуют вторжению искусственных реальностей. Одним из последних примеров этого является телевидение, поскольку оно значительно ускоряет этот процесс”.

Автор начинает с того, что высмеивает нашу неспособность к самостоятельному суждению, вынуждающую нас в самых очевидных вещах полагаться на “научных специалистов”:

“В течение шести месяцев 1973 года газета “Нью-Йорк Таймс” сообщила о следующих научных открытиях:

«Крупный исследовательский институт, затратив более 50000 долларов, обнаружил, что лучшей приманкой для мышей является сыр.

Во втором исследовании было установлено, что материнское молоко представляет более уравновешенную диету для младенцев, чем коммерческие смеси. Это исследование показало также, что для детей материнское молоко полезнее, чем коровье или козье.

Третье исследование привело к выводу, что прогулки значительно полезнее для дыхания и для кровообращения человека, и вообще для его здоровья и жизнеспособности, чем езда в машине. Оказалось также, что полезнее езда на велосипеде.

Четвертый проект показал, что свежий апельсиновый сок имеет большую питательную ценность, чем консервированный или замороженный.

Пятое исследование окончательно доказало, что из младенцев, к которым прикасаются, вырастают люди, более уверенные в себе и более способные общаться с другими, чем из тех, к которым не

прикасаются»¹⁷.

Конечно, этот список научных исследований выбран нарочито, так как в той же газете можно найти гораздо больше не столь банально звучащих открытий. Но, несомненно, современный человек нуждается в напоминании об этих очевидных вещах, так как его обманывает реклама. Как раз в приведённых выше случаях ученые — настоящие или мнимые — говорят полезные вещи. Но часто бывает иначе. Кроме того, сплошь и рядом разные учёные приходят к противоположным результатам, особенно в сложных вопросах медицины и общественной жизни. Телевидение сразу же подхватывает любую непроверенную публикацию и представляет её в категорической форме, свойственной этому роду информации, где на каждое сообщение отводятся считанные секунды, а корреспонденты и комментаторы склонны отбрасывать все ограничения и оговорки учёных. В том же разделе Дж. Мандер приводит список телевизионных сообщений, взятых *подряд* и дающих наивным и доверчивым зрителям любопытную картину мира:

“Материнское молоко не удовлетворяет санитарным требованиям. Мыши любят сыр. На Марсе есть жизнь. Техника вылечит рак. Звёзды на нас не действуют. Ядерная энергия безопасна. Ядерная энергия небезопасна. На Марсе нет жизни. Пищевые красители не опасны. Сахарин не опасен. Техника вызывает рак. Колумб доказал, что мир круглый. Немножко рентгеновских лучей не причиняет вреда. Война во Вьетнаме не была гражданской войной. Предстоит эпидемия «свиного» гриппа. Материнское молоко полезно для здоровья. Техника справится с загрязнением природы. Презервативы не вызывают рака. Намечается экономический рост. Красные пищевые красители небезопасны. Вакцина от «свиного» гриппа безопасна. Война во Вьетнаме была гражданской войной. Иерархия — естественное явление. Человек — царь природы. Сахарин небезопасен. Вакцина от «свиного» гриппа вызывает паралич. У нас самый высокий уровень жизни. Гормоны в говядине вызывают рак. Детям полезно, когда к ним прикасаются. Чрезмерное солнечное облучение вызывает рак”.

Весь этот хаос информации, обрушивающийся на телевизионного зрителя (то есть почти на любого человека, потому что очень немногие могут позволить себе не смотреть телевидение), мотивируется “беспристрастностью” информации: корреспонденты и комментаторы просто пересказывают то, что слышали от “специалистов”, предоставляя зрителю делать собственные выводы. На первый взгляд это кажется объективным и демократическим процес-

сом. Но зритель не в состоянии судить почти ни о чём, что он слышит, и если “новости” противоречат друг другу, попросту перестаёт принимать что-нибудь всерьёз. Хаос сообщений приводит к хаосу в голове, и воспитанному таким образом зрителю можно уже внушить что угодно: его критическое чувство подавлено. Конечно, для этого нужно обрабатывать его уже не краткими “новостями” а “солидными” длинными речами. Вряд ли надо прибавлять, что содержание этих речей уже не контролируется обленевшимся зрителем, а действует на него лишь внешний вид говорящего и его манера изложения.

При этих условиях можно управлять обществом через телевидение, и притом в двух вариантах, о которых уже была речь. Первый вариант изображён в антиутопии Орвелла “1984”, где в каждой квартире, как помнит читатель, по закону должен быть “телевизор”, включенный 24 часа в сутки. Этот “телевизор” работает в двух направлениях, не только доставляя зрителю всю дозволенную ему информацию, но и наблюдая и подслушивая всё происходящее в квартире. Дж. Мандер ссылается на Орвелла лишь по поводу первой функции, не упоминая о шпионском назначении “телевизоров” — может быть, потому, что Орвелл не мог предвидеть в конце сороковых годов, что подобная глобальная слежка технически неосуществима (самое большее, можно запугивать людей, внушая им, что за *всеми* следят). Но телевизор, как средство дурачить людей и управлять ими, Орвелл предсказал безошибочно. Как читатель помнит (и как напоминает ему автор книги), в мире Орвелла история и сама действительность конструировались каждый день заново “Министерством Правды”, по указаниям властителей этого мира. Так было в нашей стране, послужившей Орвеллу образцом для его антиутопии; Дж. Мандер напоминает, что именно телевидение создало Большого Брата — у Орвелла, но не в России, где он появился и без того. У Орвелла, более того, Большой Брат бессмертен, что для телевидения не представляет затруднений. Достаточно, чтобы диктатор был недосягаем для простых смертных и никогда не показывался иностранцам, и он вообще никогда не умрёт: зрителю телевидения это можно, вероятно, внушить, но Сталин умер слишком рано, когда это “средство” ещё не вошло в обиход.

Другой способ конструирования реальности, — говорит Мандер, — изображён в романе Хаксли “Прекрасный Новый Мир”, соответствующем второму варианту из книги Фромма, “обществу массового потребления”. “Сома”, избавляющая этот мир от страданий, аналогична наркотикам и психолептическим таблеткам, уже неизбежным

в современной цивилизации. Самым опасным из этих наркотиков, несомненно, является телевидение: к нему вырабатывается почти непреодолимое привыкание, и оно выполняет ту же “выключающую” из жизни роль. Но “сома” безопасна для здоровья, а реальные “выключающие” средства, от опиума до телевидения, быстро или медленно убивают.

Наконец, дальнейшее совершенствование “телевизионной среды” может привести к полной дезориентации человека, что изображается в ряде фантастических романов — лучше всего в романе Бредбери “451 градус по Фаренгейту”. Но Дж. Мандер ссылается на самый фантастический из них — роман С. Лема “Солярис” (известный ему, по-видимому, только по советскому фильму). Как помнит читатель Лема, у него изображается механизм, способный производить копии людей по их отпечаткам в человеческом мозгу и предъявлять такие копии “хранителю” этих отпечатков, например, воскрешать мёртвых, если о них осталось достаточно воспоминаний. Учёные, оказавшиеся вблизи этого механизма (размерами в планету), окончательно запутываются, потому что не способны более отличить реальность от собственных фантазий, разработанных чудовищным “телевизором” и вторгающихся в их жизнь помимо их воли. “Научная фантастика”, ведущая своего читателя из реального мира нашей планеты в механическое безумие, неизменно использует телевизор. Но, конечно, не обязательно представлять себе этот реальный мир как мир дикаря. Всё дело в том, будем ли мы приспосабливать технику к человеку, или человека к ней. Как мне кажется, Дж. Мандер не верит, что технику можно обуздать, но боится открыто сознаться в своём неверии. Я думаю, обуздать технику возможно, но не в обществе, поклоняющемся деньгам.

Второй аргумент Дж. Мандера носит название “Колонизация переживания”. Вот его авторское резюме:

“Не случайно, что телевидением управляет горсть могущественных корпораций. Не случайно также, что телевидение было использовано, чтобы переделать человеческие существа в новую форму, подходящую к искусственной, коммерческой среде. Совместное действие технических и экономических факторов сделало это неизбежным, и продолжает делать неизбежным”.

Автор начинает с того, что отмежевывается от представления о “заговоре”: вред от телевидения произошёл не вследствие сговора

заинтересованных лиц или групп, а предопределён самим характером этого технического средства. Как уже говорилось, это верно лишь в том смысле, что коммерческая эксплуатация телевидения не могла привести ни к каким другим результатам. Дальше автор рассуждает о “ценностях” капиталистического общества, для которого столь многие важные вещи “непродуктивны”: необитаемая пустыня, невырубленный лес, необработанная земля, дикие животные, и даже уголь и нефть, пока они остаются в земле. Эта часть его рассуждений не нова и не очень интересна, поскольку единственная альтернатива, какую он может противопоставить такому обществу — это “зелёная” идиллия дикого племени, куда неудержимо клонятся его симпатии, и где он, американский буржуа, не выдержал бы и двух дней.

Гораздо интереснее здесь описание роста телевизионной рекламы:

“Помните ли вы телевизионную рекламу сороковых и пятидесятих годов? Улыбающихся, счастливых людей. Вылощенных детей. Хозяек, показывающих своё немислимо чистое бельё. Их улыбающихся мужей, младших служащих, выходящих из своих новых автомобилей, встречаемых у изгороди своего участка их чистыми, весёлыми семьями? Счастливую стрижку газонов? Счастливые лица, отражаемые полированными тостерами?”

Круг семьи стали идеализировать больше, чем когда-либо ранее, поскольку семья была идеальной ячейкой потребления. Женщинам пришлось уйти из всех этих фабрик, снять комбинезоны и снова надеть розовые кухонные переднички. Все возвращающиеся солдаты нуждались в работе. Отдельные семейные ячейки поднимали до предела производственные мощности. Частные дома. Частные автомобили. Два автомобиля. Частные стиральные машины. Частные телевизоры. В несколько лет мир переменялся. Машинка для стрижки газонов с электрической батареей, которую я увидел по телевидению, через неделю появилась на моей лужайке. И автомобиль тоже. Вся окрестность приняла вид телерекламы. Леса вокруг моего дома исчезли — их сменили сотни точных копий моего дома. Все окрестности стали похожи друг на друга. Сельские дороги сменились автострадами. Базары сменились торговыми центрами. Всё вокруг покрылось асфальтом.

В рекламе, как и в речах президента, повторялись слова «процветание», «уверенность» и «счастье». Этот невероятный поток товаров, это полное изменение пейзажей, это переполнение домов всякими безделушками рассматривались как нечто вроде наступившей

нирваны. Все только и думали, только и говорили об этом. Это было то, что делало Америку Америкой”.

Всё это послевоенное “процветание” обосновывалось даже чем-то вроде теории: “теории просачивания благ сверху вниз”, что по-американски звучит *the trickle-down theory*:

“Это происходит примерно так: Промышленная экспансия, быстрый экономический рост и экономика потребления благотворны для всех. Теория состоит в том, что если люди покупают всё больше и больше товаров, то они доставляют промышленности всё больше и больше доходов, что позволяет ей расширяться, а от этого возникает больше рабочих мест. Это вводит в обращение больше денег, что позволяет людям покупать больше товаров, опять увеличивает доходы, доставляет больше капиталовложений, больше рабочих мест, и затем начинается новый цикл”.

Такая модель получила своё название от того, что она предполагает “просачивание” доходов сверху вниз, вплоть до самого дна общественной пирамиды. Что же происходило в действительности?

“В период быстрого роста, с 1946 до 1970 года, совпавший с появлением телевидения и электронной рекламы, богатство и власть в стране концентрировались в неслыханной степени. Это отдало эффективную власть над экономикой в руки немногих корпораций”.

Дальше Дж. Мандер обосновывает предыдущее утверждение данными, которые можно найти во всех справочниках, и которые теперь очень устарели. Например, он цитирует экономиста Тероу:

“Верхние 5 процентов семей владеют большим богатством, чем нижние 81 процент. Верхние 0,008 процента имеют столько же активов, сколько нижняя половина населения”.

И, наконец, такое положение вещей определяет, от кого зависит телевидение:

“Преимущества масштабов нигде так не очевидны, как в рекламе. Только величайшие в мире корпорации имеют доступ ко времени в телевизионных сетях, потому что реклама достигает там 30 миллионов человек и стоит 120000 долларов за 1 минуту”.

Чем шире круг людей, которым адресована передача, тем дороже время. Вряд ли можно сомневаться, что всё американское телевидение — во всяком случае, *все компании, контролирующее большие сети — зависят от рекламы*. Но Дж. Мандер не приводит точных данных на этот счёт: вероятно, хозяева телевидения предпочитают не публиковать свой бюджет. Если принять подчёркнутое выше предположение, то всё остальное содержание телевизионных передач — кроме рекламы — представляет собой всего лишь “напол-

нитель”, имеющий целью удержать зрителей у экрана, чтобы сбыть им действительно важную часть телевизионной программы — оплаченную корпорациями рекламу товаров. Дж. Мандер уверен, что дело обстоит именно так. Таким образом, по мнению автора книги, главное назначение телевидения состоит в поддержке описанной выше экономики расширяющихся циклов производства путём непрерывного создания новых потребностей, для чего и нужна всё время обновляющаяся, непрерывная реклама. Ясно, что телевизор, у которого — напомним — средний американец просиживает четыре часа в день, представляет собой незаменимое орудие рекламы и, тем самым, движущую силу описанной выше “деловой экспансии”.

Естественно, возникает вопрос, как долго могут расширяться такие циклы производства. Дж. Мандер присоединяется к мнению многих экономистов, полагающих, что этому процессу приходит конец. Мировые ресурсы ограничены. Американцы используют непропорционально большую долю этих ресурсов — около 30 процентов. Высокое потребление на душу населения в Соединённых Штатах вовсе не означает, что американцы умеют работать лучше других наций, а отражает лишь особое положение Соединённых Штатов на мировом рынке — и в мировой политической системе. Было бы странно, если бы это особое положение длилось неограниченно долго, и по всем признакам прогноз Дж. Мандера уже подтверждается. Японские корпорации уже достаточно богаты, чтобы оплачивать телевизионное время в Америке, а патриотизм рядовых американцев не мешает им ценить японские автомобили, телевизоры и многое другое. Трудно сказать, когда *совсем* изживёт себя “теория просачивания вниз”, но складывается впечатление, что в оптимистическом тоне американской телевизионной рекламы есть нечто мертвенное, механически повторяющее одни и те же трюки и эффекты. Впрочем, всё это можно увидеть и по нашему телевидению, которое подражает теперь американскому во всех мелочах.

Третий аргумент Джерри Мандера — “Воздействие телевидения на человека”. Приведём его авторское резюме:

“Телевизионная техника вызывает в людях, смотрящих телевидение, нейрофизиологические реакции. Она может вызывать болезни. Она несомненно производит замешательство и подчинение внешней системе образов”.

Как мне кажется, этот аргумент у автора слабее двух предыду-

щих, но не потому, что он не прав, а потому, что не умеет убедительно доказать свои утверждения.

О вредном действии телевидения на здоровье зрителя, и в особенности на его психику, говорят уже в течение полувека. Естественно, этот вопрос был предметом официальных расследований, для чего назначались специальные комиссии. Но их многотомные отчеты, по-видимому, не содержат достаточно определённых выводов; во всяком случае, Дж. Мандер цитирует из них только общие места, а более конкретную информацию он пытался получить, расспрашивая отдельных медиков, или извлекая её из иностранных работ.

Вряд ли такое положение дел случайно. В Соединённых Штатах все расследования, касающиеся важных денежных интересов, приводили, как правило, лишь к объемистым отчётам, где сложное переплетение доводов “за” и “против” никогда не порождало решительных выводов. Можно думать, что американцы слишком уважают власть денег, чтобы посягнуть на целую отрасль индустрии, какой давно уже стало телевидение. Но в этом случае можно заподозрить ещё и другой мотив: здесь дело касается привычки, жертвами которой, скорее всего, являются и сами авторы отчётов, и которая уже по этой причине бессознательно рассматривается как “невинная”. Телевидение, так же как потребление алкоголя и курение, — это вид наркотизации, общепринятый и поэтому вполне “респектабельный”, в отличие от употребления обычных наркотических средств (*drugs*). По-видимому, особую опасность телевидения трудно осознавать людям, привыкшим к нему с детства и вспоминающим, как их отцы нарушали “сухой закон”.

Между тем, даже телевизионное излучение с медицинской стороны не изучено. Дж. Мандер не приводит данных о спектральном составе этого излучения, но ссылается на опыты над мышами, у которых флуоресцентное излучение вызывало рак. Вероятно, он не знает о более старых американских опытах над крысами, которых несколько часов в день подвергали обычному излучению от телевизора, причём для исключения других факторов экран закрывали чёрной бумагой и выключали звук. Крысы умирали через три месяца. Так как действие излучения обратно пропорционально весу тела, телевидение, может быть, не столь опасно для наших детей, которые всё-таки значительно тяжелее крыс. Хотелось бы, наконец, узнать, из чего состоит излучение телеэкрана, и как оно действует на человека.

Врачи больше занимались вредным влиянием телевидения на

глаза, на костную систему, кровообращение и обмен веществ. Но большинство их выводов может быть обращено также и против неумеренного чтения, не говоря уже о том, что весь современный городской быт не способствует подвижному образу жизни.

Телевидение оказывает весьма специфическое воздействие на образный мир человека, отучая его от прямого восприятия действительности и навязывая ему “искусственные реальности”, о чём уже была речь. Но это воздействие мало изучено психологами, и Мандер вынужден ссылаться на проведённые им самим опросы телезрителей. В частности, многие из них жалуются на “гипноз”. Верно ли, что телевидение производит гипнотическое действие, и если верно, то каковы могут быть последствия хаотической гипнотизации в течение нескольких часов в день?

Действие телевидения на человека надо, наконец, изучить!

Наконец, четвертый аргумент Дж. Мандера носит название “Установки, внутренне присущие телевидению”. Он утверждает в своем резюме, что, “наряду с корыстным поведением хозяев, техника телевидения предопределяет его границы и его содержание”. Я уже объяснил выше, почему я не согласен с этим утверждением и присоединяюсь к мнению тех, кто считает технику как таковую “нейтральной” и возлагает всю ответственность за телевидение на использующих его людей. Впрочем, в этой главе содержатся очень интересные наблюдения над технической стороной телевидения, и самое замечательное из них я здесь приведу.

Дж. Мандер полагает, что телевизор, не позволяющий прервать передачу и снова вернуться к ней, по самому своему существу представляет монотонное и скучное зрелище. Поэтому внимание зрителя можно удержать лишь искусственными мерами, к которым относятся, прежде всего, известные “кинематографические” приемы (крупный план, “наплыв”, вид сверху, резкие переходы и чередование сюжетов). Но и этого недостаточно, потому что, по мнению автора, телевидение мало приспособлено к передаче утонченных чувств и “конструктивного” поведения; всё это хорошо получается в романе, а на экране телевизора выходит скучно. Телевидение, — говорит он, — приспособлено для передачи грубых и разрушительных сюжетов, прежде всего — примитивного секса и насилия, что и может наблюдать каждый, имеющий у себя такой аппарат.

Я с этим мнением не могу согласиться, и всё специальное знание Джерри Мандера не убедит меня переложить даже часть от-

ветственности на злополучный ящик (технические характеристики которого, несомненно, можно улучшить). Почти всё, что автор говорит о телевидении, распространяется на кино, лучшие образцы которого достигают уровня искусства. То же верно в отношении некоторых телевизионных передач, виденных мною в России.

Как и другие опасные общественные явления, телевидение должно быть поставлено под *общественный контроль*. Такой контроль, в той или иной мере применяемый на практике во всех цивилизованных странах и часто предусматриваемый законом, должен предотвращать такие злоупотребления, как призывы к насилию, пропаганду расовой и национальной ненависти, порнографию и популяризацию преступлений. Этот контроль не должен посягать на свободу выражения мнений и свободу творчества, но должен решительнее, чем это делается сейчас, пресекать “культ насилия” и развращение детей. Его следует поручать не чиновникам, а выбранным для этой цели деятелям культуры.

Ясно, что такие ограничения не влекут за собой тех последствий, которые вызывает *цензура*, всегда осуществляющая *политику* господствующих групп. Они охраняют самое существование цивилизованного общества, и тем самым стоят вне политики.

Но здесь тотчас же возникает вопрос о демократии. Ведь если большая часть публики не согласится с таким контролем, то демократический строй, по-видимому, не позволит его ввести; а суждения публики определяются её воспитанием, в частности, скверным воспитанием, происходящим от самого телевидения. Надо ли *воспитывать* зрителей? Каким образом это делать, и кто должен этим заниматься?

Если демократия не должна погибнуть, зрителей надо воспитывать. Ведь зрители — их вкусы и привычки — в значительной степени ответственны за содержание телевидения, которое губит демократию. Но как их воспитывать, если они этого не хотят, и проголосят против всяких попыток навязать им какое-либо воспитание?

Перед нами парадокс демократии, далеко выходящий за пределы нашей темы. Мы надеемся к нему вернуться в более общем обсуждении самого *понятия демократии*.

Такой физики нет¹

Представление о том, что учение должно быть лёгким и приятным делом, по возможности близким к игре, созвучно нашей эпохе, когда люди, уклоняясь от серьёзного труда, ищут какие-нибудь простые способы решения проблемы. Маги и волшебники, всегда предлагавшие публике свои услуги, теперь особенно популярны, как вы можете сами убедиться, взглянув на книжные лотки. Удивительнее всего, что предметом торговли оказываются самые сокровенные тайны: тайны индийских мудрецов, тибетских махатм, всевозможных колдунов и шаманов, предназначенные для немногих посвящённых. Самое представление о “тайнах”, казалось бы, исключает возможность их коммерческой эксплуатации. Поскольку такая литература, всегда предлагавшаяся на зарубежных книжных рынках, у нас была раньше запрещена, может создаться впечатление, будто мы присутствуем при драматическом разглашении сокровенной мудрости, доступной теперь всем желающим. Если верить словам, напечатанным на глянцевых обложках, каждый может теперь стать магом и волшебником: надо только знать, какого рода книжку купить для решения беспокоящей вас проблемы.

Преподавание всегда было трудным делом, а преподавание физики — в особенности. Всякий, кто знаком с этой наукой, согласится с тем, что используемые в наших школах учебники физики никуда не годятся. То, что в них написано, не всегда верно, а если верно, то нагромождено таким образом, что разгадать намерения автора может лишь читатель, заранее знающий обсуждаемый предмет. Я имел случай убедиться, что делают с таким учебником учителя: его попросту заставляют заучивать наизусть. Такое положение с учебниками не трудно понять, вспомнив, от кого зависит их выбор. Но от этого не легче, и можно понять, что люди отчаиваются, ищут какие-нибудь лёгкие пути и находят магические способы, позволяющие все эти трудности обойти.

К числу таких отчаявшихся, по-видимому, принадлежит Владимир Константинович Загвоздкин, предлагающий нам учиться физике... у антропософов. Как мы узнаём из его статьи, опубликованной

¹Впервые статья опубликована в “Новом педагогическом журнале” №3 за 1996 год в ответ на статью В. К. Загвоздкина “Преподавание физики по феноменологическому методу”, напечатанную в том же журнале (№1, 1996). — *Прим. ред.*

в первом номере “Нового педагогического журнала”, этот автор возложил свои надежды на особую систему обучения, которую придумал изобретатель антропософии Рудольф Штейнер. В разных странах существуют основанные им “вальдорфские школы”, где учиться приятно и легко. Не удивительно, что эти школы пользуются успехом и что родители охотно отдают в них своих детей. Оставляя в стороне вопрос, следует ли отдавать школьное образование в руки религиозных сект, можно спросить себя, какую физику преподают в этих школах. К сожалению, автор рассматриваемой статьи говорит об этом очень мало. Нам сообщают только, что Штейнер открыл некие “живые понятия”, по-видимому, позволяющие обойтись без точных определений и формул. Единственное место, где о преподавании физики говорится сколько-нибудь конкретно, сводится к следующему:

“На первом уроке химии (почему не физики? — А.Ф.) ученики разжигают огонь. Они видят, что разные предметы горят по-разному. Горение угля — «землистое», а спирта — «водянистое». Есть даже «огненное» горение — так горят смола и керосин”.

Если это наука, то применяемые здесь термины скорее принадлежат не нашей эпохе, а средневековью (в которое каким-то образом затесался “керосин”). Конечно, все науки начинались с подобных наблюдений и описаний, но теперь невозможно начинать с них обучение детей: их жизненный опыт содержит уже массу вещей и явлений, которые в этих терминах никак невозможно понять. Заметим, что совершенно невозможно, ввиду ограниченности нашей жизни, провести детей через всю историю науки, с её окольными путями и заблуждениями. Даже обучение сапожному ремеслу предполагает, что шило и дратва уже изобретены. Единственное место, где автор пытается предложить нечто определённое, написано, как видите, не на языке физики или химии, а на языке алхимиков. Всё остальное в его статье сводится к ссылкам на авторитеты — вопреки объявленному в начале номера перечню, “чего в журнале не должно быть”.

Главный авторитет для автора статьи — Штейнер. Я не сомневаюсь, что он читал сочинения Штейнера, главные из которых носят названия:

“Теософия, введение в познание сверхчувственного мира”;

“Космическая мысль”;

“Христианский эзотеризм”;

“Библейские типы книги Бытия”;

“Воздействие Христа и сознание собственного я”;

и, наконец, “Духовные основы образования”.

Не знаю, физик ли В. К. Загвоздкин, но любого знакомого мне физика такой список привёл бы в замешательство: он заподозрил бы, что всё это не по его части. Мне довелось познакомиться с работами Штейнера благодаря случайному обстоятельству. В библиотеке моего друга, собранной в Соединённых Штатах, я обнаружил пачку его книг на немецком языке, напечатанных главным образом готическим шрифтом. От них пахло плесенью, и стиль их был столь же средневековым, как способ печати, сохранившийся в Германии до наших дней; они, казалось, нашли бы своё место в кабинете доктора Фауста. У Штейнера можно было прочесть обо всём на свете, и кое-что о физике тоже. У меня сложилось убеждение, что физики Штейнер не понимал, хотя и учился одно время в технической школе. Он философствовал понемногу обо всём, рассчитывая, по видимому, на читателя с “гуманитарными” склонностями, избегающего языка формул. Целью его было создание религиозной секты — “антропософия” означает “человекомудрие”. В этом он преуспел: после него остались издательства, школы и, несомненно, денежные средства, без которых в наше время никто не пророк, ни в своем отечестве, ни в чужом.

Мне это не нравилось, и можно спросить, почему я всё это читал. Я занимался математикой и теоретической физикой, но всегда был равнодушен к курьёзным общественным явлениям, окружающим нас со всех сторон. В данном случае передо мной был прямо-таки невероятный анахронизм, который невозможно было пропустить. “Землистое” и “водянистое” в рассматриваемой статье — просто очаровательные прилагательные, и я подозреваю, что автор, о котором я пишу, разделяет мой вкус к анахронизмам. Но Штейнер — не главный его авторитет. За Штейнером возвышается фигура Гёте, который был кумиром знаменитого антропософа. Гёте, как нам сообщает В. К. Загвоздкин, стремился к “живым понятиям, благодаря которым дух каждого отдельного человека обобщает данные созерцания в соответствии с собственным индивидуальным своеобразием”. В этих понятиях, говорит нам автор статьи, Штейнер видит “необходимый противовес по отношению к «мёртвым» мыслительным формам, которые со времени Фрэнсиса Бэкона и Декарта через науку Нового времени оказывают глубокое влияние на всю систему образования”.

Поскольку сам Штейнер не говорит о физике ничего вразумительного, а в рассматриваемой статье мы находим только отсылки к авторитетам, то вполне законно обратиться к главному из этих авторитетов, великому поэту Гёте. Только у Гёте можем мы узнать,

что, собственно, представляют собой эти “живые” понятия, которые должны заменить “мертвые” понятия современной физики — заменить не только в преподавании, но, конечно, и в самой науке, потому что именно этого хотел Гёте.

Решительность, с которой автор интересующей нас статьи рекомендует нам точку зрения Гёте, не оставляет сомнения в том, что он хорошо знает, о чём говорит; но читатели журнала могут этого не знать. В самом деле, читатели представляют себе Гёте как автора “Фауста” и других бессмертных произведений в стихах и в прозе; но не все знают, что Гёте был ещё и учёный. Ему принадлежат выдающиеся открытия в ботанике и зоологии: он был искусный наблюдатель, умевший проследить тонкие сходства и различия живых организмов. Но главным делом своей жизни Гёте считал опровержение оптики Ньютона и прежде всего открытого Ньютоном спектрального разложения солнечного света. Рассуждения об оптике занимают два тома полного собрания его сочинений, и сам он ценил эти работы гораздо выше всех своих литературных произведений; на современном языке мы сказали бы, что Гёте считал себя физиком, в свободное время занимавшимся литературой, биологией или государственной службой.

В чём же состояла физика Гёте? К несчастью, это было нечто вовсе не похожее на физику в обычном уже в то время смысле этого слова, потому что Гёте отвергал количественное описание природы и экспериментальный метод её исследования. Он не знал — и не хотел знать — математики и искренне негодовал, что эту науку применяют в физике; Ньютона он презирал ещё и потому, что тот был математик. Но больше всего Гёте осуждал эксперимент. Он объяснил в прекрасных стихах, что природу можно познать только непосредственным чувственным восприятием, но ни в коем случае не с помощью приборов, потому что в экспериментальном устройстве природа говорит неправду, как человек на пытке. Солнечный спектр, видимый через призму, Гёте считал ложным эффектом; а истинной природой солнечного света он считал то, что видит в нём простой глаз.

Поскольку механику Ньютона Гёте также отбрасывал, полагая, что любое применение математики в физике неправомерно, мы приходим к выводу, что “живые” понятия о природе имели мало общего с наукой, которую мы называли физикой. Более того, приведённое выше описание этих “живых” понятий во всяком случае не оставляет сомнений в том, что они должны быть субъективны. Думаю, что физика, зависящая от субъективных переживаний каждого от-

дельного человека, вряд ли вообще заслуживает названия науки. А поскольку нам говорят, что в “мёртвых” понятиях заблудились уже Бэкон и Декарт, жившие в самом начале Нового времени, то от физики в обычном смысле ничего не остаётся. Ни Штейнер, ни, тем более, В. К. Загвоздкин не предлагают нам, чем её заменить. Они этого, конечно, не знают.

Но ещё Спиноза, любимый учитель Гёте, сказал, что неведение не является аргументом. Те, кто ссылаются на Гёте в понимании физики, пытаются вернуть нас к временам, когда физики не было и без неё можно было обойтись. Те, кто хочет чем-то заменить физику Бэкона, Декарта и Ньютона — то есть экспериментальный метод, индукцию и математический расчёт, — право же, берут на себя непосильный труд.

Надо к этому прибавить, что для тех, кто знает и любит физику, она всегда остаётся живой. Преподавать физику трудно. Но надо преподавать ту физику, которая есть.

Об учебнике геометрии А. П. Киселёва¹

Учебник геометрии А. П. Киселёва, вышедший первым изданием в 1893 году и служивший долгие десятилетия нашей школе, много раз переиздавался, после 1931 года — с изменениями, безусловно не улучшившими его (в частности, были устранены самые трудные задачи). В 1980 году был переиздан подлинный авторский текст в качестве “книги для учителей”, причём в предисловии можно было прочесть, что “содержание книг А. П. Киселёва можно считать в какой-то мере устаревшим”, поскольку “со времени выхода первых учебников А. П. Киселёва и математика и школьное образование далеко шагнули вперёд”.²

Можно сомневаться, шагнуло ли вперед школьное образование за сто лет, прошедших со времени создания этого учебника; во всяком случае, в нашей стране дело обстояло как раз наоборот. Но, конечно, невозможно отрицать значительное развитие математики за это время, не столь зависевшее от наших отечественных условий. Возникает вопрос, устарел ли учебник Киселёва и есть ли у нас лучшие учебники, способные его заменить.

Теперь принято думать, что всё новое лучше старого, и даже если мода возвращает нам что-нибудь из забытого прошлого, то непременно в карикатурном виде. Во всяком случае, мы не сомневаемся, что в науках “далеко шагнули вперед” по сравнению с предками, и поэтому науки надо изучать в самом современном виде, а следовательно по новейшим учебникам.

Есть две причины, по которым это мнение можно оспаривать, по крайней мере в отношении геометрии. Первая причина состоит в том, что содержание школьного курса в некоторых важных случаях не так уж зависит от новейших достижений науки. Геометрия пришла к нам из классической древности, и всё, чему учат в курсе элементарной геометрии, по существу было уже известно во времена Евклида; необходимые уточнения, например, касающиеся предельных переходов, также были хорошо известны сто лет назад. Дело обстоит здесь точно так же, как с учебниками истории, повествующими о давно прошедших не подлежащих пересмотру событиях:

¹Статья написана в 1997 для “Нового педагогического журнала” (1997, №4). — *Прим. ред.*

²Несколько лет назад был переиздан и тот вариант “Геометрии А. П. Киселёва, который использовался в советской школе с 30-х по 60-е годы”.

новшества, вносимые в их изложение, не обязательно свидетельствуют о лучшем понимании этих событий, и очень редко — о лучшем мастерстве преподавания. Это сравнение не так уж искусственно, как можно подумать, потому что математика во многом родственна гуманитарным наукам.

Традиция преподавания геометрии, идущая от “Начал” Евклида, самая древняя из всех: ей больше двух тысяч лет. Элементарная геометрия возникла как синтетическая наука, основанная на непосредственном восприятии геометрических фигур и не прибегавшая к вычислениям. Она всегда служила первым образцом точной науки, наиболее доступным детскому уму; при изучении геометрии у детей вырабатывались навыки логического рассуждения, и они находили в ней то особое эстетическое удовлетворение, которое вызывает познание научной истины. Более двух тысяч лет “Начала” Евклида были для людей образцом науки и доказательством возможности достоверного знания.

Сам Евклид вовсе не имел в виду написать учебник геометрии для начинающих. Он создал систематический трактат для учёных, преследовавший цель строгого логического обоснования геометрии. Но в средние века его “Начала” использовались в качестве учебника.

Начиная с XVIII века, когда понадобилось преподавать математику более широкому кругу учащихся, трудную книгу Евклида начали сменять более доступные учебники, заимствовавшие из “Начал” своё основное содержание; но в них применялись также неизвестные древним методы алгебры. Эти учебники совершенствовались в течение двух столетий на практике школьного преподавания, и попутно вырабатывалась особая культура решения геометрических задач, незаменимая в воспитании детского ума. Все учёные, создавшие современную науку, прошли эту подготовку, недаром на фронте академии Платона красовался девиз: “Да не войдёт сюда не знающий геометрии”.

А. П. Киселёв был достойным продолжателем этой традиции. Он был опытный учитель средней школы, проверявший свои педагогические замыслы на практике преподавания; в этом смысле его учебник вышел из школы — если можно так выразиться, появился “снизу”, а не был “спущен сверху”, как нынешние учебники, навязанные школе бюрократическим путём. К тому же в гимназиях и реальных училищах не было ничего подобного обязательным “стабильным учебникам”, и выбор способов преподавания был свободен. Таким образом, учебники Киселёва были обязаны своим ши-

роким распространением не воле начальства, а своим внутренним достоинствам.

Вторая причина, по которой нельзя предпочесть новые учебники старому учебнику Киселёва, состоит в том, что эти новые учебники крайне неудовлетворительны. Используемый теперь учебник А. В. Погорелова написан весьма небрежно, плохо продуман и не прошёл серьёзной проверки в школьной практике. Например, определение треугольника и доказательства признаков равенства треугольников в этом учебнике создают логическую ловушку, из которой учащийся вряд ли сумеет выбраться¹. А. В. Погорелов как будто не принимает во внимание древнее правило педагогики, предписывающее не накапливать трудности, а по возможности разъединять их. Трудно понять, зачем уже в седьмом классе он вводит координаты и составляет уравнения окружности и прямой, а в восьмом неожиданно появляются векторы. В десятом же классе объём шара вычисляется с помощью интегрального исчисления, что, разумеется, очень просто для того, кто уже владеет основами анализа. Но поскольку формулы интегрального исчисления в нашей нынешней школе просто заучиваются без понимания, такой способ доказательства ничем не лучше откровенного сообщения готового результата. Всё это разрушает научное и эстетическое единство изложения, придавая ему неоднородность и причудливость. Трудно понять, чем понравился этот учебник утвердившим его высоким инстанциям; разве тем, что автор похвальным образом избегает трудных задач, развивающих ум ученика, но могущих снизить «показатели успеваемости».

Учебник геометрии, составленный под руководством покойного А. Н. Колмогорова, написан гораздо тщательнее, и в нём видно общее направление — теоретико-множественный подход к основам геометрии. При таком подходе прямая, плоскость и все геометрические фигуры последовательно трактуются как точечные множества; но такая трактовка, в сочетании с разнообразными скрупулезно соблюдаемыми обозначениями, нарушает то же правило ненакопления трудностей, о котором уже была речь. Я наблюдал, каким образом в практике некоторых учителей заучивание всей этой символики вытеснило всякое содержание предмета, и у меня нет уверенности, что таких учителей у нас мало. Вряд ли надо возлагать на школьников бремя одновременного усвоения основ геометрии и теории мно-

¹Подробнее об этом см. в статье А. В. Гладкого «О некоторых определениях в учебном пособии А. В. Погорелова», «Математика в школе», 1990, № 6.

жеств: можно думать, что за редкими исключениями они не справятся ни с тем, ни с другим.

Авторы новых учебников чрезмерно озабочены так называемой “строгостью изложения” математики. Но строгое построение геометрии в школьном учебнике совершенно недостижимо. Сам Евклид не достиг этой цели, и только в конце прошлого века немецкий математик Д. Гильберт сумел разрешить проблему безупречного логического обоснования геометрии. Таким образом, усилия авторов, “наводящих строгость” в школьном преподавании, ведут к чисто иллюзорным результатам, и не только школьники, но и учителя обычно не понимают, для чего эти авторы хлопочут¹.

Ребёнок обучается синтетически, он доверяет своим восприятиям и своей способности делать выводы. Если учитель тоже доверяет этой чудесной способности — подобно авторам старых учебников, — то она естественным образом развивается и в конечном счёте может привести учащегося к потребности привести свои знания в логическую систему. На такой психологически оправданной позиции и стоял А. П. Киселёв, вовсе не ставивший себе задачи всё строго вывести из аксиом, но включивший в свой учебник список аксиом Гильберта (отнюдь не в самом начале и мелким шрифтом — для особо интересующихся старшеклассников!). Не лучше ли наглядные, но убедительные рассуждения Киселёва, чем откровенный отказ А. Н. Колмогорова и его соавторов от доказательства признаков равенства треугольников, занимающих в этом учебнике совершенно непонятное для читателей положение — не то аксиом, не то принимаемых почему-то на веру и, по-видимому, очень трудных теорем?

Вообще погоня за “строгостью” в современных учебниках наводит на грустные размышления. Работа по такому учебнику напоминает изучение Евклида в средневековых школах, чаще всего сводившееся к заучиванию авторитетного текста. Происходит вырождение преподавания, тесно связанное с общей варваризацией современной культуры.

Другим признаком наступающего варварства является тенденция к замене непосредственного понимания слепым вычислением, тесно связанная с нарастающим отращением к мышлению и так называемой “компьютеризацией” современной жизни. Евклидова геометрия — одно из последних препятствий на пути вычислительного варварства.

¹См., например, статью А. Д. Александрова “О строгости изложения в учебном пособии А. В. Погорелова”, опубликованную в журнале “Математика в школе”, 1985, №5.

Пусть же этот плод прекрасного детства науки по-прежнему обращается к детскому уму!



Педагогические идеи А. Н. Уайтхеда¹

Альберт Норт Уайтхед считается одним из “ведущих” (*leading*) философов двадцатого века. Его имя можно найти в учебниках университетской философии; иногда ему отводится там целая глава. О нём пишут, что он глубокий и интересный, но трудный для понимания философ. В действительности его репутация основана вовсе не на его собственно философских работах, а на трактате “*Principia Mathematica*”, опубликованном им, совместно с Бертраном Расселом, в 1910 г. Это был первый систематический труд по математической логике, в значительной мере стимулированный парадоксами теории множеств. Теперь математическую логику предпочитают излагать, отталкиваясь от других аксиом, но, по-видимому, построение иерархии классов, предложенное в этой книге, глубже всего соответствует важнейшему из приложений логики, развитому Грегори Бейтсоном и его сотрудниками: изучению человеческого мышления и человеческой речи, с их неформальными парадоксами и фундаментальной роли таких парадоксов в работе здоровой и больной психики.

Уайтхед не дожил до этих приложений (он умер в 1947 году), но Рассел должен был о них знать. Я не знаю, кто был движущим умом в этом предприятии, но слава его распространилась на обоих авторов. Затем произошло то, что я называю (за неимением лучшего выражения) “иррадиацией авторитета”. Человек, сделавший нечто важное в одной области, становится авторитетом совсем в другой. Рассел стал писать интересные и важные логические разборы старой философии и — увы — довольно плохие популярные книги о человеке и обществе. Уайтхед же ударился сам в старомодную философию и стал чем-то вроде гегельянца, в разительном противоречии с тенденциями “логического позитивизма” Рассела. Предметом этого обзора является его сборник статей и речей “*The aims of Education and Other Essays*” (“Цели образования и другие эссе”).

Этот сборник отражает состояние образования в Англии в начале двадцатого века; первая из статей была опубликована в 1910 году, а последняя в 1928 году. От системы образования, которой занимался тогда автор, мало что осталось, а «воспитатели» (“*educators*”)

¹Статья написана в 1997 году для пятого номера “Нового педагогического журнала”, так и не вышедшего в свет. Публикуется впервые. — *Прим. ред.*

обратились в историческое воспоминание. Но некоторые проблемы, занимавшие Уайтхеда, сохранили своё значение, и прежде всего — проблема “гуманитарного образования” (*“liberal education”*). Самый смысл этого очень важного термина почти не поддаётся переводу; но о нём пойдёт речь ниже.

Уайтхед участвовал, как это видно из текста, в комитетах по вопросу образования, в частности, в “комитете при премьер-министре по классическому образованию”; поэтому у него есть некоторая практическая установка на существовавшие тогда в Англии школьные системы, их программы и учебные планы. Опыта преподавания детям у него очевидным образом нет; иначе он не преминул бы о нём упомянуть, да и все его рассуждения о гегелевских триадах и ритмах в развитии ребёнка отдают умозрением в духе худших образцов школьной философии.

Но самая главная его слабость — отсутствие у него твёрдой веры в какой-нибудь “идеал человека”. У него есть только ностальгия по прошлому, и нет никакого проекта на будущее. Я имею в виду не детальные планы вроде платоновского “Государства” или “Законов”; но философ должен знать, чего он хочет. Уайтхед этого не знает, и потому он посредственный (модный) философ. Значение его измерялось лишь его первой заслугой и академическим положением.

Уайтхед, как все посредственные философы, колеблется между различными и несовместимыми целями. С одной стороны, у него практические цели: он думает об интересах своей страны, о воспитании более приспособленных тружеников и дельцов для конкуренции на мировом рынке; с другой стороны, он тоскует по “платонову идеалу” воспитания джентльмена (*“platonian ideal”*), что не означает идеала, принадлежавшего самому Платону, но идеал, выросший из “классического образования” под влиянием Платона. Противоречие между этими целями очевидно, и Уайтхед хотел бы найти какой-то компромисс между ними, сохранив в современной школе нечто от “классического” образования, которое получил он сам.

Но как раз по поводу такого возможного компромисса он не имеет сказать ничего интересного. Уайтхед вовсе не говорит об идеальном, просто желательном воспитании, а связан с существующей школьной системой, которую хотел бы в основном сохранить. Эта его практическая установка понятна и близка нам; но хорошие идеи, даже в чисто практических вопросах, могут быть лишь у того, кто имеет идеал — по определению, невозможный и непрактичный. Вы никогда не можете получить всё, чего хотите; но если вы не знаете, чего вы хотите в пределах осуществимых действий, то ваши дей-

ствия ни к чему не приведут. Как математик Уайтхед должен был знать, что нет смысла продолжать блуждание по расходящейся последовательности. Он представляет себе, что можно сохранить три существующих отдельных вида образования: “общее гуманитарное” (*liberal*), “научное” (*scientific*) и “техническое” (*technical*), прибавив к двум последним направлениям малую толику гуманитарного образования, насколько позволит “бюджет времени”. Вообще, его постоянная озабоченность учебным временем не даёт ему сформулировать идеи образования “для самых лучших”; он увяз в британском школьном вопросе, так что “платоновский идеал” не выходит у него за рамки бессильной ностальгии.

Между тем, если вы хотите иметь идеал воспитания, вы должны начать с предположения, что воспитываете самых способных, тщательно отобранных детей или молодых людей, в условиях достаточного материального обеспечения, и без малейших забот о практических приложениях. Вы хотите воспитать человека, а остальное приложится. В особенности это важно, если вам надо вначале воспитать воспитателей!

Но у Уайтхеда нет и мысли об элитарном воспитании для лучших. Он “демократ” с аристократическими ностальгиями. А теперь главная проблема — воспитание будущей аристократии. Печать об этом ещё нельзя, а говорить уже надо. Впрочем, в Англии начала века как раз были уже (или ещё) элитарные школы, но в старом смысле отбора по средствам родителей. Других принципов отбора лучших Уайтхед не имеет в виду; значит, он не имеет идеалов и, в частности, не знает, на что можно надеяться, и чего надо опасаться.

То, что Уайтхед имеет сказать о “научном” и “техническом” образовании, образует разительное противоречие с его же платоновской ностальгией. В самом деле, он выступает за то, что у нас называли “политехническим образованием”, ссылаясь на необходимость связывать абстрактные идеи, сообщаемые ребёнку, с его чувственными переживаниями, играми и ручной работой. Все эти вещи он разъясняет “с энтузиазмом близорукого сыщика, гонящегося за очевидностью”, как выразился его соотечественник Оскар Уайльд. Если арифметике должна предшествовать практика денежных подсчётов, а геометрии — землемерные планы, то традиции Эвклида придёт конец (или уже пришёл?), и от *liberal education* не останется и следа. Все глупости этого рода уже испробованы, и особенно у нас в советский период. Даже сталинские “воспитатели” увидели, к чему всё это ведёт, и благоразумно вернулись к Киселёву. Для способного ученика вся необходимая чувственная интуиция реализуется как

раз в интуитивном (а не формальном) освоении математических абстракций, а “ручная работа” сублимируется в решении задач.

Всё, что рекомендует Уайтхед для “оживления” преподавания математики, есть попытка спастись от зубрёжки в мастерской. Не знаю, есть ли (малоспособные) дети, которым нужна такая пиджин-математика. Я в это не верю. Малоспособным труднее объяснять, но объяснять надо то же. Элитарное образование означает не отсеечение “слабых” учащихся от настоящего обучения, а создание особых условий для “сильных”.

Наиболее интересно то, что Уайтхед пишет о *liberal education*. Я буду переводить это как “гуманитарное образование”, но не в обычном смысле бифуркации, отделяющей учащихся “не способных” к точным наукам, для “более легких” словесных предметов. Под гуманитарным образованием следует понимать образование, в основе которого лежит изучение языков и литературы. В старом русском языке это называлось “словесностью”, и в течение двух с половиной тысяч лет всё образование было “словесным”. Люди, создавшие современную науку, все получили такое образование: Ньютон, Планк, Эйнштейн, Бор прекрасно знали новые и древние языки, имели обширные “внеаучные” интересы и очень удивились бы, если бы им сказали, что их следовало учить не “словесности”, а тому, что они придумали сами. Чем же было гуманитарное образование?

У Уайтхеда есть концепция гуманитарного образования, очень специфическая для англичан и, может быть, неубедительная для других наций. Сейчас я опишу его концепцию, поставив все точки над *i*; дело в том, что сам он эти точки не ставит, по-видимому, избегая островного высокомерия в слишком откровенном виде. Вот его концепция:

Путь развития европейской культуры можно в общих чертах провести через Грецию, Рим, Галлию и Британию. Греческая культура пришла к нам в римском обличье, хотя сама римская литература убога — по сравнению с английской. Так как речь идёт о словесном образовании, то на наш язык влиял не греческий, а латинский язык, на котором учились говорить и мыслить все европейцы.

Латинский язык был связующим началом всей европейской культуры в течение двух тысяч лет, на нём писали законы, договоры и хроники, на нём говорили в школах и университетах, так что он был подлинно международным языком образованных людей. Галлия была тем местом, где латинская культура пустила самые крепкие корни. Французский язык можно считать прямым продолжением латыни, её историческим развитием в средневековой куль-

туре. Он стал, в свою очередь, языком международного общения, но уже языком другой культуры, современной нам, — это живой язык соседней с нами нации. Наконец, в одиннадцатом веке французский язык был принесён в Британию норманнами и составил всю абстрактную и учёную часть английского языка, этого удивительного языка-гибрида, который на наших глазах становится международным языком двадцатого века. Культура Британии, оплодотворённая французской, породила современную государственность, современную науку и технику, затем перешедшие на континент и составившие основу Новой истории.

Итак, три языка — латинский, французский и английский — это последовательные этапы выражения европейской культуры. И эти три языка объединены общим происхождением: в них содержится общий словарный запас, общая грамматическая система и общий логический строй, на разных, сменявших друг друга стадиях развития, в то же время бывших стадиями развития передового человечества, его мышления и его политической деятельности. Сейчас мы видим, как эта передовая культура, языком которой стал английский, завоёвывает весь мир.

Мы в Англии особенно счастливы в смысле языка — ведь наши дети получают от колыбели этот язык, завершающий историю культурных языков Европы в её главной линии — Рим, Галлия, Британия. Естественный путь гуманитарного образования обратен пути исторического развития. Ведь наши дети с самого детства уже владеют основами английского языка: они овладевают им самым естественным способом, предусмотренным самой природой, из уст в уста. И если образование должно быть гуманитарным — то есть словесным, продолжающим это первичное образование каждого человека, опирающимся на те же унаследованные им механизмы обучения и развивающие его в самом широком смысле — чему же надо учить ребёнка, и в каком порядке? Ясно, что надо начинать с родного, английского языка. Ему надо учить основательно, добиваясь мастерства в овладении устной и письменной речью. Когда эта цель достигнута, надо перейти к французскому. Это можно сделать рано, так как дети, овладевшие уже английским языком с его словарём и грамматическим строем, подготовлены к усвоению родственного, но столь иного языка, выражающего иную культуру.

Самая возможность другой культуры, постигаемая через другой язык, — потому что иначе нельзя постигнуть другую культуру — открывает ребёнку новый мир, расширяет его представления, придаёт гибкость его мышлению, и всё это делается самым естественным

способом, испытанным двумя тысячами лет преподавания, так что культурное развитие совершается незаметно для самого ребёнка, он впитывает культуру, ещё не зная, что это такое, подсознательно, то есть единственно правильным, педагогически абсолютным путём. Ребёнок усваивает французский язык на уровне практического владения им, то есть выучивается говорить и писать на правильном, хотя и элементарном французском. Здесь не надо добиваться мастерства, это не в силах сделать дети со средними способностями, да это и не нужно для главной культурной цели образования. Наконец, можно перейти к изучению латинского языка, открывающего перед ребёнком мир прошлой, предшествующей культуры, объясняющего, как сложилось наше мышление. На основе английского и французского языков это восхождение к источникам европейской культуры значительно облегчается. Но всё же усвоение латыни — серьёзный труд, и здесь учащийся сталкивается в первый раз с тяжёлым умственным трудом и научается преодолевать неизбежные препятствия. Так, в порядке, обратном историческому развитию, следует учить английских детей.

У нас в Англии есть ещё особый опыт элитарного образования, сознательно придуманного в соответствии с «платоновским идеалом воспитания» для молодых джентльменов. При достаточном материальном обеспечении, будущего джентльмена учили тщательно выбранные наставники, приглашаемые в резиденцию его родителей. Учили его «гуманитарным» способом, то есть прежде всего языкам, в указанном выше порядке, с обязательным чтением классических авторов на этих языках. Точно так же учили своих сыновей состоятельные римляне, и для завершения их образования, основанного на греческом языке, молодых людей посылали в Афины: они должны были видеть славные памятники Греции, откуда пришла к ним культура, и слушать ещё уцелевших там философов, на их языке. Английский джентльмен завершал своё образование путешествием по Франции и Италии. Для этого его часто учили ещё итальянскому языку. Правда, он не находил уже там мудрых учителей, но в Париже учился светскому общению, а в Риме смотрел знаменитые древности. Образование английского джентльмена доступно теперь немногим, оно не демократично и старомодно, но в нём содержится важный урок. Не забудем, что так воспитывались люди, создавшие наше государство.

Передавая здесь мысли Уайтхеда, я усилил его аргументацию; в частности, я подчеркнул возросшее значение английского языка; я попытался яснее выразить идею первенства языка в образовании,

более понятную в наше время, благодаря лучшему знанию процесса усвоения речи в раннем детстве и его генетических предпосылок. И всё же, рассуждения Уайтхеда оставляют чувство неудовлетворённости. Я не имею в виду его очевидный англоцентризм, доходящий до плохо скрытого островного высокомерия. “Линия развития” Рим — Галлия — Британия не отражает всего пути европейской культуры. Этот путь не линейен, это скорее дерево, — если даже Уайтхед правильно изображает его ствол. Непосредственно к русским условиям схема Уайтхеда не подходит: Русь когда-то завоёвывал не Юлий Цезарь, а Батый. Главная слабость концепции гуманитарного образования у Уайтхеда — это её недостаточная содержательность.

Я вовсе не хочу оспаривать правильность его основных положений, которые вовсе не оригинальны и гораздо старше его статей. Я вполне разделяю мысль о первенстве языка в образовании, исходящую из естественного начала воспитания человека. Но эту мысль надо наполнить более конкретным содержанием. Надо уметь ответить на следующие вопросы:¹

Что именно отличает классическое гуманитарное образование от суррогата образования, доставляемого в наше время? Чем отличался образованный человек девятнадцатого века от человека, который учится в нынешних учебных заведениях?

Что именно означает (правильное, как я уверен) предположение, что языковая культура придаёт уму широту и гибкость, недоступные человеку, обученному лишь специализированным языкам (таким, как языки математики и физики)?

Что происходит в уме ребёнка, изучающего чужой язык? Почему этот элемент образования не заменим никакими научными предметами? Каким образом язык некоторой культуры выражает её специфический дух? Как можно судить о понимании этого духа?

В чём особая важность изучения древних языков? Что именно позволяет человеку, овладевшему этими языками (латинским и греческим), почувствовать основы европейской культурной традиции? Как можно (если это возможно) описать эти основы для не знающих древних языков, и как — для знающих? Почему потеря связи с классической древностью губительна для образования европейца? Можно ли в будущем заменить изучение древних языков изучением “новых классических языков” Европы?

Что даёт учащемуся изучение грамматики “мёртвых” языков?

¹Большую часть этих вопросов А. И. Фет поставил и на некоторые из них ответил в статье “Что такое образованный человек?”, написанной в августе 1993 года. — *Прим. ред.*

Почему этот способ образования нельзя заменить ни “разговорным” методом освоения новых языков, ни изучением специализированных научных языков?

Весь этот ряд вопросов возникает при размышлении о традиции европейского образования. Во многих случаях мы интуитивно уверены в правоте традиции гуманитарного образования, но не умеем убедить в этом других. Ясно, что в области воспитания надо действовать, не дожидаясь ответа на эти вопросы. Может быть, на некоторые из них так же трудно ответить, как на более общий вопрос о строении всей нашей культуры, но искать хотя бы частичные ответы необходимо.

Следовательно, надо продумать и написать всё, что можно сейчас сказать о необходимости гуманитарного образования. Надо составить временную, компромиссную программу такого образования для России. Надо пытаться создать хотя бы несколько хороших школ. Может быть, этого нельзя сделать из-за невозможности найти для них учителей. Тогда надо искать способы подготовки учителей.

Надо ли переводить книгу Уайтхеда? Мне кажется, что надо искать лучшее обоснование гуманитарного образования, без англоцентризма и джентльменского снобизма, без гегельянской болтовни и произвольных “ритмов развития”, наконец, без эклектического смешения “платоновского идеала” с тем, что у нас таким вредным образом уже пробовали под названием “политехнического образования”. Мы совсем не знаем Западной литературы о воспитании. Не надо ли её основательно изучить? Ведь все, что говорит Уайтхед, является общим достоянием целого слоя воспитателей. Он ни в чем не оригинален. А книга его, вдобавок, сильно устарела в своих практических установках (1912–1928 годы!). Наконец, я не читал последних глав её, о математическом преподавании, но и того, что я прочёл, достаточно, чтобы решительно возражать против разрушительных тенденций автора в этом направлении. В общем, надо искать других авторов, а книга Уайтхеда, даже в историческом плане, представляет небольшой интерес.

Капитализм и социализм¹

Открытие Адама Смита. Экономическая система, основанная на конкуренции и обычно именуемая “капитализмом”, впервые заняла господствующее положение в Англии в XVIII веке. Её первым исследователем был шотландец Адам Смит, идеи которого положили начало новой науке под названием “политическая экономия”. Как мы увидим, эти идеи оказали глубокое влияние на всё развитие человеческого мышления, вышедшее за пределы экономики. Поэтому мы начнём с краткого изложения мыслей самого Адама Смита, а затем попытаемся понять их смысл с позиций современной науки.

Время, когда жил Адам Смит, положило начало современному “обществу массового производства”, пришедшему на смену феодальному обществу. При феодализме производство было сковано средневековой цеховой системой, в которой изготовление каждого товара было привилегией особой организации — цеха или гильдии, — кооптировавшей своих членов, контролировавшей источники сырья и качество изделий и назначавшей, обычно с участием государственной власти, “справедливые цены”. Торговые предприятия также объединялись в “корпорации”, имевшие утверждённые монархом уставы и привилегии и, в ряде важных отраслей, монопольное право ввозить и продавать определённые товары. Такая феодальная система производства и распределения была статична и не способствовала экономическому росту: производители и торговцы, ограждённые раз навсегда установленными правилами, могли не опасаться за свои доходы и не имели стимула развивать свои предприятия. Как известно, государственная экономика в так называемых “социалистических” государствах привела в 20-м веке к аналогичным явлениям стагнации.

Английская революция, завершившаяся в 1688 году установлением конституционной монархии, привела к компромиссу, оставившему большую часть земельных владений в руках прежних господ, но

¹Статья написана в конце 1996 года, во время пребывания в Америке. Первоначально автор начал писать её как набросок главы для книги “Инстинкт и социальное поведение”, поэтому в тексте встречаются ссылки на предыдущие главы. Но потом он вышел за рамки отдельной главы и стал излагать также другие идеи. — *Прим. ред.*

освободившему промышленность и торговлю от феодальных ограничений. Это вызвало бурный рост рыночного хозяйства и конкуренцию, способствовавшую техническому прогрессу — так называемой “промышленной революции”. Адам Смит, наблюдавший этот процесс, открыл закономерности впервые возникшего в то время “свободного рынка”. Как он обнаружил, в основе рыночного хозяйства лежит игра спроса и предложения.

Если спрос на некоторый товар превосходит его предложение, то его рыночная цена возрастает, что стимулирует его повышенное производство. С некоторого момента предложение этого товара уже превосходит спрос, что вызывает падение цены и уменьшает заинтересованность в его производстве. Колебания этого рода были подробно описаны в ряде случаев, например, в классическом исследовании немецких экономистов о циклах в производстве свинины. При неизменных внешних условиях цена товара после некоторого числа колебаний стабилизируется, и вместе с ней стабилизируется уровень его производства. Этим процессом Адам Смит объяснял ценообразование.

Экономисты школы Рикардо — в частности, Маркс — пытались дать ценам товаров “объективное” объяснение, определяя цену изделия как меру заложенного в нём человеческого труда. Согласно “трудоу теории стоимости”, любой изготовленный предмет имеет сам по себе, независимо от рыночных условий, некоторую “стоимость”, измеряемую числом рабочих часов, потребных на его изготовление в “нормальных” (для данного уровня производства) условиях. Как предполагали сторонники этой теории, цена товара, устанавливающаяся на рынке, равна его “стоимости”. Таким образом, для экономистов этой школы товар характеризовался некоторым числом, неизменно связанным с его материальным строением — наподобие таких физических характеристик тела, как масса, энергия и энтропия.

Такой ход мысли был очень типичен для науки середины XIX века, и хотя нельзя доказать, что Маркс прямо руководствовался физическими аналогиями, его представление о “стоимости” очень напоминает представление об энергии, развитое несколько раньше Майером и Джоулем. Эта аналогия, по-видимому, не замеченная историками науки, иллюстрирует то, что немцы называют *Zeitgeist* (дух времени). Для уяснения её рассмотрим параллельно определение энергии, принятое в физике, и попытку определения “стоимости” товара:

В самом деле, исходное сырьё уже имеет цену, по которой его

Тело T переходит из состояния A в состояние B посредством некоторого физического процесса l .	Изделие T переводится из состояния A в состояние B посредством некоторого процесса обработки l .
Если исходному состоянию A тела T приписывается энергия U_A , а в процессе перехода l над телом T совершается работа W_l , то конечному состоянию B тела T приписывается энергия U_B , равная $U_A + W_l$.	Если в исходном состоянии A изделию T приписывается “стоимость” U_A , а в процессе обработки l этого изделия совершается “работа” W_l , то конечному состоянию B изделия T приписывается “стоимость” U_B , равная $U_A + W_l$.
Чтобы предыдущее определение имело смысл, предполагается, что работа W_l не зависит от процесса перехода l , а зависит лишь от начального состояния A и конечного состояния B . В конкретных случаях для работы W_l даются точные математические выражения.	Предполагается, что “работа” W_l над изделием T может быть некоторым образом стандартизована описанием рабочей силы и орудий труда и измеряется затраченным при обработке “рабочим временем”.

покупают, и цены вовсе не определяются “с точностью до произвольного слагаемого”. Что же касается стандартизации обработки изделий, то Маркс говорит лишь — весьма неопределённо — об “общественно необходимом” рабочем времени. Ясно, что “теория стоимости” всего лишь “научнообразна”, то есть подражает научным теориям с недостаточными средствами. Верно, что цена товара *зависит* от затраченного на его изготовление труда; но она зависит ещё и от многих других условий, не поддающихся численной оценке, так что “стоимость” товара *невчислима* — в отличие от энергии, которую физики умеют вычислять.

Итак, попытки “вычислить” цены товаров по их заданным материальным характеристикам не удалось, и экономисты вернулись к исходной позиции Адама Смита: они просто констатируют, что цены складываются на рынке в зависимости от спроса и предложения и регулируют производство описанным выше способом. Иначе говоря, экономисты признали, что экономика человеческого общества — *сложная* система: для предсказания цен надо было бы детально изучить возможности и вкусы всех потребителей и производителей, что явно невозможно. Когда “австрийская школа” экономистов отказалась от попыток определить “внутреннюю стоимость” товаров, это

была одна из первых констатаций существования сложных систем, не поддающихся детальному исследованию. Впрочем, это предвидел уже Адам Смит.

Адам Смит отдавал себе отчёт в том, что “свободный рынок” предполагает не только невмешательство государства в экономическую жизнь (точнее — не слишком сильное вмешательство, потому что всегда существовали таможенные сборы, различные пошлины и те или иные государственные монополии, например, контроль над денежной системой). Он понимал, что “свободный рынок” может действовать лишь при соблюдении определённых “правил игры”, которые включают в себя принятые государством законы и ряд других правил, от которых зависит взаимное доверие покупателей и продавцов. Те и другие должны иметь достаточный доступ к информации о качестве товаров и о состоянии рынка; хотя Адам Смит не пытался точнее определить правила поведения на рынке, но, в общем, он предполагал достаточную “добропорядочность” его участников, в смысле общепринятой морали. Его последователь Ф. Хайек, убежденный сторонник “неограниченной” свободы рынка, называет поэтому необходимые для такого рынка правила поведения “моральными правилами”. Мы будем пользоваться этим термином, но впоследствии попытаемся его уточнить. Во всяком случае, такой рынок, какой образовался в нынешней России, не является “свободным” — не только потому, что в значительной степени контролируется государством, но и потому, что в нём не соблюдаются “моральные правила”.

Хотя эти “моральные правила” могут быть сформулированы достаточно определённо, без особых психологических тонкостей, так что отношения между участниками рынка составляют лишь относительно несложную часть того, что вообще называется “моралью”, надо всё же заметить, что эти правила носят неэкономический характер по своему происхождению. Как мы ещё увидим, они передаются по традиции и исчезают вместе с разрушением этой традиции.

Обратные связи и устойчивость экономики. Как это всегда бывает при великих открытиях, Адам Смит был поражён картиной правильного функционирования рынка и, прежде всего, его устойчивостью. С незапамятных времен считалось, что для поддержания порядка в человеческом обществе необходима *власть*, принимающая решения и надзирающая за их выполнением. Но рынок, по-видимому, не нуждался в “управлении”, а был устойчив “сам собою”, он сам исправлял все отклонения и возвращался к некоторому “нормальному” способу действия. Адам Смит с восторгом гово-

рил о “невидимой руке” рынка, поддерживающей его устойчивость, несмотря на постоянные колебания спроса, предложения и цен. На кибернетическом языке мы говорим, что рынок представляет собой *саморегулирующуюся систему* с обратными связями, возвращающими её к положению равновесия при всех случайных отклонениях. Примерами таких систем являются такие технические устройства, как регулятор Уатта, автопилот и множество других, поддающихся точному математическому описанию, и бесчисленные *биологические* системы — животные, растения, а также виды животных и растений; биологические системы ещё сложнее человеческой экономики и не могут быть описаны во всех деталях. Общей чертой всех саморегулирующихся систем является наличие в них “замкнутых контуров с отрицательной обратной связью”, то есть механизмов, в которых некоторая последовательность воздействий, *отклоняющих* систему от равновесия, в конечном счёте приводит к воздействию на начальное состояние, *возвращающему* его в равновесное положение. Это и есть обратная связь; Норберт Винер понял действие таких механизмов на технических устройствах с автоматическим регулированием и их решающее значение в действии более сложных биологических систем. Но гораздо раньше Адам Смит понял стабилизирующее значение обратных связей в случае экономических систем.

Конкуренция и “борьба за существование”. Адам Смит ещё и в другом отношении проложил новый путь в науке. Как мы видели, он обнаружил чрезвычайную эффективность экономической конкуренции, по сравнению с “управляемой” экономикой; но гораздо раньше её обнаружила сама природа, в дарвиновой “борьбе за существование”. Это понятие появилось, таким образом, задолго до Дарвина в экономической науке, которую причисляли тогда к “гуманитарным” наукам. Оно получило дальнейшее развитие в известной книге Мальтуса, послужившей непосредственным толчком к дарвиновой концепции происхождения видов. Что касается самого термина “борьба за существование”, то его придумал уже в середине 19-го века философ Спенсер, а потом это не особенно подходившее ему выражение заимствовал Дарвин.

Заметим, что каждое открытие имеет пределы применимости, вне которых оно теряет смысл. Принцип конкуренции, открытый Адамом Смитом на материале “свободного рынка”, получил огромное применение в объяснении биологической эволюции, где его действие, по-видимому, универсально. Но в применении к конфликтам в человеческих сообществах этот принцип, как видно из истории “социал-дарвинизма”, приводит к заблуждениям; и даже в обла-

сти рыночной экономики его применение может, при отсутствии “умеренности” в конкуренции, приводить к патологическим явлениям: это показал Конрад Лоренц. Поскольку “моральные правила”, определяющие “свободный рынок”, не формулируются с достаточной полнотой, неясно, в какой степени они включают “умеренность”.

Игры и экономическое поведение. Дальше мы будем заниматься лишь человеческим обществом, а не эволюцией животных. Может случиться, что у людей, даже в их рыночной деятельности, “моральные правила” останутся сложнее, чем у “борющихся за существование” животных. Во всяком случае, была сделана попытка построить общую математическую теорию игр. Инициатором её был Дж. фон Нейман (которому принадлежала также главная роль в изобретении компьютера), причём основным мотивом было стремление понять экономическую жизнь людей¹.

В теории игр точно формулируются *правила игры и цель игры*. Поскольку это математическая теория, то и другое должно быть определено совершенно точно. Например, в конце игры каждый её участник получает некоторый “выигрыш”, положительный или отрицательный, который он пытается сделать максимальным. Правила и число участников произвольны, так что теория игр применима, в принципе, и к обычным играм вроде шахмат, и к тем гораздо более важным играм, которые составляют экономическое поведение людей. Фон Нейман имел в виду объяснить как раз движущие силы экономики, и поначалу его книга была воспринята как некое открытие в области общественных наук, наподобие Ньютоновых “Математических начал натуральной философии”, заложивших основы естествознания. Эти надежды, однако, не оправдались, хотя теория игр позволила понять некоторые стороны игровой стратегии, ранее не привлекавшие внимания². С математической стороны решение игровых задач оказалось очень сложным, так что разработка оптимальных стратегий удаётся лишь в некоторых простейших случаях,

¹J. v. Neumann and O. Morgenstern. Theory of Games and Economic Behaviour, 1943.

²В теории игр доказывается, что оптимальные стратегии в некоторых случаях должны содержать случайные ходы, не поддающиеся предсказанию противника (все игроки предполагаются «рациональными», то есть придерживающимися самой выгодной для них стратегии). Значение случайных ходов хорошо иллюстрируется признанием Фридриха Великого, что из всех полководцев Европы он опасается только Салтыкова, “потому что невозможно предвидеть его следующий маневр”. Салтыков командовал в битве под Кунерсдорфом, часто прославляемой как победа русского оружия. Я не уверен, что значение случайных ходов достаточно оценено экономистами и политиками, даже в наше время.

например, в играх с двумя участниками, намного проще шахмат. Но главная трудность состоит не в этом.

Теория игр правильно воспроизводит мотивы поведения отдельных игроков, каждый из которых, в условиях свободного рынка, стремится к максимальному личному выигрышу, а вовсе не к достижению каких-либо “глобальных” общественных целей (на что претендуют “социалистические” идеологии вроде советской, призывающие индивида жертвовать личными интересами ради предполагаемых интересов “общества в целом”). Но Адам Смит утверждал гораздо больше. Он не просто констатировал только что описанное поведение экономических индивидов (которое мы для краткости назовем “эгоистическим»), но утверждал, что *такое поведение приводит к “наибольшему благу” всего общества, обеспечивая максимальную производительность экономики в целом*. Мы назовём это утверждение “принципом Адама Смита”. Оно может показаться парадоксальным, потому что благосостояние общества выводится здесь не из нравственного и общепольного поведения отдельных производителей, как это было в феодальном обществе с его цеховой регламентацией ремесла и торговли, и не из “сознательного” поведения граждан, как в обществе советского типа, а из чистого эгоизма всех индивидов, заботящихся только о собственных интересах. Но открытие Адама Смита не было плодом умозрения: оно возникло из наблюдения за функционированием “свободного рынка”, новой формы хозяйственной деятельности, впервые достигшей преобладающего значения в Англии XVIII века. Объяснение, которое Адам Смит дал этому явлению, состояло в том, что в условиях свободной конкуренции каждый производитель (и торговец) добивается высокой эффективности, побуждаемый личным интересом. В соответствии с “духом времени” он полагал, что стремление к личному обогащению гораздо сильнее всех других стимулов человеческого поведения, что и придаёт особую энергию деятельности каждого индивида и, тем самым, производству в целом. Более того, Адам Смит полагал, что свободная неограниченная конкуренция сама по себе, без всякого вмешательства каких-либо планирующих и регулирующих учреждений, приводит к наилучшим экономическим результатам.

Это убеждение, с его довольно неопределённым пониманием “наилучших” результатов, мы и назвали “принципом Адама Смита” — не “теоремой”, поскольку Адам Смит не дал ему точного доказательства, и не “гипотезой”, поскольку его наблюдение имело убедительные эмпирические подтверждения, по крайней мере, в эпоху

“классического капитализма” (примерно с 1750 до 1850 года).

С точки зрения теории игр, принцип Адама Смита нуждается в уточнении и обосновании. Прежде всего, кроме “локальных” игр, в которых каждый экономический индивид играет против всех возможных “противников”, добиваясь максимального личного выигрыша (это и есть “эгоистическое” поведение), Адам Смит рассматривает ещё “глобальную” игру, в которой все индивиды участвуют вместе, а также некоторую меру успеха этой игры — “экономическую эффективность” производства в целом или (что для него то же самое) “общественное благо”. Если в роли “игрока” выступают все индивиды вместе и имеется в виду их общий выигрыш, причём не видно конкурирующей группы игроков, такое положение называется в теории игр “игрой против природы”. Как же определить “выигрыш” в такой игре? Конечно, можно условиться, когда подводить итоги игры, но выигрыш можно определять поразному. По-видимому, Адам Смит, как и все его последователи, имел в виду главным образом суммарную производительность всех индивидов, оцениваемую некоторым численным показателем — например, выраженную в общей цене продукции. (Я оставляю здесь в стороне вопрос о “курсе” денег). Но при такой оценке выигрыша может получиться, что общая сумма произведённых товаров распределяется очень неравномерно, так что главная часть произведённых “благ” достаётся небольшому слою удачливых дельцов, при постоянной нищете большинства населения. Кажется, Адама Смита это не особенно смущало: он ожидал, как и современные ему мыслители-оптимисты, что увеличение “общего” богатства само собой поднимет и уровень жизни самых “неудачливых” конкурентов. Современные последователи “рыночной” идеологии, такие, как Ф. Хайек, ничего не добавили к аргументации Адама Смита, которая стала для них скорее не предметом исследования, а верой. Но можно было бы по-иному определить выигрыш в “глобальной” экономической игре: например, как минимальный доход индивида. Тогда “общее благо” состоит в увеличении этого минимального дохода, что вовсе не обязательно означает увеличение общего богатства страны, но может быть достигнуто “перераспределением” доходов — от богатых к бедным.

Очевидно, “общее благо” в этих двух случаях определяется поразному. Игра с выигрышем первого рода больше соответствует “классическому капитализму”, а игра с выигрышем второго рода — “утопическому (уравнительному) коммунизму”. По-видимому, реальное развитие экономики в “развитых” странах не следует ни то-

му, ни другому правилу: “выиграшем” считается увеличение “общего богатства” при добавочном требовании, чтобы минимальный доход индивида не падал ниже некоторого культурно обусловленного “прожиточного минимума”. Но такой выигрыш достигается ценой значительного ограничения свободы рынка и, несомненно, означает замедление роста производства. “Невидимая рука” рынка заменяется в ряде случаев вполне видимой рукой государственной бюрократии, и мы оказываемся вне сферы применимости “принципа Адама Смита”.

Что считать “выиграшем” в глобальной экономической игре? Определение выигрыша — весьма существенная, хотя и не единственно существенная часть правил экономической игры. Это определение во многом зависит от принятого идеала “счастливого общества”. В наше время мало кто признаётся в таких идеальных целях, поскольку таковые были скомпрометированы провалом тоталитарных режимов. Люди, упорно преследующие “общественные цели”, говорят теперь не о построении счастливого общества, а — более скромно — о постепенном “улучшении” общества. Но для этого надо определить, что лучше и что хуже, а это требует, в экономических терминах, выбора одного из вариантов выигрыша в глобальной игре. Это и есть так называемое *государственное планирование*. Прежде всего, практика всех “развитых” стран, прибегающих к такому планированию, удивительным образом упускает из виду подсознательную мотивировку этого планирования. Люди, желающие сделать всех людей счастливыми (или хотя бы менее несчастными), смешивают счастье с экономическим благосостоянием, и это отнюдь не случайно. Мы живём в эпоху абсолютного материализма. Если прежде одни марксисты верили, что “бытие определяет сознание», и устремляли все свои усилия на повышение уровня потребления “народных масс”, полагая, что все другие стороны жизни автоматически улучшатся вместе с количеством и качеством потребляемых вещей, то теперь в это верят, более или менее бессознательно, все “государственники” (этатисты), составляющие бюрократию “развитых” стран, и равным образом все богатые люди в этих странах, обычно не знающие никакой иной концепции счастья. В этом отношении марксизм одержал полную победу в сознании западного человека — во всяком случае, в сознании тех, от кого зависят решения. Все уже убеждены в том, что “бытие определяет сознание”; более того, господствует верование, что материальные условия — единственно важные для человека, а всё остальное — всего лишь развлечения в свободное время, чтобы восстановить способность ра-

ботать и потреблять. Конечно, более хитрые или политически изощрённые люди прямо этого не скажут, но такова общая подсознательная установка. Понимание истинного положения вещей не всегда отсутствовало у политиков и моралистов. Как известно, Локк, формулировавший понятие о правах человека, выделил в качестве основных “право на жизнь, свободу и собственность”¹. Джефферсон, составляя проект “Декларации независимости”, заменил в этой формулировке “собственность” “стремлением к счастью”. Он понял, что собственность может быть лишь средством, а не целью: человек может быть жив, свободен, обладать собственностью и не получать никакой радости от жизни. Но к этому важному вопросу мы ещё вернемся. Пока же мы ограничимся общепринятой в наше время скромной служебной целью — доставить людям как можно большее материальное благополучие. В сущности, это идеал не для людей, а для домашнего скота, но это всё, о чём заботился XX век.

Планируемое общество. Разумеется, глобальная экономическая игра происходит по некоторым правилам, и от этих правил — наряду с определением выигрыша — зависит ход игры (и её исход, поскольку всякая игра имеет конец). Существование так называемых “моральных правил” принимается всеми экономистами и не считается ограничением свободы рынка; конечно, объём и способ применения этих правил никоим образом не определены². Но, в общем, это не что иное, как древние правила “добропорядочного поведения”; в моделях свободного рынка, допускающих строгую математическую трактовку, “моральные правила” сводятся к полной информированности покупателей и продавцов о качестве и себестоимости товаров, о спросе на эти товары и их предложении в любой момент времени. Нечего и говорить, что рынка, удовлетворяющего таким условиям, никогда и нигде не было, но, как обычно, здесь абстрагируются реальные условия, некогда составлявшие достаточное приближение к ним. Мы ещё вернемся к этим “моральным правилам”, выпадение которых в наше время ставит под угрозу самую возможность свободного рынка.

Теперь мы займемся другими правилами игры, налагаемыми

¹Поразительно, что нынешние идеологи “капитализма” уже не знают истории. Например, популярная писательница Айн Рэнд уверяет, что понятие о правах человека изобретено в Америке! По-видимому, она не знает ни Локка, ни Руссо.

²Мы заимствуем этот термин (*moral rules*) у Ф. Хайека, крайнего противника всяких ограничений свободы рынка, фанатически верующего во всемогущество “принципа Адама Смита”. Хайек признаёт происхождение этих правил от древнейшей “племенной морали”.

уже в наше время, главным образом, государственной властью. Номинальной целью таких «внешних» правил объявляется благосостояние слоёв населения с низкими доходами и ущербных в физическом или психическом смысле, престарелых, больных и сирот. Правительств и законодательные собрания, вводящие такие правила, могут верить или не верить в их официальную мотивировку, обеспечивающую им поддержку значительной части избирателей; но, несомненно, таким образом они пытаются обеспечить, хотя бы на короткое время, «социальный мир», бросая подачки «обездоленным» и «несчастливым». Самое важное из этих «внешних правил» — это законодательно установленный минимум дохода на душу населения в определённых общественных группах. Такой «минимум» гарантированного потребления давно уже был введен во Франции и сейчас, в той или иной форме, распространился повсюду. Прежде чем перейти к последствиям «минимума», подчеркнём, что он решительно несовместим с понятием свободного рынка, как его описывал Адам Смит. Здесь мы выходим из мира Адама Смита!

Не следует смешивать с «минимумом» в этом смысле описанный выше тип выигрыша, в котором максимизируется минимальный возникающий на рынке индивидуальный доход. Сходство может ввести в заблуждение; но при таком определении выигрыша не меняются правила игры: просто подсчитывается минимальный доход, и целью игры является возможное его увеличение. Здесь нет *априорных ограничений типа неравенств*, как в законодательно вводимом «минимуме» французского типа, вовсе не считающимся с экономической реальностью, или учитывающим её лишь произвольными «разовыми» мероприятиями, обычно под давлением избирателей. Но «второй тип выигрыша», описанный выше, хотя и не вторгается прямо в правила игры, по всей вероятности тоже нарушает «принцип Адама Смита», в котором явно имелся в виду *первый* тип «выигрыша».

Мне хотелось бы подчеркнуть здесь, что я вовсе не настаиваю здесь на полном отказе от «внешних правил» экономической игры. Сам Адам Смит отлично понимал, что определённые государственные ограничения неизбежны, например, в таможенной политике или во время войны: пока существуют отдельные государства, их не всегда можно избежать. Далее, я несколько не ставлю под сомнение чувства людей, искренне желающих помочь всем нуждающимся. Вопрос в том, какие меры действительно гуманны, и какие нет. Экзюпер начинает свою философскую поэму «Крепость» главой о нищих, которая открывается словами: «Поистине, слишком часто ви-

дел я, как заблуждается жалость”. Милостыня — это исторически сложившийся в иудео-христианской религии примитивный способ самоуспокоения. В основе его лежит магическое мышление: подающий милостыню обеспечивает себе, как выразился Виктор Гюго, заступничество “нищего, могущественного в небесах” (*d'un mendiant puissant au ciel*). Сострадание — основа всякой человечности, и я был бы в отчаянии, если бы меня заподозрили в желании опорочить это чувство. Но нельзя забывать, что милостыня также развращает: всякая милостыня, и государственная, и частная.

Во всяком случае, в исследовании социальных проблем мы должны быть беспристрастны и доводить его до логического завершения. Это причиняет боль, но ведь и врач делает то, что правильно, а не то, что даёт сиюминутное облегчение.

Ограничения типа равенств. Ограничения, накладываемые на производство и потребление, математически выражаются равенствами или неравенствами. Ограничения типа равенств означают точную регламентацию экономической деятельности, когда в некоторой ситуации предписывается вполне определённая цена, или когда устанавливается жёсткая связь между величиной дохода и взимаемым налогом и т. п. Так обстояло дело в средневековом ремесле, когда цехи или государство назначали “справедливые” цены на товары и услуги, или в “социалистических” странах, повторявших эту практику. Тот же характер имело налогообложение в Оттоманской империи, где христианские подданные (греки и армяне, от которых преимущественно зависели ремесло и торговля и которые обозначались презрительной кличкой “райя”) должны были платить налог вдвое больше правоверных, во всех возможных случаях. Даже при таких неэкономических правилах экономика могла долго существовать, хотя и не очень развивалась.

По-видимому, значительно более вредны для развития производства ограничения типа неравенств. Первые такие ограничения, насколько известно, были введены около 300-го года римским императором Диоклетианом. Он решил благодетельствовать своих подданных, установив предельные цены на все товары, которые и были указаны на таблицах, прибитых на всех рынках империи: это был знаменитый “максимум”, немедленно вызвавший новое историческое явление — “чёрный рынок”. Многие социальные реформаторы, а иногда и государственные деятели, считали нужным ограничить жадность и себялюбие граждан, установив предельные размеры личных состояний, земельных владений и т. д. Ясно, что такие искусственные ограничения нарушают естественное развитие пред-

приятый, запрещая “слишком дорогие” исследования и сооружения, вызывая неоправданное дробление предприятий, препятствующее их согласованному управлению, и т. п. Дело обстоит так, как если бы для всех машин были установлены предельные габариты: это имеет смысл, если надо перевозить их по железным дорогам, но вряд ли полезно для доменной печи, линии химического синтеза или синхрофазотрона. Можно попытаться запретить личное владение такими объектами и наложить ограничения на размеры коллективных предприятий, вроде известного “антитрестовского” законодательства; но подобные запреты слишком выгодны для иностранных конкурентов, не связанных ими. Впрочем, компании быстро научились их обходить. Ограничения типа неравенств были особенно убийственны в “социалистических” странах, где они сковывали всякую личную и коллективную инициативу. Крестьянин (точнее, “колхозник”), которому запрещалось иметь больше одной коровы, вряд ли мог стать настоящим специалистом по животноводству; советская догма “одной коровы”, как предполагалось, не давала крестьянину обогащаться и тем самым предотвращала “реставрацию капитализма”.

Поскольку теперь имеются математические модели рынка, можно, несомненно, доказать теоремы, иллюстрирующие торможение производства ограничениями типа неравенств. Впрочем, они вовсе не отделены принципиально от ограничений типа равенств. На рисунке 1а изображён график “прогрессивного” подоходного налога. Абсцисса изображает величину дохода, ордината — процент налогообложения, резко возрастающий по мере роста дохода.

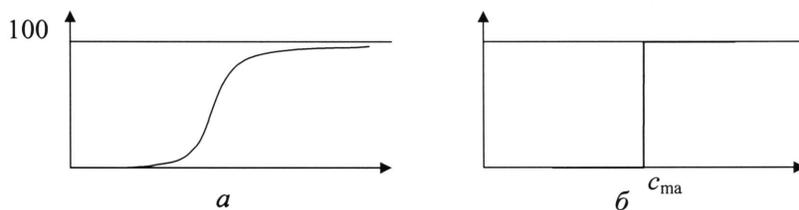


Рис. 1

При повышении крутизны кривой, т. е. при всё более “прогрессивном” обложении, s-образная кривая рис. 1а переходит в “ступенчатый” график рис. 1б, показывающий, что доходы выше $c_{та}$ попросту запрещены. Ясно, что достаточно крутая политика “прогрессивного” налогообложения приведёт к результатам, близким к

запрету “слишком больших” доходов. Впрочем, на практике эта политика больше всего бьёт по небольшим предприятиям, в одиночку противостоящим машине фиска. Для крупного капитала дело обстоит не так страшно: он рассредоточивается по целой цепи взаимосвязанных компаний, часто иностранных, так что акции одного владельца, умеренно облагаемые налогом в разных местах или вообще ускользающие от обложения, в сумме приносят ему достаточный доход. Но мы не будем здесь касаться этих методов, доставляющих заработок целому сословию юристов.

Научный статус “принципа Адама Смита”. Как уже было сказано, Адам Смит предполагал вполне определённую связь между глобальной экономической игрой “против природы” и локальными играми экономических индивидов. Примем, что выигрыш глобальной игры равен общему доходу от производства в данной стране за определённый период времени, и поставим задачу: какова должна быть стратегия игры индивидов (локальной игры), чтобы получить наибольший выигрыш в глобальной игре? Ответ Адама Смита состоял в следующем: *если рынок свободен, то каждый индивид должен стремиться к наибольшему выигрышу в своей собственной игре, не считаясь ни с какими другими соображениями.* Это и есть главная догма “неограниченного капитализма”. Безудержное стремление к личному обогащению само по себе не составляет респектабельной идеологии: это установка грабителей и воров, рационализируемая среди уголовников утверждением, что “так поступают все”. Иное дело, если такое “эгоистическое” поведение оказывается, при соблюдении некоторых “моральных правил”, содействующим “общему благу”: это доставляет экономическому индивиду ощущение собственной праведности (*self-righteousness*) и успокаивает его совесть, когда ему случается разорить конкурента¹.

Оставаясь пока в рамках экономики, мы обсудим теперь научный статус “принципа Адама Смита” в его только что уточнённой формулировке. Отвлечемся пока от трудностей, связанных с абстракцией “свободного рынка”, которого, строго говоря, никогда не было и не может быть. Такие возражения можно выдвинуть против любых абстракций, лежащих в основе научных теорий. Никакое тело не является тем, что в механике называется “материальной точкой”, но это вовсе не обесценивает понятие, на котором основана вся механи-

¹“Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу” (из оперы Чайковского “Пиковая дама”, где речь идёт о карточной игре).

ка. Надо лишь различать, когда можно считать тело “материальной точкой” и когда нельзя. Земля в небесной механике подходит под это понятие, поскольку её размеры пренебрежимо малы по сравнению с расстояниями между небесными телами; но в обычных инженерных задачах размерами Земли нельзя пренебрегать. Каждое научное понятие и каждое научное утверждение имеют свои границы применимости, вне которых понятие может потерять смысл, а утверждение может стать неверным. Понятие свободного рынка и принцип Адама Смита поддаются научной формулировке и, несомненно, тоже имеют свои границы применимости, в отличие от религиозных догм, в которые люди верят без всяких ограничений. Мы хотим решительно отмежеваться от “верующих в чистый капитализм”, для которых нет бога, кроме капитализма, и Адам Смит — его пророк.

Как уже было сказано, понятие свободного рынка поддаётся математическому описанию, которое было предложено в наше время несколькими учёными. Особенно убедительна и наглядна формулировка, принадлежащая Р. Г. Хлебопосу¹. В этой математической модели, конечно, не участвуют “моральные правила” игры в их традиционной форме, но делаются предположения, резюмирующие эти правила в их рыночных проявлениях: предполагается полная доступность информации о качестве и себестоимости выходящих на рынок изделий, о предложении всех изделий и о спросе на все изделия; далее, предполагается отсутствие каких-либо ограничений на заключаемые сделки — как государственных ограничений, так и сговора производителей с целью повышения цен. При этих условиях принимается, что каждый производитель в своей “локальной” игре применяет стратегию, приносящую ему наибольший выигрыш и не учитывающую никаких иных соображений. Исходя из этих предположений, изучается действие рынка в целом и, в частности, объясняется рыночный механизм образования цен. В понятном смысле, это путь “снизу вверх”, от локальной игры к глобальной.

Но можно идти и в обратном направлении, потребовав, чтобы глобальная игра приносила наибольший выигрыш, и поставив вопрос, какова должна быть для этого стратегия локальной игры

¹См: Хлебопос Р. Г., Фет А. И. Природа и общество: модели катастроф, Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999; Хлебопос Р. Г., Охонин В. А., Фет А. И. Катастрофы в природе и обществе: математическое моделирование сложных систем. Новосибирск, ИД Сова, 2008; R. G. Khlebopros, V. A. Okhonin, A. I. Fet *Catastrophes in Nature and Society: Mathematical Modeling of Complex Systems*. World Scientific, 2007.

каждого участвующего в глобальной игре индивида. Это типичная задача “оптимизации” (или, на математическом языке, задача вариационного исчисления). Весьма вероятно, что в указанных выше условиях оптимальным экономическим поведением индивидов будет как раз описанный выше “независимый эгоизм”; но я не знаю строгого доказательства такой теоремы. Если бы она была верна, это объяснило бы необычайную эффективность свободного рынка, замеченную Адамом Смитом, и пролило бы свет на эффективность биологической эволюции, во многом идущей аналогичными путями. Мы ещё вернемся к этой аналогии.

Итак, “принцип Адама Смита” может превратиться в “теорему Адама Смита”, но, как мне кажется, это представляет интерес лишь для профессиональных учёных. Для широкой публики достаточно и того, что в течение более ста лет “свободный” рынок — который в то время был и в самом деле в значительной степени свободным — привёл к необычайно быстрому росту экономики. Конечно, на это можно возразить, что главной причиной этого роста был «технический прогресс», небывалая в истории последовательность научных открытий и изобретений. Мы рассмотрим дальше эту сторону “свободного капитализма”. Во всяком случае, Адам Смит создал важную научную теорию, обладающую всеми признаками таковой: он открыл путём наблюдения эмпирическую закономерность, подтвердившуюся на обширном материале, и дал ей некоторое интуитивное объяснение; впоследствии же оказалось возможным дать этой закономерности обоснование с помощью математических моделей. Тем самым он создал основы экономической науки — ещё мало развитой науки, несомненно приобретающей статус естественной, а не “гуманитарной”. Для экономической науки Адам Смит сыграл ту же роль, какую Фарадей сыграл для электродинамики, угадав в естественной форме основные её закономерности, которым впоследствии придал математическую форму Максвелл.

Конечно, экономическая наука ещё не дождалась своего Максвелла, но она несомненно идёт по тому же пути, и поэтому заслуживает того же подхода, какой применяется к научным теориям в собственном смысле этого слова. К ней безусловно нельзя относиться, как к построениям философов и историков, принимаемым или отвергаемым в значительной степени в зависимости от культурной традиции и личных вкусов.

Ограничения принципа Адама Смита. Каждая научная теория имеет свою *область применимости*, вне которой она теряет смысл или перестаёт соответствовать экспериментальным данным.

В дальнейшем это последнее выражение мы заменим менее точным, но кратким: перестаёт быть верной¹. Для большинства научных теорий границы их применимости уже известны, или их можно с некоторой вероятностью предполагать. Пожалуй, лишь в случае арифметики имеющаяся формальная теория пока считается применимой ко всем явлениям природы. Но уже планиметрия Евклида, правильно описывающая небольшие куски земной поверхности и применяемая при составлении планов инженерных сооружений, непригодна для географических карт, вследствие сферической формы Земли. Стереометрия Евклида достаточно точно описывает геометрические соотношения в не слишком больших областях пространства, где нет большой концентрации тяжёлых масс; в космологических вопросах эта теория должна быть заменена более общей “римановой” геометрией. Таким образом, даже математические теории не “универсальны”: они применимы лишь в определённых условиях, а вне этих условий теряют силу.

Обратим внимание ещё на то обстоятельство, что никакая теория (кроме, может быть, арифметики) не является абсолютно точной даже для той области явлений, где она считается применимой; все теории справедливы лишь приближённо. Далее, граница применимости “теории” не может быть проведена столь резко, как этого требует заключённый в кавычки термин: для каждого приложения теории надо решить, достаточно ли её точность в данном случае. Планиметрия Евклида достаточно точна для составления плана города, но уже нуждается в поправках даже при составлении карты небольшой страны.

Классические примеры применимости и неприменимости теорий доставляет физика. Механика Ньютона достаточно точна, если все рассматриваемые тела движутся со скоростями, намного меньшими скорости света; если это условие не выполнено, надо пользоваться специальной теорией относительности, что и делают инженеры при проектировании синхрофазотронов. Специальная теория относительности становится неприменимой при высокой плотности тяжёлого вещества, и в этих случаях должна быть заменена общей теорией относительности, способной описывать с большой точно-

¹Заметим, что в таких случаях формальная математическая теория может оставаться верной как логическая конструкция, но уже неприменимой к описанию эмпирической действительности. Так, механика Ньютона логически безупречна и может быть изложена в математической форме, но при очень больших скоростях (сравнимых со скоростью света) перестаёт правильно описывать движения тел.

стью такие космические объекты — такие, как нейтронные звезды и “чёрные дыры”. Но и эта теория, по-видимому, недостаточно точна для описания явлений, в которых нельзя пренебречь квантовыми эффектами.

Конрад Лоренц проницательно изображает, каким образом даже самые великие исследователи — биологи и психологи — выходили за пределы применимости своих теорий, впадая в заблуждения. Он приводит три поучительных примера. Первый из них — “теория тропизмов” французского биолога Жака Лёба, изучавшего простейшие инстинктивные движения насекомых, такие, как влечение бабочек к источнику света. Эти “автоматические” реакции, которые Лёб назвал тропизмами, он пытался положить в основу объяснения всего поведения животных. Второй пример — теория “условных рефлексов” И. П. Павлова. Это важное открытие, сделанное в специальных условиях лабораторного наблюдения, Павлов считал достаточным для объяснения поведения животных в естественных условиях, откуда развилась псевдонаука, называемая “бихевиористской психологией”. Наконец, Зигмунд Фрейд, исследовавший человеческое подсознание методами психоанализа, допустил ряд ошибок, переоценив объяснительную силу своей теории, в частности, в её неосновательных применениях к социальным и историческим явлениям.

К этим примерам можно добавить известные заблуждения Маркса, переоценившего объяснительную силу разработанной им модели капиталистического производства. Модель эта, изложенная на запутанном архаическом языке в его книге “Капитал”, уже в наше время была изложена фон Нейманом на математическом языке (и в этом виде уложилась в две страницы!). В современной математической экономике она называется “моделью Маркса-фон Неймана” и занимает место среди других реалистических моделей, описывающих частные аспекты капиталистического производства. Маркс, не понимая границ применимости этой модели, экстраполировал её в будущее и положил в основу предсказаний уже не научного, а “пророческого” характера. Этот пример иллюстрирует опасность экстраполяции научных теорий за пределы той действительности, из которой они возникли.

Ограничения теории Адама Смита, которые мы дальше рассмотрим, можно разделить на три группы:

А. Свободный рынок, положенный в основу этой теории, давно уже не существует, прежде всего вследствие широкой государственной регламентации промышленности и торговли.

Б. Безграничное увеличение производства, очевидно, невозможно, вследствие ограниченности ресурсов Земли и замедления роста населения. Кроме того, если целью (“выигрышем”) глобальной экономической игры является рост производства, то свободный рынок, рассматриваемый как такая игра, вряд ли может стабилизировать экономику на долгое время.

В. “Моральные правила”, лежащие в основе свободного рынка, предполагают исторически сложившиеся психические установки человека, возникшие задолго до капитализма. Эти установки в повседневном языке обозначаются как “честность”, “добросовестность”, “надёжность”, а на языке рынка означают, как уже было сказано, доступность информации. Но эти древние психические установки перестают воспроизводиться в условиях распада культуры.

Регламентация экономической деятельности. Передо мной лежит последний номер “Уолл-стрит джорнел”, где мне показали весьма поучительную табличку: “Защита отечественного рынка”. В её левом столбце указано, “насколько в среднем субсидируются цены на продукты, в мировом масштабе”. Процент субсидий составляет для пшеницы 48 %, для сахара — тоже 48 %, для говядины 35 %, для баранины 45 %, для риса — целых 86 %, но для птицы — всего 14 % . . . и т. д. В правом столбце сообщается, что субсидии на сахар составляют в Швейцарии 85 %, в Японии 71 %, в Европейском Союзе 59 %, в Соединённых Штатах 36 %, и только в Австралии и Польше — по 9 %. Субсидии выплачиваются государством, которое регулирует таким образом цены на важнейшие продукты питания, уравнивает иностранную конкуренцию и, как предполагается, заботится об интересах потребителей и фермеров. Конечно, государственные чиновники получают затрачиваемые для этого деньги в виде налогов с населения, поскольку, за исключением “социалистических” стран, государства не владеют предприятиями и не имеют “собственных” доходов. Таким образом, регулирующая функция государства заключается здесь в перераспределении доходов населения. Если бы при этом оказалось, что немногочисленная верхушка богатых людей платит непропорционально большую часть налогов (но, конечно, потребляет продукты питания пропорционально своей численности), то можно было бы подумать, что современными государствами управляют “социалисты”. Ещё важнее государственный контроль над ценами на основные промышленные изделия, например, на нефть и сталь, и различные виды контроля над финансовым рынком, начиная с официального ограничения “учётного процента”, т. е. цены кредита.

Разумеется, весь этот контроль не достигает уровня, какой был в “соцстранах” — где попросту запрещалась любая экономическая деятельность, не запланированная государственными учреждениями и не руководимая чиновниками. Как известно, и там продолжала существовать частная экономическая деятельность, которая преследовалась и называлась “подпольной», или “теневой” экономикой. В обоих случаях, конечно, можно было откупаться от ограничений взятками. Разница состояла в том, что в “капиталистической” системе границы частной инициативы были установлены законом, а в “социалистической” системе делали вид, будто её вовсе нет. Можно считать, что в обоих случаях, испытанных в XX веке, это была “смешанная” экономика, но с различным составом “смеси». “Восточная” смесь оказалась несостоятельной и проиграла экономическое соревнование, в котором она — согласно Марксу — как раз должна была продемонстрировать своё превосходство. “Западная” смесь, после устранения пережиточных режимов “тоталитарного” типа, где также вмешательство государства было чрезмерно и хозяйство направлялось неэкономическими мотивами, оказалась способной выработать устойчивую систему производства с очень высоким уровнем потребления, при соблюдении элементарных юридических прав человека.

Предшествующая форма “капитализма”, не знавшая приведённых выше механизмов государственной регламентации, тоже отнюдь не была “неограниченно свободной” рыночной системой. В XIX веке государство сохранило свои унаследованные от феодализма функции, которые всегда считались оправданием самого существования государственной власти: охрану страны от внешнего нападения, для чего содержались армия и флот; охрану порядка и соблюдение законов, для чего содержались судебные учреждения и полиция; контроль над денежным обращением, таможенный контроль, содержание дипломатической службы, содержание почтовой службы, и некоторые другие функции, вроде составления карт и демаркации границ. Сверх того, в федеративных государствах, какими были Швейцария, Германская империя и Соединённые Штаты, государственная власть должна была поддерживать равновесие между членами федерации. Все эти функции стали настолько неотделимыми от понятия государства, что их устранение кажется невозможным — или делом отдалённого будущего. Чтобы не впасть в абстракции, будем считать, что в обозримом будущем государство всё ещё будет существовать и сохранит некоторые из перечисленных традиционных функций. Чтобы их осуществлять, государство

взимает налоги. В XIX веке налоги были не столь обременительны, как в XX, когда к традиционным функциям государства прибавились новые регулирующие функции, описанные выше. Но всё же препрятательства о налогах были главным содержанием работы американского конгресса. Даже в Соединённых Штатах такие формы государственного вмешательства в экономику, как таможенные тарифы, налоги, законы о торговле, об отношениях между штатами, о железных дорогах и т. д., были важной частью рыночной системы. Но, конечно, рынок был в XIX веке свободнее, чем в XX, и производство развивалось быстрее. В то же время уровень потребления на душу населения был заметно ниже, а “права человека” для значительных групп населения вообще не имелись в виду.

Гипотеза так называемых “либертарианцев” представляет экстраполяцию описанного опыта: предполагается, что чем меньше государственное вмешательство в экономику, тем быстрее будет она развиваться, и тем выше будет уровень “гражданских свобод”. Мы рассмотрим эту гипотезу в дальнейшем.

Экономика как единая система. Экономика некоторой страны составляет, с точки зрения кибернетики, очень сложную систему. Сложность системы, в смысле кибернетики, определяется не только числом входящих в неё подсистем и их сложностью, но ещё более сложностью и разнообразием связей между ними. В конце XVIII века Джефферсон представлял себе возможную и желательную структуру американской экономики как соединение большого числа сельскохозяйственных ферм, в основном производящих единственный поставляемый на рынок товар — зерно, хлопок, табак и т. п., — но обеспечивающих большинство своих потребностей. Он не хотел чрезмерного развития городов и промышленности, поскольку видел в Европе, к каким моральным и санитарным условиям это могло привести; по его мнению, лучше было по-прежнему ввозить необходимые орудия и машины из-за границы. Правительства штатов, избираемые гражданами-фермерами, должны были быть малочисленны и дешёвы, а федеральные власти и того меньше. Простота всей системы, как он её себе представлял, ироническим образом напоминает выдуманное Свифтом государство лошадей — ироническим, потому что Свифт был тори, а Джефферсон, в терминах того времени, крайний либерал. Трудно сказать, как могла бы сложиться культурная жизнь в такой системе, но надо иметь в виду, что “фермеры” в смысле Джефферсона скорее были бы чем-то вроде английских сквайров, каких он видел в Виргинии, так что это была бы несложная аристократическая олигархия.

Даже в то время столь простое общество не могло существовать.

Развитие экономических связей совершенно изменило это общество. Самообеспечивающиеся фермерские хозяйства, покупавшие, по мере износа, одежду, обувь, железные орудия и изредка предметы роскоши, ушли в прошлое. Эффективность производства была куплена ценой разделения труда и жёсткой специализации. Классической страной капитализма была Англия, но в Америке, не стеснённой пережитками феодализма, эти процессы шли быстрее всего: она стала страной массового дешёвого производства, усвоив все изобретения Европы и дополнив их своими собственными. Вместе с ресурсами девственного в то время континента, массовое производство создало богатство Соединённых Штатов, в XX веке постепенно распространившееся на большую часть населения. Уровень потребления в Америке стал наивысшим в мире, и на него стали ориентироваться все развитые страны. Впрочем, этот материальный прогресс не сопровождался развитием духовной культуры, которая опиралась на относительно бедную традицию переселенцев и, за исключением узких элитарных сред, оста валась примитивной.

Специализация производства означает огромное расширение рынка и усложнение торговой информации. Как правило, потребитель вынужден полагаться на рекламу производителей, достоверность которой он не может проверить. Конечно, он не станет покупать товар совсем уж плохого качества, или купит его только один раз; но часто он не в состоянии произвести сравнительную оценку товаров, вырабатываемых с помощью сложной технологии или представляющих собой сложные технические устройства. Отсутствие достоверной информации уже само по себе делает рынок несвободным. Потребитель, вечно занятый и сберегающий время, покупая в больших торговых центрах, разучается выбирать и чаще всего выбирает то, к чему привык и что ему чаще всего попадает на глаза. Хотя продукты высокого качества стоят дороже, удивительно, каким образом американцы соглашаются есть невкусные фрукты и овощи, невкусный до отвращения хлеб, а часто и достаточно безвкусное мясо. Столь же ограничена свобода выбора в отношении промышленных товаров: американцы одеваются шаблонно и небрежно, следуя навязываемой моде. Были интересные попытки независимой экспертизы и информации — общества потребителей, но, по-видимому, основная масса потребителей примирилась с тем, что ими манипулируют. Наряду с государственной регламентацией, политика крупных производителей и их реклама уни-

чтожает или, во всяком случае, крайне ограничивает предпосылки свободного рынка.

Государственная бюрократия и бюрократия крупных компаний связывают экономику страны, обесценивают личную инициативу, накладывают на каждом шагу условия, не имеющие сколько-нибудь очевидного смысла для индивида; эти условия воспринимаются им как ограничение его свободы.

К этому следует добавить неэкономические расходы государственного аппарата, пытающегося заглушить недовольство беднейших слоев населения (в Америке — чёрных). Соответствующие программы “социального обеспечения” финансируются за счёт налогов, что также не имеет ничего общего со свободным рынком.

Свободного рынка давно уже нет. Можно сказать, что в передовых западных странах установилась *система планируемой экономики с некоторыми степенями свободы для производителей и потребителей*. Стагнация экономики в этой системе объясняется теми же причинами, что и в случае более жёсткой плановой экономики “социалистических” стран.

Можно предполагать, что *самая сложность* экономической системы делает её неэффективной. Разделение труда и специализация функций до некоторой стадии развития способствовали росту производства, но затем чрезмерная сложность возникшей при этом системы остановила экономический рост. В сложных системах процессы планирования и управления становятся трудоёмкими видами деятельности, часто занимающими больше рабочей силы, чем производство в узком смысле слова. А поскольку эти процессы, в отличие от производственных, совсем не умеют планировать, они приобретают паразитический характер. Короче можно сказать, что *слишком сложная система перестаёт действовать*.

Экономические кризисы и государственное регулирование. С другой стороны, превращение экономики в единую машину способствовало её устойчивости. Мы уже говорили о работе обратных связей в системе свободного рынка, вызывающих колебания цен и уровней производства. Колебания — основная закономерность систем с обратными связями. В нормальных условиях уровень производства некоторого товара колеблется вокруг среднего (рис. 2а) или стабилизируется после затухающих колебаний (рис. 2б). Если обратные связи расстраиваются, то есть производители почему-либо не реагируют на сигналы рынка или такие сигналы до них не доходят, может возникнуть нарастающее колебание: происходит кризис перепроизводства, сопровождаемый резким спадом (рис. 2в).

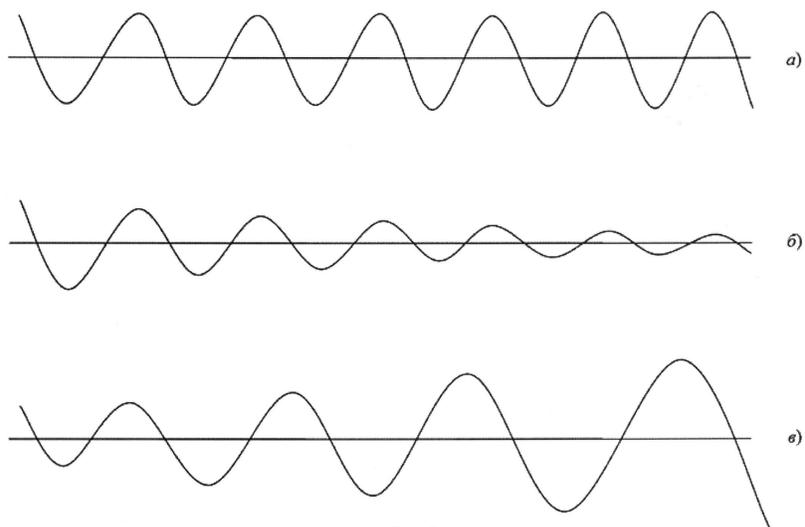


Рис. 2

Такой кризис может произойти, например, если фермеры получают государственные субсидии, поддерживающие цены независимо от сбыта, или если искусственно поддерживается какое-нибудь “национальное” производство, в расчёте вытеснить иностранных конкурентов. Такая негибкая политика чиновников может вызывать перепроизводство и, тем самым, падение цен. Но попытки свалить все кризисы на государственное вмешательство неосновательны. В течение XIX века, когда государственное регулирование производства было ещё неизвестно, происходили время от времени опустошительные кризисы, захватывавшие многие страны и не допускающие простого объяснения. Дело в том, что “свободный рынок” не всегда действует с автоматизмом, который Адам Смит приписывал его “невидимой руке”: рынок — и в особенности финансовый рынок — иногда “перегревается”, длительный период благополучия притупляет бдительность к происходящим переменам, или спекуляции создают видимость повышенного спроса. Конечно, всё это следствия нарушений “свободы рынка”, предполагающей полноту информации и немедленную реакцию на информацию; такие нарушения могут происходить — и происходили — при отсутствии внешнего вмешательства: идеального рынка быть не может. Великий кризис 1929 года возник после периода “благополучия” двадцатых годов в виде биржевого краха, и лишь затем, в 1930 го-

ду, некомпетентные меры правительства Гувера (субсидии фермерам) усугубили этот кризис. Импровизации Рузвельта и его советников были направлены не столько на регулирование производства, сколько на смягчение вызванной кризисом социальной катастрофы. В то время экономисты недостаточно знали, какие меры могли бы подействовать на самый кризис. Лишь во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы произошла перемена, вследствие работ Тинбергена и его сотрудников о “циклах деловой активности”. Специалисты по математической экономике исследовали “глобальное” поведение рынка теми же методами, которые давно уже применялись при изучении технических систем с автоматическим регулированием¹. Оказалось, что нарастающие колебания конъюнктуры, изображенные на рис. 2в, можно “демпфировать” (подавить) изменением некоторых основных параметров рынка, например, небольшого числа цен на “базовые” продукты, учётного процента, и т. д. Такие ограничения (неэкономические, в том смысле, что они не обязательно мотивируются спросом на специфические продукты) может вводить государство. Тем самым оно гораздо больше вмешивается в экономику, чем при традиционной защите рынка таможенными мерами, что и вызывает в таких случаях негодование идеологов консервативного направления (т. е., в традиционных терминах, “классических либералов”). Математические экономисты отвечали на это, что применение подобных “еретических” мер могло бы предотвратить великий кризис 1929–1932 годов, а вместе с ним, вероятно, фашизм и мировую войну. Когда я прочёл много лет назад такие претензии, я не поверил этому триумфу математики. Но с тех пор экономисты научились применять простейшие меры государственного регулирования, и общие кризисы ни разу не повторялись в течение полувека, тогда как в прошлом они происходили каждые 20–30 лет. Вряд ли можно объяснить это другими причинами, поскольку экономические эксперты, консультирующие правительства, хорошо знают, что делать для предотвращения кризисов, и делают это. Если попытаться описать, что умеют делать нынешние экономисты, то их навыки как раз в том и заключаются, что они охраняют мировой хозяйственный порядок от коллапса, зная некоторые качественные характеристики происходящих явлений и выполняя расчеты по меняющимся данным. Когда “руководители большой семёрки” собираются на свои

¹Эти работы предшествовали исследованиям Винера, исходившим из той же аналогии и положившим начало кибернетике (1948 год).

совещания, они просто ставят свои подписи под решениями этих экономистов.

Таким образом, “государственное вмешательство” приобрело уже всемирные масштабы. Резюмируя нынешнее положение в мировой экономике, можно описать его как управляемую стагнацию в группе “передовых” стран, чиновники которых пытаются отгородить эти страны от остальной части земного шара, с непредсказуемой политикой и экономикой, и сохранить привычный уровень потребления в своих собственных странах. Вероятно, это им будет удаваться ещё в течение нескольких десятилетий, но в конечном счете, как мы увидим, эта «смешанная экономика» обречена на развал, а вместе с нею и система управления, называющая себя “демократией”.

Границы экономического роста. Прежде всего, ресурсы Земли ограничены, хотя и не совсем в том смысле, как любят говорить современные политические публицисты. Я не буду говорить здесь об “исчерпании ископаемого сырья”, потому что панические прогнозы на этот счёт не подтверждаются: этих запасов хватит ещё на несколько столетий, даже при нынешних способах добычи и использования. Я оставляю также в стороне удорожание материалов: если и верно, что оставшиеся в земле их запасы очень велики, то наиболее выгодные залежи, поддающиеся дешёвой разработке, в ряде стран исчерпаны.

Менее очевидны (и менее известны) ограничения, зависящие от конечных размеров Земли и от последствий нашей технологии. Начну с углекислого газа. Все знают, что накопление CO_2 в земной атмосфере приводит к повышению средней температуры Земли, и что от этого должны произойти тяжёлые последствия: не только изменение климата, но и затопление ряда прибрежных районов, таяние полярных льдов и т. д. Но журналисты обращают внимание на второстепенную сторону дела: верно ли, что содержание CO_2 в атмосфере возрастает из-за её промышленного загрязнения? По-видимому, никто не сомневается в том, что предприятия выбрасывают в воздух огромные количества этого газа; но многие уверяют, что это не так уж много, что растения могут поглотить газ, или что ещё больше его выбрасывают вулканы. Но вулканы от нас не зависят, растения остаются теми же, только их всё меньше, между тем как промышленные выбросы CO_2 непрерывно растут, и в последние десятилетия растут экспоненциально. Постоянная температура земной поверхности означает, что Земля получает от Солнца столько же энергии, сколько излучает. Но если содержание CO_2 будет расти, то это равновесие (оба члена которого от нас не зависят!) *должно* нарушиться, как это

следует из простых физических расчётов, не связанных ни с какими моделями. Это вывод из термодинамики, и он неизбежен. Все способы удаления CO_2 из атмосферы привели бы только к расходу энергии, которая всё равно ушла бы на нагревание атмосферы. Короче, строгие физические расчёты показывают, что дальнейшее (и тем более возрастающее) сжигание углеродного топлива приведёт к *принципиально неустраняемому* изменению состава атмосферы и к перегреву поверхности Земли.

Одним из следствий перегрева будет повышение средней скорости молекул кислорода, которая и так уже близка к “скорости убегания”, при которой кислород начнёт покидать атмосферу. Если сжигание угля, газа и нефти продолжится, то через несколько десятилетий все эти последствия станут очевидны.

Выброс углекислого газа — наиболее массивный из всех видов засорения атмосферы, но, может быть, не самый опасный. Вопрос об “озонных дырах” ещё не выяснен. В этом случае у нас нет строгого расчёта, и мы вынуждены опираться на правдоподобие модели. В таких случаях у разных исследователей получаются разные результаты, по крайней мере, на первом этапе. Надо ли считать такое положение несерьёзным? Всё зависит от величины риска. Если у вас есть два варианта поведения, один из которых, по мнению некоторых добросовестных и компетентных людей, ведёт к гибели, то вы скорее всего выберете другой вариант, даже если другие, не менее компетентные люди вас успокаивают. Атмосфера Земли, как мы теперь знаем, хрупка. Её равновесие зависит от факторов, которые ещё мало изучены; мы знаем только, что она выдерживает естественные процессы, которые были всегда. Но предприятия выпускают в воздух химические вещества, каких природа не производила никогда, и “озонные дыры” — только один пример явления, опасность которого уже привлекла внимание. “Консерваторы” пытаются отделаться от этих опасностей доводами “здорового смысла”, которые сводятся к тому, что до сих пор природа компенсировала все небрежности человека. Но раньше человек и сам был частью природы, а теперь он способен производить воздействия, сравнимые с силами природы — атомная бомба могла бы этому научить. И что хуже всего, эти воздействия иногда невозможно предвидеть. Верно, что пропаганда “зелёных” принимает зачастую фанатический характер, компенсирующий утерянные религиозные страсти. Но верно и то, что высмеивающий их Раш Лимбо говорит о вещах, которых точно так же не понимает. Разница в том, что “зелёные” загрязняют и без того перегруженное мифами обще-

ственное сознание, а промышленность может в конце концов вслепую нажать спусковой крючок механизма, который погубит нашу Землю. При оценке числа возможных цивилизаций во Вселенной учёные исходят из того, что значительный процент высокоразвитых цивилизаций погибает от собственной техники. Эти рассуждения, конечно, больше говорят об опасениях наших учёных, чем о каких-нибудь марсианах.

Смысл экономического роста. Господствующий на Западе экономический материализм превратился в нечто вроде единственной идеологии. Время от времени ещё вспоминают, что есть и другие “ценности”, кроме удовлетворения физических потребностей. Особенно часто вспоминают о “свободе”, но чаще всего — пользуясь выражением Фромма — о “свободе от”, а не “свободе для”; иначе говоря, люди только жалуются на ограничения, но не способны пользоваться наличной свободой для каких-либо сознательных целей.

Представление, будто культура сама собой вырастает на почве материального благополучия, есть в точности — или в ещё более грубом виде — марксистское представление о базисе и надстройке. Люди, которые его придерживаются, не верят в человеческий разум, отводя ему служебную роль — создания материальных средств для “чего-то”, что они сами не в состоянии назвать. В сущности, такая позиция — это признание поражения в жизненной борьбе. Нормальный молодой человек, пробуя свои силы, обычно мечтает о “настоящем” деле, о профессии, где он сможет проявить свои способности, добиться чего-то нового, полезного для людей, или просто прекрасного. Позже он “разочаровывается в жизни”, погружается в неизбежные материальные заботы, а юношеские мечты уходят в область более или менее приятных воспоминаний. Должна ли эта “обыкновенная история” стать историей человечества? Надо ли признать, что юность человеческого рода уже миновала, что все положительные идеалы — или, на современном языке, “высшие ценности” — пора уже сдать в архив, под ярлыком “утопий”?

Складывается впечатление, что цивилизация XX века привила людям исключительный интерес к *производству и потреблению вещей*. Кеннет Кларк в своем обзоре развития цивилизации называет эту установку “героическим материализмом”, но я заменил бы здесь чересчур лестное для неё прилагательное на что-нибудь более трезвое, например: “безудержный материализм”, или “принудительный материализм” (“*compulsive materialism*”). Все политические споры теперь сосредоточились на том, как видоизменить систему управления экономикой, чтобы увеличить выигрыш глобаль-

ной экономической игры — общий объём производства. Наиболее популярный лозунг нынешних “консервативных реформистов” сводится к уменьшению налогов и мотивируется очевидным паразитическим перерождением бюрократического аппарата, не знающего другого способа решения социальных проблем, кроме капиталовложений, и придумывающего всё новые капиталовложения, чтобы оправдать собственное существование. Предположение, что можно улучшить образование и медицинское обслуживание, вкладывая как можно больше денег в государственные учреждения, придуманные для этой цели, очевидным образом провалилось — и прекращение этих проектов не вызвало бы особых последствий. Не так просто обстоит дело с “уэлфером”, которым успели уже развратить значительную часть неквалифицированных рабочих: устранение этой системы требует неэкономических воспитательных мер, о которых никто не думает. Для старых и больных простая отмена государственных пенсий была бы катастрофой, к тому же непонятной, если они всю жизнь вносили деньги в пенсионные фонды. Наконец, предположение, что можно вообще обойтись без государственного вмешательства в экономику, представляет собой ретроградную утопию совершенно того же рода, что восстание луддитов против машин, или возродившееся в наши дни ностальгическое влечение XVIII века к жизни “благородных дикарей”. Экономическая система стала намного сложнее, чем была сто лет назад. При существующей “смешанной экономике” она не разваливается, а более или менее безопасно топчется на месте, обеспечивая населению — например, в Соединённых Штатах — сносные для него условия жизни. Конечно, никто не пойдет на рискованный эксперимент возвращения к “неограниченному” капитализму. Вся нынешняя система давно уже приспособилась к государственному регулированию, *удерживающему некоторые основные параметры экономической среды в устойчивом положении*. Можно ли рассчитывать, что после полного устранения регулирования сразу же возникнут обратные связи, которые его заменят? Не кажется ли более вероятным, что эта “шоковая терапия” приведёт к возрастающим колебаниям, к кризисным явлениям, социальные последствия которых вызовут неэкономические формы регулирования — в лучшем случае вроде “нового курса” Рузвельта, а в худшем — что-нибудь похожее на диктатуру? Массы людей, жалующихся теперь на вездесущее вмешательство государства, после резкого расстройтва производства, закрытия предприятий и обесценения денег станут приветствовать спасительные действия каких-нибудь решительных лидеров, дающие

немедленное облегчение. Может быть, люди и пошли бы на жертвы, если бы была уверенность, что на месте разрушенной системы сама собой возникнет лучшая. Но это всего лишь недоказуемая догма “религии Адама Смита”.

Рост системы не сводится к простому повторению. Условия жизни, удобные для поросёнка, не обязательно подойдут для слона. Там, где нужно серьёзное исследование, нельзя руководствоваться ностальгией по прошлому.

Симптомы ностальгии. Идеология безудержного роста вызывает неизбежную реакцию, которая выглядит куда более “консервативной”. Нам предлагают примириться с ограниченностью естественной среды человека и наличных ресурсов. Замкнутый цикл производства, где все отходы будут повторно использоваться в виде сырья, разрешит проблемы оскудения природы. Население стабилизируется: будет, наконец, признано, что назначение нашего вида состоит не в численном размножении. Вместо внешней экспансии человечество обратится к усовершенствованию своей “духовной” культуры (неясно, какой и каким образом), для чего самым благоприятным условием будет содержание “в замкнутом помещении”.

В эту концепцию я не верю. Человек по своей природе агрессивен, и запереть его в замкнутом стабильном мире не удастся. В лучшем случае можно сублимировать его космическую жадность, направив её на бескровное завоевание “новых территорий”. Земля в действительности полна неосвоенных цивилизацией областей. Но страны, заселённые “отсталыми” народами, не поддадутся экономическому освоению без болезненных конфликтов. Если продолжатся нынешние тенденции развития, то разрыв в “уровне жизни” между Западом и остальным человечеством будет возрастать, а культурное и моральное развитие обеих сторон не изменится. Нетрудно предвидеть возникновение воинственного сепаратизма, примеры которого можно уже видеть у мусульман и у американских чёрных. Конечно, такое сопротивление “западному образу жизни” не образует серьёзной военной силы, если только “Запад” сохранит своё единство. Но проведение операций вроде кувейтской, с кровавым подавлением “чужих” племён, неизбежно приведёт к отказу от словесного “гуманизма” западных стран и к перерождению их “демократии” в колониальный расизм.

Более серьёзная задача привлечения всего населения мира к высшей культуре вряд ли может быть даже поставлена перед западной публикой, одичавшей в своем беличьем колесе “расширенного потребления”. Если вы приметесь учить “цветные” народы делать ве-

щи, вы подорвёте сбыт своих товаров; но чему же ещё вы их можете научить, растеряв всё знание вашей культуры? Жалкий провал всех затей вроде программ ЮНЕСКО, “корпуса мира” и т. п. иллюстрирует бессилие нашей разлагающейся цивилизации.

Неудивительно, что ностальгия по прошлому приняла на Западе уродливую форму “космических” фантазий, чем и объясняется распространение так называемой “научной фантастики”. Тысячи авторов, большей частью вполне бездарных, поставляют публике низкопробное чтиво, эксплуатируя лучшие человеческие чувства: стремление к знанию, к подвигу, к расширению своей личности. Но что могут предложить эти писатели? Вряд ли можно представить себе лучшее доказательство бессилия нашей увядшей культуры, чем её “мечты”, воплощенные в “*science fiction*”. В самом деле, эти авторы населяют будущую Вселенную жуликами и бандитами, скопированными с героев другого популярного жанра — детектива. Невольно вспоминается изречение Писарева: “Никакой автор не может создать героя умнее и интереснее самого себя”. В лучшем случае авторы этого жанра пересаживают в космос идеализированное прошлое: храбрые фермеры осваивают астероиды, новые плантаторы дисциплинируют невольников-роботов, а шерифы верхом на ракетах носятся по Галактике, наводя порядок. Западная цивилизация неспособна придумать себе будущие цели! Она не видит и нынешних, боясь что-нибудь изменить в своем комфортабельном оцепенении. Но как долго может продлиться этот комфорт?

Моральные правила и их истощение. Чтобы разобраться в этом, мы должны вернуться к предпосылкам доктрины Адама Смита. Как мы уже видели, “свободный рынок” предполагает отсутствие внешнего вмешательства, что никак невозможно при далеко зашедшем государственном регулировании экономики. Далее, Адам Смит предполагал выполнение некоторых “моральных правил”, отнюдь не сводящихся к соблюдению установленных государством законов; эти правила добропорядочного поведения производителей, торговцев и потребителей должны обеспечивать, в современной терминологии, полную информацию о себестоимости и качестве товаров, о спросе и предложении. Конечно, Адам Смит вовсе не думал, что эти “моральные правила” происходят от разумного поведения индивидов, стремящихся обеспечить наилучшие результаты глобальной рыночной игры. Он знал, что каждый выступающий на рынке индивид попросту стремится получить как можно больший выигрыш в своей собственной, локальной игре, а общие условия рынка его интересуют лишь в применении к этой его личной цели. Если бы

кто-нибудь из “игроков” не проявил должной “морали”, то вовсе не потому, что не учёл своей личной заинтересованности в поддержании свободного рынка; и если большинство “игроков” соблюдает “моральные правила”, то вовсе не вследствие разумного расчёта. Никто не рассчитывает свою “мораль”: её получают в детстве, усваивая от воспитателей традицию своей культуры. Человек добросовестно ведёт свои дела не потому, что опасается реакции своих контрагентов: этот вторичный мотив ненадёжен и не может заменить первичной установки, какую мы находим, например, у первых капиталистов Нового времени — верующих протестантов. Капиталист в смысле Адама Смита мог быть безжалостен в преследовании своих выгод, но был добросовестен в выполнении контрактов.

Откуда же взялись “моральные правила”? Они намного древнее товарного производства и рынка. Как я показал в первых главах этой книги, все этические понятия и правовые системы, какие можно обнаружить во всевозможных нынешних и прошлых культурах, имеют инстинктивное происхождение и ведут своё начало от правил *племенной морали*, сложившихся в эпоху неолита у наших далёких предков. В основе их лежит социальный инстинкт, о котором уже была речь, и инстинкты, ограничивающие действие инстинкта внутривидовой агрессии у человека. Но у человека, в отличие от всех других животных, есть не только *генетическая* наследственность, но и *культурная*, без которой наш вид не может существовать: без обусловленного культурной традицией воспитания индивид не способен следовать своим инстинктивным побуждениям, то есть *не может быть человеком*. В крайней форме это проявляется у детей, совсем не получивших воспитания в раннем детстве, из которых выходят нежизнеспособные идиоты. В условиях распада культуры нарушения в передаче культурной традиции приводят прежде всего к деградации морали, которую историки называли “падением нравов”.

Около 300 г. до Р. Хр. греческая культура достигла распада, вызывавшего у римлян глубокое презрение. По их описаниям, *graeculus* (“гречик”) был скользкий ловкач, на слово которого нельзя положиться, человек без чести и совести, заботящийся только о своей безопасности и удовольствиях. Комедии Менандра и Герода, найденные уже в наше время в песках Египта, вполне подтверждают такую оценку. Конечно, ещё за сто лет до того греки не были таковы — об этом нам рассказал Фукидид. А в 300 г. после Р. Хр. сами римляне производили на варваров точно такое же впечатление: они уже не способны были защищать границы империи, нанимая для

этого германцев, и плохо соблюдали договоры. Примеры этого рода можно без конца умножать.

Эпоха, которую мы переживаем, отличается теми же чертами упадка, которые никто и не думает отрицать. Как и во всех подобных случаях, упадок Западной культуры (прежде называвшейся христианской) начался с отмирания религии. В Соединённых Штатах, где культурная традиция сложилась в упрощённом виде, поскольку многие социальные связи и обычаи не воспроизводились на новом континенте, основой морального воспитания была Библия. Семейная Библия, куда записывалось рождение детей, по которой учили читать, Библия, образы которой с начала жизни впитывались в память ребёнка из домашнего чтения — что было важной функцией отца семейства, — в этом столетии утратила свой сакральный характер, стала чужой и скучной. Самый образ отца, носителя культурной традиции, потерял своё прежнее значение. Большие города с их космополитическим населением, отчасти пришедшим извне западного культурного круга, стали очагами “свободомыслия”, моральной двусмысленности и “свободы нравов”. Наконец, в середине XX века произошла “сексуальная революция”, положившая конец христианской семье. С этого времени отношения между полами больше не связывались сакральными запретами, в рамках которых сложилось переживание «любви». Это переживание всё больше заменяется более или менее кратковременными связями, и если заключается брак, то его продолжительность зависит от разных интересов обеих сторон.

Теперь основная масса трудового населения в странах Запада состоит из людей, выросших уже после “сексуальной революции” и подвергшихся влиянию “культурного релятивизма” — псевдонаучной доктрины, настаивающей на принципиальном “равноправии” всех культур. Практически это сводится к циничному пренебрежению своей собственной культурой, высшие ценности которой опускаются до уровня их примитивных аналогов. Особенно вредное влияние производит, начиная с детства, телевидение, описывающее поведение “власть имущих” в безжалостно циничных тонах: перед глазами подростка мир взрослых изображается ещё худшим, чем он есть. Ясно, что для современного западного человека любой контракт часто имеет лишь ту связывающую силу, какую представляет угроза юридической ответственности. Примером недобросовестности служат налоговые власти, прямо вынуждающие налогоплательщиков уклоняться от нелепых поборов.

Для такого человека соблюдение “моральных правил” уже не

представляет дела чести и собственного достоинства, а зависит от внешних обстоятельств — в конечном счёте от перспективы суда. Но и судьи руководствуются столь же ненадёжной моралью, так что от прочных, укоренённых в традиции правил поведения остаётся карточный домик юридических обязательств, готовый развалиться при любом толчке. В таких условиях рынок не может давать полной информации, без которой он не “свободный” рынок; в лучшем случае можно сказать, что он всё ещё сохраняет некоторые “степени свободы”.

Мы можем теперь оценить, как сильно нынешняя “смешанная” экономика отличается от “классического капитализма”.

Экономические определения “капитализма” и “социализма”. Понятие “капитализма” сформировалось в XIX веке. Самое слово произведено от слова “капитал”, обозначающего накопленное богатство в любой форме (деньги, ценные бумаги, предприятия, земельные участки и другие виды собственности). Вопреки распространённому мнению, термин «капитализм» был введен в обращение не Марксом, а, по-видимому, немецким экономистом консервативного направления Зомбартом¹. Чтобы определить экономическое содержание, придаваемое термину “капитализм”, мы оставим в стороне моральные и социальные ассоциации, связываемые с этим словом, и попытаемся дать ему операционное описание, выражающее лишь общепризнанные экономические факты.

Капитализм — это система экономики, при которой средства производства (предприятия, земля и т. д.) принадлежат частным лицам или их группам, а сбыт и приобретение продукции происходят путём свободной конкуренции.

Это в точности представление Адама Смита о рыночном хозяйстве, и поскольку оно было уже подробно описано выше, вряд ли надо его здесь комментировать. Конечно, конкуренция предполагается свободной, то есть ограниченной лишь “моральными правилами” (включая установленные государством законы). Если эти законы вводят государственные монополии, предоставляют преимущества отдельным лицам или группам лиц, например, в виде таможенных тарифов, или в виде дискриминирующего налогообложения, то мы имеем дело уже не с “чистым” капитализмом, но, как уже было сказано, все научные абстракции предполагают те или иные идеализации. Можно считать, что в западных странах XIX век

¹Марксисты широко использовали этот термин для обозначения своего “врага”. Сам Зомбарт, автор книги “Буржуа”, приписывал решающую роль в формировании капитализма евреям, и в конце жизни встал на позиции нацистов.

был эпохой капитализма, а затем его начала заменять “смешанная экономика”.

Труднее определить экономическое содержание, придаваемое термину “социализм”. Наиболее распространенное в наше время, хотя и исторически необоснованное определение таково:

Социализм — это система экономики, при которой средства производства не принадлежат частным лицам или их группам, а управляются государством, а сбыт и приобретение продукции планируется государственными учреждениями.

Это определение соответствует практике, существовавшей в бывшем Советском Союзе с 1918 по 1990 год и навязанной некоторым другим странам советской оккупацией, но противоречит первоначальному определению социализма, возникшему вместе с этим словом в 1840-х годах: “От каждого по его способностям, каждому по его труду”. Как известно, государственная система управления экономикой, которая существовала в Советском Союзе, нисколько не заботилась о справедливом вознаграждении труда, хотя этот принцип и сохранялся в советской идеологии. Первые социалисты вовсе не были враждебны частной собственности и не стремились к её запрещению. Сен-Симон, этот подлинный основоположник социалистического учения, считал предпринимателей тружениками, наряду с рабочими и инженерами, и противопоставлял всех, кто создаёт материальные ценности, паразитам, каковыми он считал феодалов и священников. Он и в самом деле предполагал планирование производства — учёными и “производителями”, — но никогда не думал об устранении частной собственности, в которой видел важный стимул человеческой деятельности. Фурье, предлагая коллективный труд в своих фантастических фаланстерах, представлял себе их как добровольные ассоциации тружеников, а средства на их устройство ожидал от капиталистов, которые должны были быть их совладельцами и получать от них доход, пропорциональный их вкладу. Оуэн, в первый период своей деятельности, был совладельцем и управляющим фабрики в Нью-Ленарке и предлагал свой опыт реформатора правящему классу Англии — аристократам и предпринимателям, — приглашая их последовать его примеру. Лишь на втором этапе своей пропаганды он устроил в Америке “коммуны”, на совсем других принципах, хотя и с соблюдением добровольного участия в ней.

“Коммунизм”, который с самого начала отличали от социализма, был построен на принципе равного распределения продуктов между потребителями, независимо от их трудового вклада. Это уче-

ние получило применение лишь в небольших добровольных коллективах, которые неизменно распадались после недолгого существования¹. Коммунизм, как и анархизм, вряд ли имел когда-нибудь практическое значение, поскольку требовал от человека невозможного совершенства. Этими крайними доктринами мы здесь не будем заниматься.

Вряд ли надо подчеркивать, что *употребление слов без отчётливого их определения есть главный источник человеческих заблуждений*. В сочетании с дихотомическим мышлением, делящим все вещи и явления на две диаметрально противоположных категории, положительную и отрицательную, злоупотребление терминами приводило и приводит к столкновениям из-за слов, самым ужасным из человеческих конфликтов. Поэтому важно выяснить, каков более глубокий смысл, вкладываемый в термины “капитализм” и “социализм”. Ясно, что этот смысл, проявляющийся в массовой психологии, в идеологии и в политике, отнюдь не исчерпывается приведёнными выше экономическими определениями.

Биологический смысл терминов “капитализм” и “социализм”. Как и во всех случаях, когда общественные конфликты продолжаются в течение ряда поколений и порождают идеологические конструкции под разными названиями, следует предположить, что в основе противостояния здесь лежат инстинктивные мотивы. Как мы уже видели, общественная жизнь высших животных всегда строится на динамическом равновесии двух основных инстинктов — социального инстинкта, обуславливающего “притяжение” индивидов, и инстинкта внутривидовой агрессии, обуславливающего их “отталкивание”. Второй из них с самого своего начала имел глобальный характер, то есть стимулировался в отношении любой особи того же вида. Первый же — социальный инстинкт — как было показано, в течение человеческой истории постепенно распространялся на всех людей. Эмоциональное содержание капиталистической идеологии, как мы увидим, связано с *инстинктом внутривидовой агрессии*. Социалистическое мировоззрение, о котором будет речь дальше, вовсе не связано с государственным контролем над экономикой, а выражает *социальный инстинкт* в его специфически человеческой форме. Таким образом, оба термина “капитализм” и “социализм”, если иметь в виду не их экономические “определения”,

¹Я оставляю в стороне общины религиозных сектантов вроде меннонитов, у которых сохранялась семейная собственность, и израильские киббуцы, сначала имевшие характер националистического сектантства, а потом превратившиеся в нечто вроде монастырей, субсидируемых государством.

а более глубокое психологическое содержание, отражают неустрашимые, дополняющие друг друга аспекты человеческой природы.

Инстинкт внутривидовой агрессии, присущий всем общественным хищникам и очень древний, у человека в значительной мере ограничен культурной традицией. Социальный инстинкт у человека совершенно своеобразен и принимает, в зависимости от культуры, весьма разнообразные формы. Как всякое сложное поведение, общественное поведение человека зависит от взаимодействия многих инстинктов, ни один из которых сам по себе — как биологическое явление — не “хорош” и не “плох”.

“Государство всеобщего благосостояния” (“welfare state”). Это название государства со “смешанной” экономикой, кажется, уже вышло из моды, отчасти из-за неприятных коннотаций слова *welfare*, но главным образом потому, что иллюзии, связанные с таким названием, вызывают теперь ироническое отношение.

Государственное вмешательство в экономику, по-видимому, предотвращает большие экономические кризисы и сдерживает недовольство низкооплачиваемых слоев населения и безработных. Экономика находится в состоянии стагнации. При этом простейшие материальные потребности населения удовлетворяются. Нарушения “прав человека” относительно редки. Дорогостоящая и неэффективная система медицинского обслуживания в серьёзных случаях бесполезна. Точно так же государственная система образования не достигает цели и не обеспечивает даже грамотности учащихся. Общество постепенно погружается в варварство.

Устойчивость и безопасность жизни в таком государстве покупается ценой высоких налогов. Расходование этих налогов, теоретически подлежащее контролю выборных представительных собраний, находится в руках бюрократического аппарата, некомпетентного и приобретающего всё более паразитический характер. Подобная бюрократия существовала до сих пор только в “соцстранах” (в западных странах она ещё не полностью контролирует жизнь индивида).

Возмущение бюрократическим контролем и высоким уровнем налогов привело, в частности, к ностальгии по капитализму XIX века, известному под названием “либертарианства”.

Перспективы свободного рынка. Иллюзии либертарианцев, надеющихся на возвращение ситуации XIX века, наталкиваются на препятствия, которые отчасти очевидны, но, во всяком случае, должны быть резюмированы в заключение этой главы. Очевидно, что история никогда не повторяется. Конечно, некоторые явные нелепости социального строя могут быть устранены, но по следую-

щим причинам это не приведёт к возобновлению прошлой ситуации.

1. Роль государства. В XIX веке государство имело (в западной цивилизации) традиционные ограниченные функции — в особенности ограниченные в Соединённых Штатах. Я буду говорить дальше об этой стране, хотя выводы распространяются и на страны Западной Европы с достаточно развитой рыночной системой (Англия, Франция, Бельгия, Голландия, в меньшей степени Германия и Италия, вследствие пережитков феодализма).

Для Соединённых Штатов внешняя торговля не играла в XIX веке столь важной роли, как сейчас, но уже тогда федеральное правительство, устанавливавшее таможенные тарифы, тем самым произвольно фиксировало некоторые параметры рыночной игры. Это уже было ограничением свободного рынка. Поскольку всё же считают, что рынок был тогда достаточно свободным, можно предполагать, что неэкономические меры государства, вроде ограничения некоторых основных цен, всё-таки не совсем подавляют преимущества свободной конкуренции, как это было в “соцстранах”. Тем не менее, как мы видели, государственное вмешательство приобрело принципиально иной, гораздо более широкий характер.

Полное устранение государства в его нынешнем смысле, с передачей его отдельных функций свободным ассоциациям граждан, есть дело будущего, требующее, прежде всего, воспитания новых навыков человеческого мышления и поведения, то есть возникновения новой культуры. Мы будем исходить из того, что в обозримом будущем сохранится нынешняя “западная цивилизация”, в том числе государство.

Уже в XIX веке экономические связи между штатами требовали законодательного регулирования, которое стало важнейшей функцией федерального правительства. Замена федеральных законов двусторонними договорами между штатами привела бы к крайнему усложнению законодательства (C_{51}^2 наборов двусторонних договоров! Это число равно $51 \times 50 : 2 \approx 1200$, тогда как во внешней торговле приходится учитывать несколько десятков иностранных государств). В настоящее время, в отличие от XIX века, Америка представляет собой единую систему хозяйства. Отсутствие единого торгового законодательства привело бы лишь к большому расширению бюрократии, что и демонстрируется теперь в “бывшем Советском Союзе”.

Единой экономике нужна единая денежная система. Можно себе представить, что означала бы передача отдельным штатам выпуска денег, установления правил денежного обращения и банковского

кредита и т. д. В бывшем СССР это привело к резкому сокращению связей между его “независимыми государствами” и экономическому тупику, хотя Россия гораздо меньше зависит от таких связей, чем любой американский штат.

То же относится к внешней торговле, к промышленным стандартам (меры, веса и т. д.), и даже к почте, потому что частная корпорация может на время выпасть из хозяйства, а почта необходима всегда, как гарантия связи между гражданами. Впрочем, пока есть федеральное правительство, оно всё равно сохранит свои средства связи.

Статистика и учёт народонаселения могут быть, конечно, переданы частным корпорациям. Но, опять таки, неизбежны расхождения между их данными и такие функции, как регистрация рождений, браков, смертей будут служить аргументами в пользу государственного ведения этих дел.

Сильнейшим доводом, оправдывающим государственное вмешательство в экономику, является предотвращение общих кризисов. В XIX веке, при минимальном государственном вмешательстве, такие кризисы происходили каждые 20–30 лет. После второй мировой войны их не было, причём известно, какие меры государственного регулирования сознательно применялись для их предотвращения. Разумеется, эти меры означают перераспределение доходов решениями государственных чиновников — например, экономистов. Но всякое налоговое обложение так или иначе сводится к распределению между всеми гражданами денег, изымаемых у некоторых. Ни одно государство не могло обойтись без насильственного взимания налогов (в демократиях, утверждаемых, по крайней мере номинально, выборными парламентами). Добровольное налогообложение не даёт стабильной основы для работы государственной власти. Слишком часто деньги понадобятся на что-нибудь более срочное!

Государство *равносильно* принудительному налогообложению, которое должны *контролировать* налогоплательщики. Иначе вы услышите: “в этом году у нас не будет полиции”, или: “с такого-то числа армия распускается”. Государство, в правильном смысле, это ваша собака. Если вы держите собаку, вы обязаны её кормить.

Для некоторых категорий престарелых и больных, не приобретших права на пенсию от корпораций, где они работали, государственное страхование является последним прибежищем. Представление о том, что в цивилизованном обществе должны быть гарантии от крайнего бедствия, укоренились в сознании людей. Это, конечно, пережиток христианства, но не худший из всех. Когда соседи,

друзья и филантропы *не дадут* бедствующему человеку погибнуть, тогда государство уже и вообще не будет нужно. Не следует переоценивать человеческое внимание. Погибать будут самые независимые и стыдливые, те, кто не хочет просить. Несомненно, нынешняя форма уэлфера есть *извращение* предыдущей идеи: государственные расходы на страхование следует сократить раз в десять, вместе с расходующим аппаратом! А решение вопроса о помощи бедствующим следует предоставить *местным* властям, обязательно выборным.

Обязательное государственное образование не оправдало себя. Налоги на школы можно заменить правом (но не обязанностью) местных властей предоставлять стипендии детям и юношам для оплаты обучения, при согласии на это избирателей.

В наше время люди *больше всего* озабочены своей экономической безопасностью. Как можно видеть, они готовы терпеть даже неэффективное и коррумпированное правительство, опасаясь всякого риска.

Далее, сохранение федеральной полиции, пока существует государство, неизбежно. Если должно существовать федеральное правительство, оно должно иметь власть, то есть аппарат навязывания законов (*law enforcement*). Зависимость от местных властей в таких делах означает бессилие федеральных, как это обнаружилось уже в первые годы существования американского государства. Не всегда будет авторитет Вашингтона, чтобы с этим справиться. Аппарат федеральной полиции следует, конечно, сократить. Но если действуют организации преступников, не ограниченные никакой территорией, то должна быть и эффективная федеральная полиция, преследующая их в любом месте, располагающая полной информацией (и, конечно, подчинённая контролю конгресса).

Наконец, у федерального правительства есть внешнеполитические функции. Современная армия не может не быть под единым командованием, с общими правилами и стандартизуемым вооружением. Можно контролировать расходы на армию, но за неё приходится платить. То же можно сказать о дипломатической службе.

2. Глобальное планирование. Этот вопрос, как и уэлфер, вызывает наибольшие споры и даёт повод для наибольших злоупотреблений. До сих пор налогоплательщики проявляли чрезмерную доверчивость к государственным чиновникам, что привело к чудовищному росту бюрократического аппарата и налогов. Теперь, когда общественное мнение направлено против этих извращений, возникла перспектива обратных крайностей, по известному “закону ма-

ятника”. Поэтому важно уяснить себе, чего не надо делать, чтобы избежать ошибок другого рода.

Что касается уэлфера, то, как мы видели, этот вопрос в принципе допускает дешёвое решение. Конечно, в районах, хронически поражённых более или менее искусственной безработицей, изменения надо производить осторожно.

По поводу планирования существуют серьёзные недоразумения. Дело в том, что под этим словом имеются в виду главным образом “планы улучшения общества”, сочиняемые социологами и психологами — состоящими на государственной службе или работающими в университетах. Наиболее многочисленную и влиятельную часть этих людей составляют лжеучёные, которые верят (или притворяются, что верят), будто располагают готовыми решениями всевозможных социальных проблем, и предлагают для этого планы, требующие государственных капиталовложений. Эти планы охотно принимаются бюрократами, поскольку позволяют тратить деньги на содержание и создание государственных учреждений, — как правило, совершенно бесполезных. Государственные учреждения, занимающиеся медицинским обслуживанием, социальным страхованием и образованием, доставляют убедительные примеры этого.

Всё это вовсе не значит, что социология и психология не нужны, или совершенно бессмысленны. Но эти науки находятся на самом начальном этапе своего развития: человек и общество — самые сложные предметы научного исследования. Есть серьёзные ученые, занимающиеся этими предметами, но они не строят себе иллюзий, будто имеют готовые решения. Они понимают, что серьёзные улучшения общественной жизни — это сложные культурные процессы, не сводящиеся к составлению скороспелых проектов и расходованию денег. Бюрократы прислушиваются к голосам самоуверенных проектёров. Можно с уверенностью утверждать, что на нынешнем уровне наших знаний так называемое “социальное планирование”, как правило, бесполезно. Чтобы улучшить общество, надо больше о нём знать. Это вовсе не значит, что надо тратить деньги на содержание псевдоучёных. Кафедры социологии и психологии заслуживают критического внимания.

Можно провести практически важное разграничение между полезным и бесполезным планированием, при нынешнем состоянии наших знаний. Широкие планы улучшения общества, как правило, бесполезны, и их не следует финансировать за счёт налогов. Но в некоторых странах необходимо планировать меры, предотвращающие конкретные опасности. Такие меры часто эффективны лишь

в крупном масштабе и требуют государственного участия. Самый очевидный пример — метеорология в связи с предупреждением стихийных бедствий и служба оповещения населения. Другой пример — эпидемии. Врачи-гигиенисты ещё в прошлом веке убедились, что холеру можно одолеть только не знающими исключений санитарными мерами. История холерных эпидемий в Лондоне привела даже английских лордов к принудительным мерам — контролю над всеми источниками водоснабжения. Если вы заражаете воду на своей территории, откуда она просачивается к соседу, и сосед умирает, то вы не чемпион частной собственности, а отравитель. В предусмотренных законом случаях вы должны допустить к себе санитарного врача. Многие даже не слышали, чем были эпидемии чумы, холеры и тифа. Но вот в наше время эпидемия СПИД'а — стыдливо замалчиваемая, пока не умирает какой-нибудь футболист или кинозвезда — уже привела к обязательным тестам для некоторых профессий. Хотите ли вы умереть от того, что ваш зубной врач отвергает процедуру проверки на СПИД как унижительную? Законы рынка приведут к тому, что он потеряет клиентов. . . после вашей смерти. Утверждают, что вирусы СПИД'а можно обнаружить у всех людей. Хотите ли вы принять эту идею, когда речь идет о смертельной опасности? Если западная цивилизация будет разлагаться дальше, то придёт-ся согласиться с поголовной проверкой всего населения и выдачей сертификатов о здоровье.

Дело в том, что СПИД — это болезнь цивилизации, поражающая людей определённого образа жизни. Сколько других болезней цивилизации готовит нам будущее? Эпидемия подобна войне: она требует чрезвычайных мер. Но кроме врачей и фармацевтов никто, кажется, не наживается на эпидемиях.

Теперь — о наименее понятной опасности, *экологической*. Вот пример непонимания этой опасности. Учёные спорят, возрастает или нет содержание CO_2 в атмосфере, и если возрастает, то связано ли это с промышленными выбросами. Но дело совсем не в этом. Бесспорный факт состоит в том, что CO_2 , попавшая в атмосферу, неустранима никакими способами, не ведущими к перегреву Земли: это вывод физики, вытекающий из законов термодинамики¹. Если

¹См: Хлебопрос Р. Г., Фет А. И. Природа и общество: модели катастроф, Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999; Хлебопрос Р. Г., Охонин В. А., Фет А. И. Катастрофы в природе и обществе: математическое моделирование сложных систем. Новосибирск, ИД Сова, 2008; R. G. Khlebopros, V. A. Okhonin, A. I. Fet *Catastrophes in Nature and Society: Mathematical Modeling of Complex Systems*. World Scientific, 2007.

выброс CO_2 в атмосферу будет *и дальше* возрастать экспоненциально (а никто не отрицает, что до сих пор это было), то последствия наступят уже через несколько десятилетий. Дело не в том, что происходит сейчас, а в том, что неизбежно *должно* произойти. Если вы не можете прекратить экспоненциальный рост потребления углеводородного топлива (во всем мире: атмосфера для всех одна!), то вы бросаете вызов законам термодинамики. Раш Лимбо над этим не задумается, но, кажется, он этому не учился.

Конечно, “зелёное” движение, компенсирующее выпадение религиозных страстей, совершенно иррационально и эксплуатируется бюрократией для её целей. Но это не отменяет экологические опасности! Точно так же, как в случае социологии и экологии, спрос на “научную информацию” здесь очень велик и порождает шарлатанство: как правило, люди, называющие себя экологами, — безответственные болтуны, или просто наняты заинтересованными учреждениями. Но существуют и серьёзные экологи, разрабатывающие перенесённые из физики математические модели. В ряде случаев это уже позволяет предвидеть глобальные опасности. В других случаях, как в случае “озонных дыр”, ясности ещё нет. Шарлатаны в таких случаях говорят, что они знают ответ. Но если серьёзные исследователи сомневаются, то в случае подобной опасности это страшно. Ведь это значит, что есть вероятность глобальной катастрофы!

Люди, руководствующиеся “здравым смыслом”, ссылаются на то, что природа до сих пор исправляла все небрежности человека; они рассчитывают, что так будет и дальше. Но химические вещества, которые в наше время выпускают в воздух, в воду и в землю, не имеют аналогов в прошлом. Фирмы, выпускавшие в воздух диоксин, не подозревали, к чему это может привести. К счастью, удалось это во время понять, когда умерло лишь несколько сот человек.

Может быть, люди слишком озабочены сегодняшним днём, чтобы думать о будущем или о всяких диоксинах, отравляющих нас сегодня. Но должны быть учреждения, где об этих вещах думают, планируя предотвращение будущих опасностей. Атомные электростанции, сравнительно с другими источниками энергии, безопасны, но при условии, что соблюдаются многочисленные предосторожности. Можно ли отдать их соблюдение на произвол владельцев этих станций? Конечно, рынок разорит компанию, у которой произошёл чернобыль, но сотни тысяч людей умрут. Единственным агентом, способным предотвращать экологические катастрофы, является государство — если его учреждения делают это добросовестно. Если никак нельзя этого добиться, чернобыли неизбежны.

Думаю, что планирование мер по предотвращению катастроф сохранится и после исчезновения государств. Список катастроф, о которых мы знаем, расширяется. Если, например, комета или астероид вроде “Тунгусского метеорита” (1907 г.) попадает в Землю в среднем раз в тысячу лет, то пора уже подумать, что можно по этому поводу сделать! Ведь смогли уже послать ракету к комете Галлея.

Я говорил до сих пор об “отрицательном” планировании — с целью предотвращения определённых бедствий. “Положительное” планирование — с целью улучшения человека и общества — требует знаний, которых у нас пока нет. Если делать вид, что они уже есть, получится снова Советский Союз, или в лучшем случае “Государство уэлфера”. Но в будущем, когда будут необходимые знания, можно будет планировать и “положительные” меры — с согласия людей, которых это касается. Например, продление жизни!

3. Парадокс неограниченного роста. Как мы видели, условия современного мира не позволяют избавиться от государственного вмешательства в экономику, хотя это вмешательство можно в значительной степени ограничить, более эффективно контролируя бюрократический аппарат. Экономисты нашего времени давно уже отказались от абстракции свободного рынка и производят свои расчёты в предположении тех или иных видов государственного вмешательства в экономику. Эти методы реалистичны — не в том смысле, что другая структура хозяйства принципиально невозможна, а в том, что при не слишком резких изменениях общественной жизни — в частности, при сохранении государства — они позволяют стабилизировать экономику, предотвращать общие кризисы и в некоторой степени бороться с застоем производства. Можно сказать, что современные экономисты обслуживают потребности “государства всеобщего благосостояния», вычисляя отклонения его “макроэкономики” от положения равновесия. Идеологию этих методов расчёта, используя математические модели, предложил в середине тридцатых годов М. Кейнс. Эта идеология, подходившая к уже начавшейся практике “интервенционизма”, быстро стала господствующей среди экономистов.

Ей противостояли “классическая” школа Д. Рикардо, основанная на понятии “меновый стоимости” (куда относятся и марксисты), и “австрийская” школа “маргинальной теории цен” (К. Менгер, Э. Бем-Баверк). О школе Рикардо уже была речь выше. Попытка приписать каждому изделию внутренне присущую ему “стоимость” (например, оцениваемую затраченным на его изготовление “числом ра-

бочих часов”) оказалась несостоятельной. Маркс в конце жизни пытался преодолеть трудности этой школы, вводя в “стоимость” поправки на рыночные условия. Но схема Рикардо осталась схоластической, бесполезной для практических расчётов, и привела только к фантастическим предсказаниям и планам марксистов.

“Австрийская школа” была просто возвращением к идеям Адама Смита и их уточнениям. “Австрийцы” признали невозможность вычислять цены с помощью «трудовой теории стоимости» и поняли, что на свободном рынке цены складываются в игре спроса и предложения, и такая конкуренция выгодна для роста производства. Естественно, освободившись от схоластики “классической школы” Рикардо, “австрийцы” стали энтузиастами свободного рынка, что было в то время (конец XIX века) ещё согласно с хозяйственной практикой западных стран. “Австрийская школа” работала качественными методами, плохо подходившими для понимания ограничений свободного рынка и его неустойчивости. Когда в середине XX века в экономическую науку проникли математические модели, эпигоны “австрийской школы”, такие, как Людвиг фон Мизес и его ученик Фридрих фон Хайек, не смогли овладеть этими методами и отвергли их, не поняв их значения. Впрочем, Хайек примирился с государственным вмешательством и “государством уэлфера”, сосредоточившись на критике экономики “соцстран”. Но Мизес остался непримиримым противником всякого вмешательства государства. Вместо аргументации он занимался пропагандой, повторяя, что государственное регулирование экономики есть грабёж налогоплательщиков — как будто любое налогообложение не есть в принципе такое же насильственное перераспределение доходов. Дело здесь не в морализировании против “грабежа”, а в том, насколько вам полезно быть ограбленным. Поскольку налоги доводят многих американцев до бешенства, моральная декламация Мизеса созвучна их настроению. Но лишь немногие из них отдадут себе отчёт в том, что единственно логичное следствие её — не взимать никаких налогов. А это конец государства, анархия, от которой те же люди в ужасе отшатнутся. Мизес — экономический экстремист. Теперь — почему его идеал свободного рынка неосуществим.

Я уже подробно говорил о неизбежности государственного вмешательства. Но допустим на минуту, что оно прекратилось. Что дальше? Пренебрежём всеми различиями по сравнению с XIX веком: отсутствием “свободного” континента, отсутствием энергии в популяции. Если верить Мизесу, свободный рынок приведёт к столь же быстрому росту производства, как сто лет назад. Но тогда ему

было куда расти: плотность населения была мала, потребности не были насыщены. Теперь такие же темпы роста приведут к неизбежному кризису перепроизводства, потому что население не может так же расти всё время! Между тем, Мизес наделяет свободный рынок неизбежным свойством — постоянным ростом производства и, вероятно, в абстрактной схеме совершенно свободного рынка нет ничего, что могло бы остановить этот рост. Если бы такой рынок установился всерьёз, то проблема была бы в том, как замедлить производство! Кое в чём Мальтус был прав. Как только мы начинаем делать поправки, учитывающие ограниченность населения, ресурсов и т. п., мы приходим к моделям, предложенным Кейнсом и его последователями. Все серьезные экономисты это знают и рассматривают Мизеса как нечто вроде экономического дон Кихота. Сами они — люди скромные, радикальных планов не имеют и вместо его, уходящей в бесконечность, прямой, пристраивают кусочки к своим эмпирическим кривым.

4. Человеческий тип. Обычное утверждение, отвлекающее внимание от подлинной мотивации предпринимателя, состоит в том, что он стремится, главным образом, удовлетворить потребности покупателей. Я не думаю, что стремление к максимальной прибыли, входящее в самое определение свободного рынка, вполне совместимо с этим утверждением. В самом деле, в наше время рынок удовлетворяет не реальные потребности людей, как они их сами понимают, а *искусственно создаваемые вкусы и аппетиты*, определяемые рекламой. Конечно, это не противоречило бы свободе рынка, если бы реклама всегда содержала добросовестную информацию о товарах. Но это часто не соблюдается. Чрезмерное обилие рекламы вовсе не служит этой цели: чем больше разнообразие рекламируемых товаров, тем меньше потребитель способен их сравнивать и принимать выгодные для него решения. Это частный случай “информационного бума”, при котором нам приходится сплошь и рядом полагаться на случайные данные, попавшиеся нам на глаза.

Другое, ещё более важное препятствие для свободного рынка — *дефицит добросовестной рабочей силы*. Пожалуй, это единственный товар, нехватка которого ощущается на западных рынках. Известная авиационная фирма “Локхид” объявляет, что готова платить вполне приличную зарплату молодым людям, всего-навсего умеющим грамотно читать, писать и выполнять арифметические действия: всю дальнейшую подготовку этих людей фирма берёт на себя. Вряд ли это покажется удивительным, если, по официальным данным, 30 % окончивших американские средние школы практиче-

ски не умеют читать и писать (а по неофициальным данным — 40 %; в таких условиях можно усомниться, какие критерии грамотности применялись при этих оценках!). Недавно я задался вопросом, почему в Соединённых Штатах существует *шестьсот* университетов — за немногими исключениями очень слабых в научном отношении. Я спросил знакомого американца, на чём держится эта дипломная промышленность. Этот человек, имевший к ней прямое отношение, объяснил мне: “Видите ли, у нас и фирмы, и государственные учреждения хотят иметь грамотных служащих. Чиновники, принимающие людей на работу, руководствуются, как всегда, дипломами. Но диплом средней школы уже не гарантирует грамотности, вот они и требуют университетские дипломы”.

Конечно, в XIX веке грамотных людей было ещё меньше, но тогда производства были гораздо проще, и квалифицированных работников требовалось немного. *Рост производства*, этот фетиш идеологов “свободного рынка”, означает также и усложнение техники. Между тем, развал системы образования приводит к тому, что квалифицированных работников становится всё меньше. В последнее время коренные американцы неохотно идут на научные и технические факультеты: около половины студентов и профессоров этих факультетов — эмигранты, родившиеся за границей. Если прибавить к этому, что тяжёлые или неприятные виды физического труда монополизировали “цветные”, особенно выходцы из Вест-Индии и Восточной Азии, то трудно не прийти к выводу, что упорный труд не вызывает уже у американцев положительных установок, свойственных их дедам.

Добросовестный труд часто нельзя купить даже за высокую плату, на что особенно жалуются в больших городах. Изменение человеческого типа по сравнению с 19-ым веком столь очевидно, что условия рыночного хозяйства, существовавшие в то время, невозможно воспроизвести ещё и по этой причине: нынешние американцы просто не способны к тяжёлой работе в суровых условиях жизни. Современный уклад жизни их от этого отучил, и только резкое ухудшение условий могло бы “взбодрить” их. Конечно, верующие видят корень зла в забвении религии, учившей в поте лица добывать свой хлеб. В наше время хлеб у всех есть, и люди хотят только “получать удовольствия” (*to have fun*).

Экономика и культура. Исключительное внимание к росту производства вытеснило в наше время все другие концепции “хорошего общества”. XIX век был эпохой “просвещённого либерализма”, когда люди верили в “прогресс”, понимая его не только как увели-

чение материального благополучия, но и как усовершенствование человеческой личности и человеческих отношений — то есть как *развитие культуры*. Эта идеология прогресса, возникшая в XVIII веке, была движущей силой европейской цивилизации, после того, как лучшие умы Европы освободились от религии. Классическим выражением идеологии прогресса была знаменитая речь Антуана Тюрго, произнесенная им в Сорбонне 17 декабря 1750 года. Он был тогда молодым человеком 23 лет, а впоследствии стал знаменитым экономистом, министром, пытавшимся вывести Францию на путь свободного рынка. Но Тюрго, в отличие от Мизеса, Хайека и им подобных, был не только экономист, но и философ, понимавший сложность общественной жизни и не сводивший её к материальному благополучию.

Глубокое исследование европейской культуры предпринял в 1830-х годах величайший из историков, Алексис де Токвиль. На его книгу “О демократии в Америке” охотно ссылаются современные “консерваторы”, уже слишком невежественные, чтобы её понять. Токвиль был убеждённый сторонник *личной свободы*, пришедший к отвержению сословных привилегий (хотя он был из аристократической семьи). Он осознал парадокс свободы, проходящий через всю новую историю Европы¹.

Токвиль подчеркивал, что самое представление о личной свободе имеет *аристократическое происхождение*. В средние века единственные люди, пользовавшиеся свободой и дорожившие ею, были те, кто способен был защищать её с оружием в руках. Вначале это были только аристократы, что и нашло своё отражение в европейских языках. Французское и английское слово *baron* происходит от древнегерманского *baro*, означавшего первоначально “свободный человек”, а в современном немецком языке “барон”, в смысле феодального титула, выражается словом *Freiherr*, буквально означающим “свободный господин”. В 1215 году английские бароны взяли в плен короля Иоанна Безземельного и заставили его подписать документ, прозванный “Великой хартией вольностей” (*Magna charta*). Согласно этой хартии, король мог взимать налоги и объявлять войну лишь с согласия выбранных баронами представителей: так возник английский парламент, послуживший первым образцом “представительного правления”. Во второй половине того же XIII века в парламент вошли также представители лондонских купцов. Это

¹Термин “парадокс свободы” принадлежит мне. Все изложенные дальше идеи принадлежат Токвиллю.

был признак того, что в позднем средневековье буржуазия усилилась и почувствовала себя способной защищать свои права: торговые и промышленные города Северной Италии, Фландрии, Северной Германии (“Ганза”) стали реальной политической силой, породив буржуазную аристократию в виде привилегированных гильдий. Борьба этой буржуазной аристократии с прежней феодальной стала главным содержанием новой истории и привела к революциям в Голландии, Англии, Америке и Франции. Уже в XIX веке, после выхода книги Токвиля, но ещё при его жизни, на историческую арену выступил “простой народ”, требовавший политического равноправия для всех граждан.

Токвиль видел основную тенденцию развития Европы за последние 600 лет в неуклонном стремлении к равенству — то есть к освобождению от сословных привилегий. “Низшие” слои общества добились для себя той свободы, которой пользовалась вначале лишь феодальная знать. В конце XVIII века отсюда возник девиз французской революции: “свобода, равенство, братство” (*liberté, égalité, fraternité*). Токвиль занимается лишь первыми двумя членами этой формулы, устанавливая тесную связь между ними: “свобода” означала в европейской истории свободу от сословных привилегий, то есть равенство граждан перед законом. (Дальше мы попытаемся понять, что может означать третий член формулы — “братство”). Вначале речь шла лишь о расширении гражданских прав на “денежную аристократию”, то есть на высшие слои буржуазии, требовавшие своей доли власти и получившие её раньше всего в Голландии в 1572 году и в Англии в 1688 году (“Славная революция”). Но затем тех же прав потребовали более широкие слои зажиточного населения, добившиеся в Англии парламентской реформы в 1832 году; это была “цензовая демократия”, признававшая гражданские права за состоятельными людьми, платившими налоги не менее установленного минимума, имевшими собственное жилище, и т. п. Наконец, дальнейшее развитие европейской цивилизации подтвердило концепцию Токвиля: в 1884 году в Англии была проведена дальнейшая реформа, предоставившая право голоса всему мужскому населению и вызвавшая аналогичные меры в континентальных странах, и уже в XX веке было признано равноправие женщин. В Соединённых Штатах, где Токвиль нашёл самую развитую форму демократии, феодальные привилегии с самого начала сводились лишь к зависимости от английской монархии, а после революции ограничились неравноправием “цветных”, негров и индейцев. За этим исключением, Соединённые Штаты представляли собой в начале XIX века лучший

пример “равенства” и “свободы”, где можно было их изучать в их практическом осуществлении, чем и занимался Токвиль.

Была ещё одна вещь, которую ясно понимал Токвиль и которую теперь мало кто понимает. Он знал, что целью “прогресса” является не экономическое развитие, а развитие культуры, и что *культура по самой своей природе аристократична*. В наше время принудительного уравнивания людей об этом нельзя и помыслить. Я видел единственную книгу, написанную в нашем веке, где это сказано с полной откровенностью — о *греческой культуре*¹. Но культуру творит, в её высших проявлениях, немногочисленная элита. Для передачи и сохранения этой высшей культуры такая элита должна быть наследственной, потому что традиция всегда опирается на воспитание в раннем детстве. А это значит, что носительницей культуры является аристократия. Она создаёт почву для высокой культуры, а на этой почве могут процветать и семена, занесённые извне. Все высшие достижения культуры возникали не просто от материального богатства, но от соединения этого богатства с аристократической традицией, достаточно длительной и достаточно утончённой. Таковы были Афины V-го века, Италия эпохи Возрождения, викторианская Англия. И если буржуазная культура XIX века высказывала свой “демократизм” афоризмами вроде *la science est roturière*², то этим просто подчеркивалось увядание феодальной культуры. Верно, что творцы культуры могли быть простого происхождения, но их культурную среду составляли аристократы. Сократ был сын ремесленника, но ученики его были из афинской знати. Шекспир был простого происхождения³, но писал пьесы для изощрённой публики. Ньютон был сын крестьянина, но для него уже существовал Кембриджский университет.

“Демократизация” культуры, как впервые осознал Токвиль на примере Соединённых Штатов, может привести к её радикальному упрощению и распаду. Токвиль констатировал, что в Америке место наследственной аристократии занимают преуспевающие бизнесмены, поскольку политическое влияние и общественный престиж связываются лишь с деньгами. Но, как он отметил, при отсутствии наследственных имений и непрочности предприятий деньги редко

¹Jaeger W., Paideia, в 3 томах (есть английский перевод).

²“Наука – простолюдинка”.

³Книга И. Гилилова “Игра об Уильяме Шекспире или Тайна великого феникса”, в которой раскрывается, что под маской Шекспира скрывался Роджер Меннерс граф Рэтленд, вышла годом позже, в 1997 году. А. И. Фет считал эту книгу серьёзным исследованием и сразу принял версию Гилилова. – *Прим. ред.*

сохраняются в одной семье и, что ещё важнее, быстро возникают состояния у людей, за которыми не стоит родовое богатство. В этих условиях, по мнению Токвиля, богатство эфемерно и не может стать отличительным признаком подлинной, то есть наследственной аристократии. Соединённые Штаты стали первой страной без всякой аристократической традиции.

Вместе с нею, – говорит Токвиль, – исчезли образцы стиля, вкуса и воспитания, всегда возникавшие в “избранном обществе” и потом распространявшиеся на низшие слои населения. Тем самым был нарушен естественный процесс культурного развития. Общее равенство приводит в Соединённых Штатах к “усреднённом” образу жизни, ориентирующемуся не на лучшие образцы, а на общепринятые шаблоны поведения. Более того, всякое отклонение от таких шаблонов воспринимается как нечто неприличное и препятствует успеху в делах и в личной жизни. Индивидуальность – свойство в высшей степени аристократическое – в таком обществе не поощряется, а то и прямо преследуется. И, наконец, усредняющее действие принятых шаблонов поведения, ставшее психологическим императивом, ограничивает свободу столь же эффективно, как запретительные нормы в прошлом. Это и есть то, что мы выше назвали “парадоксом свободы”: столетия борьбы за свободу от сословных ограничений, за равенство людей перед законом привели к обществу, где люди уже не испытывают потребности в свободе, не умеют ею пользоваться, и озабочены лишь материальным благополучием и безопасностью, не ставя себе никаких других целей.

Богатство и культура. Высокая культура никогда не довольствовалась сытым и безопасным существованием. У неё всегда были идеалы, побуждавшие её жить и развиваться. Как правило, культура развивается в условиях гражданской свободы и экономического роста, но без культурных идеалов эти условия ни к чему не ведут.

Превосходство Афин состояло не в том, что это был богатый торговый город. Никто не вспоминает Коринф, где было только богатство, и если вспоминают Сибарис, то лишь потому, что там жили сибариты. Прочтите у Фукидида речь Перикла, объясняющую идеалы афинской демократии, или вложенное в уста коринфянина описание неугомонного духа афинян.

Значение итальянского Возрождения было не в том, что купцы и ремесленники нескольких городов разбогатели. Как раз в ту пору, когда началось высокое Возрождение, богатство их пошло на убыль.

Около 1450 года банк Медичи стал закрывать свои отделения. Козимо Медичи всё меньше занимался его делами и не учил им своих детей и внуков. Вскоре почти все банки Флоренции разорились, но художники и скульпторы всегда имели заказы. Чтобы понять, чем было Возрождение, прочтите трактат Пико делла Мирандола “О достоинстве человека”.

В XVII веке во главе европейской культуры была Англия, где и началась Новая история. Испанцы были богаче англичан и были не менее предприимчивы; им принадлежала Америка. Всё это не пошло им на пользу, Испания одичала. В XVIII веке идея прогресса — главная идея европейской культуры — была развита французским Просвещением, в стране с блестящей аристократией, но с хронически пустой казной. Всё величие немецкой культуры развернулось на фоне попечительного правления не особенно щедрых государей. Что уж говорить о бедной России, где было так мало свободы, и где в XIX веке всё-таки возникла богатая культура?

Богатство само по себе — не двигатель культуры. Египет был богатейшей страной древности, но египтяне вечно повторяли свой однажды выработанный культурный стереотип. Китай раньше Европы добился богатства и комфорта, но уснул беспробудным сном. Китайцы, при всём их техническом превосходстве, не могли защититься от степных кочевников: они больше дорожили своим комфортом, чем свободой, и терпели любых завоевателей. В том же направлении движется и нынешняя западная цивилизация. Ещё в середине прошлого века Джон Стюарт Милль, неукротимый рыцарь свободы, предупреждал о грядущей китаизации английского общества. Соединённые Штаты наших дней, с их чисто материалистическими целями и ненавистью ко всякому личному превосходству, дальше всех продвинулись в этом направлении. Поскольку в наше время все “варвары” стремятся к такому же стилю жизни, западная цивилизация не может даже рассчитывать на каких-нибудь “грядущих гуннов”: лишь внутренние процессы могут в ней что-нибудь изменить.

Главный урок истории состоит в том, что само по себе богатство не гарантирует культурного развития, а чаще всего приводит к стагнации, пассивности и гибели культуры. Историки полагают, что именно так распались все высокие культуры прошлого. Часто можно услышать возражение, что в этих культурах было недостаточно свободы. Но, как мы уже видели, в современном “обществе всеобщего благосостояния” (*welfare state*) свобода индивида ограничена его симбиотической зависимостью от окружения и паническим

страхом нарушить принятые шаблоны поведения.

Впрочем, самое серьёзное опасение вызывает здесь культурное бесплодие преуспевающего индивида. Дело в том, что в современном западном обществе единственным критерием успеха являются деньги. Невозможно уйти от того факта, что все остальные цели и достижения не доставляют индивиду ни престижа, ни самоуважения, если они не сопровождаются его обогащением. Психология этого общества попросту не принимает всерьёз никакие человеческие занятия, если они в самом деле (а не только для видимости) бескорыстны. Абсолютный эгоизм стал нормой поведения людей, обычно заявляющих о своей принадлежности к одному из христианских вероисповеданий. Христианская “любовь к ближнему” в любом частном разговоре высмеивается. Психическая установка по отношению к людям негативна: люди рассматриваются как чужие, потенциально опасные существа, с которыми индивид связан лишь общими интересами и от которых ограждён лишь страхом наказания. Общие интересы обеспечиваются контрактами, а безопасность — полицией. В том и другом случае всё существование индивида зависит от государства — сознаёт он это или нет.

Но он не любит это государство, потому что потерял веру в создавшие это государство идеалы, в свою положительную связь с согражданами, разделяющими с ним эти идеалы. Он воспринимает государство как отвратительную машину, работающую всё хуже и обходящуюся ему всё дороже. Но в действительности он не может жить без этой машины!

Распад государственной машины породил бы хаос, в котором современный человек не сумел бы выжить. Разрушились бы экономические связи, без которых невозможно было бы выжить большей части населения. В условиях беззакония борьба за существование приняла бы жёсткие формы, и несомненно возникли бы мелкие государственные образования, управляемые прямым насилием. Человечество было бы отодвинуто в раннее средневековье и потеряло бы большую часть своего культурного наследия. Нынешнее государство — плохой дом для людей. Но разумно ли разрушать этот дом, пока у вас нет лучшего жилища? Вспомните, что хотели сделать люди, певшие “Интернационал”:

Из прошлого мы сделаем чистую доску (*table rase*)

Мы переменим всё на свете, с самого основания,

или, в русском переводе:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим –
Кто был ничем, тот станет всем.

Опыт истории научил нас, что разрушить старый мир гораздо легче, чем построить новый. Мы не имеем пока достаточно знаний, чтобы предвидеть, на что будет похож “новый мир”, но в “старом мире” есть много такого, что мы вовсе не хотим разрушить. Единственный возможный путь улучшения этого мира — это не путь “революционного насилия”, а путь постепенной культурной эволюции. В ходе этой эволюции человечество будет приобретать необходимые знания о самой сложной системе во Вселенной — о самом себе.

Для проведения необходимых реформ недостаточно отрицательного отношения к нашим собратьям по виду, оборонительной установки, выражающейся в концепции “прав человека”. Эта установка, в конечном счёте, воплощает *инстинкт внутривидовой агрессии* — инстинкт защиты “охотничьей территории”, не всегда достаточный даже для выживания необщественных хищников. Открытый Дарвином *социальный инстинкт* также необходим для существования нашего вида. Отрицание биологической природы человека было бы столь же бессмысленно, как и отрицание нашего происхождения от приматов.

Как мы предположили в начале этой книги, действие социального инстинкта, первоначально ограниченное небольшой группой сородичей, затем распространилось — по-видимому, вследствие мутации — на более многочисленные сообщества — племена, — а впоследствии, путём культурной традиции, постепенно охватило всё человечество. Пока это действие ещё крайне несовершенно, но уже в наше время, после опустошительных войн, была отвергнута идеология расизма, рассматривавшая большую часть человеческого рода как рабочий скот, или как вредных животных, подлежащих уничтожению. Почти до середины этого века существовали государства, где официально поддерживалась такая человеконенавистническая идеология. В других государствах в обязательную доктрину входила “классовая ненависть”, искавшая причины всех бедствий в злонамеренном поведении имущих слоёв населения, выделяемых по тем или иным формальным признакам. Во всех таких случаях предполагаемые “враги” наделялись чертами приспешников дьявола, носителей первородного греха, с бессознательной эксплуатацией вековых религиозных суеверий.

XX век был, несомненно, веком упадка культуры. Две мировые

войны и атомная бомба опорочили его не только в наших глазах, но и в глазах будущих историков. Наш век подходит к концу, и хотя самое деление времени на столетия условно и не слишком серьёзно, можно всё же выделить определённый период времени — с 1914 года, когда катастрофически завершалась оптимистическая прелюдия Нового времени, до 1991 года, когда жалкий развал “Советского Союза” положил конец угрозе тоталитаризма. Если назвать этот период “двадцатым веком”, то надо ли его полностью и безоговорочно осудить, как досадное отступление человечества от его извечного стремления к правде и красоте?

Думаю, что эта оценка несправедлива. XX век был всё же продолжением той же цивилизации, которая создавалась в Европе и достигла в XIX веке столь высокого развития. Если можно говорить об “исторических задачах” эпохи, то задачей нашего века было распространение идеалов цивилизации на весь мир, превращение наивысшей цивилизации из всех — европейской — в будущую мировую цивилизацию. С биологической стороны это был процесс глобализации социального инстинкта; с культурной — процесс расширения гуманизма. XX век, во всех своих яростных конфликтах, стремился к этим целям и провозглашал их устами правой стороны. Неудачи и слабости этих попыток не заслоняют от историка их общее направление: “Лига Наций”, “Атлантическая Хартия”, “Организация Объединённых наций”, “Европейский Союз” были шагами к единству человечества. В начале этого движения европейская культура должна была преодолеть ретроградные тенденции в самой себе — шовинизм, милитаризм, рабское следование авторитетам. Это привело к расколам, в которых Европа едва не погубила свою культуру — если её удастся восстановить! И всё же, в XX веке права человека хотя бы номинально признаны за всеми людьми. Теперь нет ни одного государства, которое не одобряло бы — хотя бы на словах — Хартию Объединённых Наций, содержащую пока лишь благие пожелания и выразившую эти пожелания в наивной форме абстрактных идеалов. К несчастью, люди слишком заняты своими кратковременными выгодами и не принимают эти идеалы всерьёз, или эксплуатируют их в интересах бюрократии.

Важным достижением XX века является принципиальный отказ от войны как средства решения конфликтов. Ещё сто лет назад — даже в Европе — война считалась благородным занятием, достойным самых просвещённых европейских наций, и военный успех должен был решать судьбу целых областей или государств, население которых никто не спрашивал. Теперь войны между европейскими

странами ушли в прошлое, и лозунг “Соединённых Штатов Европы”, раньше провозглашавшийся несколькими энтузиастами, становится реальностью. Конечно, умиротворение Европы отражает не только более гуманные настроения европейцев, но и общее снижение агрессивности в этой популяции, несомненно свидетельствующее об уменьшении физической и интеллектуальной энергии людей. Расширение “социальной приемлемости» оплачено ценой качественного ухудшения человеческого типа! И всё же, отказ от войн в Европе — великое историческое событие. Третьей мировой войны европейская культура не пережила бы, и понимание этого пробило себе дорогу в народных массах, даже не очень сознающих, чем они в этой культуре дорожат.

В духе нашего времени, теперь принято говорить не о высоких идеалах, а об уровне материального благополучия. Прежде всего к этому и стремятся государственные деятели Европы, вряд ли способные теперь думать о чём-то другом. И, конечно, совещания лидеров “большой семёрки” тоже занимаются экономическими вопросами, торгуются и добиваются мелких преимуществ. Пусть лучше торгуются, чем воюют! Как бы ни были жалки личности, позирующие теперь на мировых подмостках, они закладывают основы мирового правительства, которое со временем сможет поддерживать порядок в тёмных углах Земли, не навязывая свою волю более просвещённым нациям.

Количественное расширение европейской цивилизации сопровождалось в XX веке её качественной деградацией, снижением типа человеческой личности и, что хуже всего, исчезновением в ней культурной элиты.

Падение уровня образования, интеллекта и вкуса разительным образом заметно при сравнении книг, газет и журналов, издаваемых в наше время, с литературой начала века. Между тем, уже в 1923 году Альберт Швейцер выполнил такое сравнение с литературой прошлого века и пришёл к столь же удручающим результатам. Деградация печати прямо отражает радикальное упрощение личности пишущих, иногда специально знающих какой-нибудь предмет, но в остальном столь же вульгарных и невежественных, как нынешняя читающая публика.

Возрождение культурной элиты прежде всего предполагает преодоление фикции равенства людей. Юридическое равноправие всех людей вовсе не означает, что они одинаково способны, обладают оди-

наковыми моральными качествами и даже одинаково ответственны за свои поступки. Юридическое равноправие — равноправие людей перед законом — есть полезная фикция, неизбежная при бессловной организации общества и признающая за каждым человеком некоторый минимальный уровень защиты от случайности и произвола. Даже в суде приходится делать поправки на уровень понимания и психической устойчивости обвиняемых и свидетелей. Особенно тяжёлые проблемы влечёт за собой всеобщее и равное избирательное право — этот плод вековых усилий европейской демократии. Телевидение превратило избирательные кампании в цирковые представления, где одерживают верх актёры, лучше всех подделывающиеся под сиюминутные вкусы публики. Несомненно, избирательная система нуждается в реформе, но для этого, опять-таки, нужны серьёзные люди, не боящиеся реакций толпы.

Сегодня нужна новая общественная иерархия, основанная не на богатстве и привилегиях, а на внутреннем достоинстве, — не наследственная иерархия, защищающая собственные интересы, а новая аристократия духа, хранительница высших идеалов культуры. В отличие от русской интеллигенции, давшей миру благородный пример, она должна не просто приносить себя в жертву, а уметь постоять за себя.

Но при этом идеал будущего не может быть пассивно-охранительным, и тем более корыстным. Человечеству нужен положительный идеал. Мы находим этот идеал, под разными именами, во всей истории нашего вида. Его называли гуманизмом, социализмом, но лучше всего он выражается стремлением ко *всеобщему братству людей*. Ещё недавно люди не отчаивались в нём и не стыдились его, а находили в нём высшую радость:

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten, feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt:
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt¹

¹Первая строфа оды Шиллера “*An die Freude*” (“К радости”). Дословный перевод: “Радость, прекрасная божественная искра, / Дочь Элизия, / Мы вступаем, пламенно опьянённые, / Небесная, в твой храм! / Твоё волшебство снова связывает / То, что жёстко разделила привычка: / Все люди становятся братьями / Под твоим нежным крылом”.

Культуры и культурный релятивизм¹

Развитие культуры во второй половине двадцатого века было в значительной мере реакцией на его первую половину, которая была эпохой воинствующего национализма и двух мировых войн. Уже в конце девятнадцатого века в центре мировой политики был “империализм”: великие державы, а вслед за ними и некоторые малые, создавали колониальные империи, стремясь захватить “отсталые” части Земли и вступали между собой в вооруженные конфликты. Особую агрессивность проявляли вновь возникшие национальные государства, опоздавшие к дележу мира: Германия и Италия, добившиеся единства позже других европейских государств, и Япония, только что вышедшая из средневекового феодализма и усвоившая техническую сторону европейской цивилизации.

Империализм требовал идейного обоснования, чтобы заставить собственную нацию участвовать в колониальной экспансии и войнах с другими империалистическими государствами. Конечно, такую идеологию никто не заказывал: она возникла в национальных государствах по другим причинам и заняла в сознании народов место прежней религиозной веры, почти потерявшей своё влияние к концу 19-го века. Новая идеология, получившая имя “национализм”, считала наивысшей ценностью собственную нацию, восхваляя её и противопоставляя её “враждебным” нациям. Таково было, во всяком случае, настроение буржуазии европейских стран. Особенно агрессивный национализм развился в “новых” государствах, где он принял форму *расизма* — доктрины, отождествлявшей нации с расами и пытавшейся убедить людей, что *их раса* — наивысшая из всех, предназначенная самой природой для мирового господства.

Нации — и национальные государства — возникли в Новой истории, соединив родственные (или не обязательно родственные) племенные группы. Соединение их было обычно насильственным, как и вся политика до наших дней; но государственное единство создало почву для развития национальных культур. Каждая культура, как известно, отгораживается от других культур защитными механизмами, препятствующими смешению с ними, и заявляет претензии на превосходство над ними. Национальное государство про-

¹Статья написана около 2000 года в качестве эскиза к книге “Инстинкт и социальное поведение”. — *Прим. ред.*

возглашает обычно, в более или менее агрессивной форме, превосходство собственной нации, подыскивая более или менее правдоподобные объяснения такого превосходства. В эпоху империализма, когда надвигается прямое столкновение государств, на передний план выступает их *военное* превосходство, способность физически разбить соперников, невзирая на правовые, исторические и гуманные соображения; национальные государства, добивающиеся своих целей путем войны, должны оправдать подготовляемое ими кровопролитие, возбудив в своей нации воинствующую ненависть к предполагаемому “врагу”.

Этой задаче содействовал в начале века так называемый “социал-дарвинизм” — доктрина, претендовавшая на научное основание и злоупотреблявшая, тем самым, авторитетом науки, во многом заменившим у современного человека авторитет религии. “Социал-дарвинисты” пытались перенести на отношения между нациями заимствованную у Дарвина концепцию естественного отбора, который сам Дарвин назвал “выживанием наиболее приспособленных”, а затем, пользуясь малоудачным термином философа Спенсера, “борьбой за существование”. Социал-дарвинисты, извращая теорию Дарвина, представляли конкуренцию национальных государств как нечто вроде дарвиновской “борьбы за существование». Но такая аналогия несостоятельна. В этой аналогии “борьба за существование» между нациями не может соответствовать отношениям между видами животных, поскольку разные виды эксплуатируют, как правило, разные ресурсы, и потому не конкурируют между собой. “Борьба за существование” в смысле Дарвина, осуществляющая естественный отбор, происходит между членами *одного* вида и состоит в соревновании за наилучшее использование наличных ресурсов, пригодных для данного вида. Эта “борьба” никоим образом не состоит в прямом физическом противоборстве особей одного вида: такой вид не мог бы выжить; более того, даже прямая “общественная” конкуренция в виде полового отбора опасна, так как может перейти в патологическое развитие особенностей, вредных для выживания вида. “Борьбу” между племенами и нациями можно сравнить лишь с “групповым отбором” — ещё мало изученным соревнованием между стадами общественных животных — причём, опять таки, это всегда соревнование за наилучшее использование ресурсов, а не прямое противоборство. Стаи волков, прайды львов и т. п. не воюют между собой. Таким образом, ссылка “социал-дарвинистов” на “законы природы”, на “биологическую необходимость” войн не выдерживает критики. Это апелляция не к биологии Дарвина, а к сомнительной мудрости

некоторых философов вроде Гоббса, рассматривавших весь мировой порядок как “войну всех против всех” (*bellum omnium contra omnes*). Есть только два вида, у которых группы ведут между собой войны: это заведомо “патологические” виды — человек и крыса. Общего “закона природы”, оправдывающего войны, не существует, и если они могли играть роль в развитии нашего вида, то в наше время они безусловно вредны.

Конечно, философские картины мироздания, о которых только что была речь, основывались на том факте, что живые организмы питаются другими организмами — за исключением растений. Этот факт вызывает у некоторых людей моральное отталкивание, что приводит, например, к вегетарианству. Но мир всё же не так ужасен, как казалось Гоббсу: соревнование между особями *одного вида*, как правило, сводится к конкуренции в поисках пищи и в избежании опасностей, а вовсе не к физической борьбе. Если в истории человека наблюдались исключения из этого правила, то их и надо рассматривать как специфически человеческое *социальное явление*, а не ссылаться на общий “биологический закон”.

Таким образом, “социал-дарвинизм” был псевдонаучной идеологией, предназначенной для оправдания агрессивных войн между национальными государствами. Эта доктрина приобрела особую популярность в “новых” государствах, правящая элита которых стремилась к переделу мира посредством агрессии. Брошюры немецких “социал-дарвинистов” апеллировали к предрассудкам и фобиям тех слоёв населения, которые не способны были прочесть Дарвина: ими вдохновлялся, например, молодой Гитлер. В этих сочинениях на передний план выдвигалось сомнительное понятие “расы”: нация определялась уже не культурными и историческими признаками, а предполагаемым общим происхождением. Конфликты между державами трактовались как биологически неизбежная “борьба за существование” различных и неравноценных рас, в которой “высшая раса” должна подчинить себе или уничтожить “низшие расы”. В начале двадцатого века расовая доктрина была уже весьма популярна в Европе, особенно в Германии; в Америке она нашла благоприятную почву в пережитках рабовладельческой системы; наконец, японские милитаристы переняли у европейцев и это “достижение”, провозгласив собственную расу сильнейшей и предназначенной к мировому господству. Распространение расовой доктрины, или “расизма”, представляло пример образования идеологии на основе ложного истолкования научных теорий. Другим примером была, как известно, идеология коммунизма.

Самое слово “раса”, английского происхождения, первоначально применялось только к животным, главным образом к собакам. Развитие расизма, отвечавшее потребностям возникшего национализма, предшествовало появлению теории естественного отбора (1859). Первым философским сочинением, излагавшим фашистскую доктрину, была вышедшая в 1855 году книга французского аристократа графа Гобино “Опыт о неравенстве человеческих рас”. В этом многословном трактате, насчитывающем свыше тысячи страниц, Гобино восхваляет преимущества “нордической”, т. е. германской расы, придумывая для неё фантастическую историю. Он приходит к пессимистическим заключениям о судьбе человечества, поскольку в нём не удерживаются идеальные пропорции расовых элементов, какие были, например, в период расцвета греческой культуры, где основная нордическая раса обогатилась семитической кровью, доставившей недостававшую германцам творческую фантазию. Эту философию упростил Хьюстон Стюарт Чемберлен, англичанин, переехавший в Германию и сделавшийся немецким писателем. В 1899 году он опубликовал “Основы 19-го столетия”, где провозгласил уже “чистоту германской расы” главным условием её превосходства и, тем самым, стал предшественником расовой доктрины нацистов.

Расизм был примерно таким же псевдонаучным построением, как “мичуринская биология” Лысенко, и точно так же возмещал убожество своей аргументации физическим преследованием оппонентов. Расисты не принимали во внимание смешанный характер всех европейских наций, в том числе немецкой и итальянской, и вынуждены были мириться с неоднородностью их физических признаков, подгоняя свои расовые критерии к текущей политике своих хозяев. Трагические результаты этой политики достаточно известны. Вторая мировая война привела к отчётливой формулировке принципов гуманизма и равноправия всех людей, принятой (по крайней мере на словах) странами антифашистской коалиции.

Создание Организации Объединённых Наций и крушение колониальной системы привели к повсеместному осуждению расизма и провозглашению общих “прав человека”, не зависящих от его происхождения, пола, социального и экономического положения. Конечно, эти принципы не были воплощены в жизнь и даже не принимались всерьёз большинством практических политиков, вынужденных включать их в официальные документы; но самая их формулировка была уже важным поворотным пунктом в истории человечества — великим достижением, оплаченным страшными жертвами двух мировых войн.

Конечно, противоречия между культурами не были разрешены крушением воинствующего национализма в 1945 году. Хотя общее направление истории несомненно ведёт к созданию единой мировой культуры, прекращению войн и взаимному оплодотворению различных культур, национальные и даже религиозные конфликты всё ещё дают опасные рецидивы. Например, в странах ислама, где разложение религии не доросло ещё “западного” уровня, продолжаются попытки гальванизировать остатки мусульманского фанатизма, и даже в России, где серьёзной религиозности давно уже нет, а “национальные чувства” сохранились только в виде мещанской ксенофобии, продолжаются попытки бить мертвую лошадь великорусского шовинизма.

Но развитие мировой экономики в новых условиях, при отказе от прямого применения военной силы, навязывает промышленно развитым странам “идеологию ООН”: формальное признание “прав человека”, как это часто бывает с юридическими доктринами, становится самостоятельно действующим политическим фактором, с которым всем приходится считаться. Утопический лозунг “Соединённых Штатов Европы”, вызывавший насмешки в начале века, превращается в действительность. И когда главы семи важнейших государств собираются, чтобы улаживать мировые экономические — и не только экономические — конфликты, то, при всём убеждении политических лидеров, которых выдвигает наше время, в этом можно видеть зародыш будущего Мирового правительства. Ясно, что в этих условиях взгляды графа Гобино, и тем более Стюарта Чемберлена, крайне неуместны. И хотя “развитые” страны по-прежнему извлекают огромные выгоды из своего “развитого” положения, они не смеют больше оправдывать такое положение своим расовым превосходством. Они оправдывают эти выгоды временным отставанием «других» стран, тщательно избегая всякого упоминания об их культурных особенностях: сначала эти страны назывались “недоразвитыми” (*underdeveloped*), потом “слаборазвитыми”, а теперь их называют “развивающимися”. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что культуры этих стран, без помощи европейской, не в состоянии выйти из своего отставания; тем более нельзя говорить о “высших” и “низших” культурах. На такие выражения наложены табу, точно так же, как на выражения “высшие расы” и “низшие расы”.

К этим внешнеполитическим ограничениям прибавились специальные внутренние условия, особенно проявившиеся в Соединённых Штатах. Здесь уже отменены законодательные формы расовой и на-

циональной дискриминации, но по существу социальное положение человека по-прежнему зависит от его расового или национального происхождения, поскольку существуют неписанные и неподдающиеся юридической регламентации законы обращения с “цветными” или с “чужими” людьми. Униженное положение этих людей, формально полноправных граждан, но фактически низведенных на уровень “людей второго сорта”, не всегда осознаётся их привилегированными собратьями, но остро ощущается ими самими.

Поскольку традиционные формы борьбы за равноправие больше не действуют, “цветные” и другие униженные группы населения нередко впадают в отчаяние и прибегают к неадекватным способам выражения своих эмоций, добиваясь внешнего уважения от “белых”, ничего не меняющего в психических установках обеих сторон, а всего лишь устанавливающего новые стандарты лицемерия. Например, обычное в прошлом слово *negro*, происходящее от португальского слова, означающего просто “чёрный”, теперь полагается заменять словом *black*, означающим то же самое: причина в том, что *negro* созвучно другому слову, выражающему намеренное оскорбление (и произведенному от того же, эмоционально нейтрального *negro*). Более того, был изобретён искусственный термин *afro-american*, “афро-американец”, употребляемый, впрочем, лишь в официальных случаях.

Для чёрных были введены льготные условия приёма на работу и в учебные заведения, часто напоминавшие “дискриминацию навыворот” и воспринимавшиеся как демагогическое заигрывание с “цветным” населением. Впоследствии, под давлением критики, государственные меры этого рода были отменены, но многие учебные заведения, желающие сохранить “либеральную” репутацию, продолжают их применять. Эта политика, разумеется, лицемерна: чёрным дают возможность получить ничего не стоящие дипломы, тем самым выделяя их как особую группу, как предполагается, не способную или не желающую по-настоящему учиться. Трудно придумать более унижительную дискриминацию.

Другой пример лицемерия — это “многорасовая” реклама. Если вы видите в Соединённых Штатах плакат, рекламирующий, например, детскую одежду, то на нём изображаются дети, носящие эту одежду, непременно в разноцветном ассортименте: двое белых, один чёрный и один жёлтый. Предполагается, что это будет приятно чёрным и жёлтым покупателям, а белые воспримут такую рекламу с надлежащим ироническим пониманием: в Соединённых Штатах все уже научились играть в “многорасовое общество”. Почти все

белые соблюдают правила этой игры, чтобы избежать ненужного беспокойства; чёрные и жёлтые, конечно, знают, что это означает. Поскольку воспитание населения остаётся тем же, лицемерие этого “многорасового” спектакля обнаружится при первом же серьёзном социальном кризисе.

“Многорасовое общество” с его коммерцией и внешней политикой нуждается в какой-нибудь идеологии, и так как спрос всегда рождает предложение, то западные “гуманитарные учёные” изготовили такую идеологию и распространяют её, как все другие рыночные товары. Эта идеология называется “культурным релятивизмом” и рассчитана на самую нетребовательную публику. Впрочем, её предлагают не под этим именем, а под самыми различными респектабельными названиями.

В отличие от *научных* теорий, где результат исследования заранее неизвестен, культурный релятивизм преследует *заранее заданную цель*: “обосновать” равноправие рас и наций, приняв без обсуждения *фикцию равенства всех культур*.

Принцип равноправия всех людей основывается вовсе не на этих сомнительных построениях и, точно так же, не на юридических актах, признающих за людьми те или иные права. В основе его лежит непосредственное чувство братства и солидарности всех людей, имеющее *биологическое* происхождение и закреплённое культурной эволюцией.

Общепринятые термины “любовь” и “ненависть”, описывающие отношения между людьми, выражают главным образом действие двух естественно противостоящих друг другу инстинктов, составляющих динамический механизм человеческого общества: *социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии*. Исследованный Дарвином социальный инстинкт есть у всех общественных животных и, в частности, у приматов; он определяет способы совместной жизни у животных этого вида. Это, в наглядном описании, “инстинкт притяжения”. Изученный Лоренцем инстинкт внутривидовой агрессии, первоначально служащий охране личной территории или охотничьего участка, побуждает животное нападать на всех особей своего вида, но не с целью их убийства, а с целью их изгнания со “своей” территории; это “инстинкт отталкивания”, корректируемый вторичными инстинктами, препятствующими нападению на самок в период спаривания, на незрелое потомство, и т. д. Сообщества животных не могут держаться жёсткими связями, поскольку особи должны обладать некоторой независимостью; поэтому действие обоих инстинктов напоминает систему напряжен-

ных пружин, в которой, в зависимости от условий, одна пружина пересиливает другую.

Вначале эти инстинкты имели разные сферы действия. Инстинкт внутривидовой агрессии направлялся против *всех* особей своего вида, с указанными выше “поправками”, тогда как социальный инстинкт действовал лишь в пределах “собственной” группы, или небольшого племени. Инстинкты передаются механизмом генетической наследственности, но каждый инстинкт, во всяком случае у высших животных, не является жёстким алгоритмом, а представляет собой “открытую программу”, заполняемую разнообразными “подпрограммами” в течение жизни индивида. Характер этих подпрограмм, впрочем, у животных ограничен возможным опытом этого индивида. Но у *человека*, кроме генетической наследственности, существует вторая система наследственности — *культурная*. Эта система включает в себя понятийное мышление и языковое общение, различающиеся в зависимости от культуры, в которой воспитывается индивид. Культурная традиция у человека имеет собственную эволюцию, в ходе которой инстинкт внутривидовой агрессии был значительно ограничен, сначала в применении к “собственной” группе, а потом ко всем людям вообще, тогда как сфера действия социального инстинкта расширилась, потенциально на весь человеческий вид. С точки зрения описанной биологической концепции, принадлежащей в основном Конраду Лоренцу, принцип равноправия всех людей следует рассматривать как *результат культурного развития нашего социального инстинкта*. Нарушение этого принципа означает регрессию к давно пройденной стадии культуры — к средневековью или к древности — а в особо резких проявлениях представляет расстройство биологического механизма социального инстинкта, то есть патологическое расстройство в медицинском смысле этого слова.

Конечно, можно сознательно желать регрессии, то есть возвращения к крепостному праву, рабству и другим формам узаконенного неравенства людей, присущим мёртвым культурам и ещё не совсем исчезнувшим в нашей, современной культуре. В истории, в самом деле, бывали эпохи регрессии, а в наше время, с нашими сложными машинами и плотным населением, такая регрессия означала бы угрозу самому существованию нашего вида. Но здесь нельзя *доказать*. Принцип равенства есть неотъемлемая часть той культурной традиции, которая прежде — ещё до полного признания этого принципа — называлась “христианской”, а теперь называется “европейской”, или “западной” культурой. По-видимому,

никакая другая культура, за исключением, может быть, первоначального учения Будды, не воплотившегося в массовую культуру, не выработала этого принципа. Но “доказать” его нельзя. Попытки некоторых “гуманитарных” учёных доказать равноправие всех культур, как мы увидим, не выдерживают критики. “Опровергнуть” его тоже нельзя. Попытки психологов-бихевиористов измерить человеческие способности при помощи тестов вроде пресловутого *IQ* не привели к убедительным результатам; но если бы даже удалось доказать, что группа людей *A* превосходит группу *B* в математике или лингвистике, а группа *B* превосходит группу *A* в чём-нибудь другом (чего тест *IQ* вовсе не содержит), то это не давало бы ни малейших оснований отвергнуть принципиальное равенство всех людей. Общие принципы, принимаемые некоторой культурной традицией, в некотором смысле аналогичны религиозным верованиям. Для верующего христианина равенство людей самоочевидно, но для него это могло быть всего лишь равенством “перед богом”, не мешавшим такому верующему заниматься работоторговлей. Мы, неверующие, принимаем это равенство всерьёз, потому что наша этическая традиция, выросшая из христианской, давно её переросла. Софизмы, призывавшие рабов повиноваться своим господам, до сих пор входят в обязательную этику христиан, хотя они этого и стыдятся. Аналогия с религией нужна нам лишь для того, чтобы объяснить элемент веры, входящий в нашу культурную традицию — как и в любую другую. Если вы не верите в равенство людей, в указанном выше этическом и культурном смысле, то вам ничего нельзя доказать. Будьте в этом случае последовательны и не называйте себя ни христианином, ни демократом, ни гуманистом. А мы уже найдем, как вас назвать!

Но что же такое “культура”? Это слово, в его латинском первоначальном смысле, означало “земледелие”, и сохранило такой смысл в романских языках. Есть два новых смысла, относящихся к нашему предмету. Один из них — это “культура” в единственном числе, означающая “обработанное”, “культивированное” состояние человека или общества, в отличие от “природного”, “первобытного” состояния, обозначаемого латинским словом *natura*. В этом смысле о культуре много говорили в девятнадцатом веке: говорили о “культурных” и “некультурных” людях, о странах “высокой культуры” и “низкой культуры”, а русские разночинцы и коммунисты пытались “повысить культурный уровень” своего народа. В таком

смысле слово “культура” чаще всего применяется и по сей день, когда нас окружают всё более “некультурные” люди, а культурным называют человека, имеющего какой-нибудь диплом.

В другом смысле слово “культура” имеет множественное число. Это смысл придали ему этнографы, изучавшие в девятнадцатом, и особенно в двадцатом веке “первобытные” племена. Ещё до этого были в обращении термины “французская культура”, “китайская культура”, “африканская культура”, “средневековая культура” и т. д. культурой назывался в таком смысле весь образ жизни соответствующей нации, группы наций или исторического периода в какой-нибудь части света. В девятнадцатом веке начались систематические исследования образа жизни “первобытных” или “примитивных” племён, составившие новую науку — этнографию (или, как её называют на Западе, этнологию). Этнографы торопились изучить сохранившиеся, ещё не затронутые европейским влиянием племена — в джунглях, горах и пустынях, на океанских островах, за Полярным кругом. В отличие от первых путешественников, видевших в “туземцах” только невежественных дикарей, и от “философов” восемнадцатого века, наделявших этих дикарей необычайными добродетелями, этнографы поселялись среди какого-нибудь племени, изучали его язык и обычаи, делали записи и осторожно фотографировали. Музеи Европы и Соединённых Штатов наполнились образцами одежды, оружия и искусства изучаемых племён. Оказалось, что эти сообщества были вовсе не просты, что они имели свою исторически сложившуюся культуру, столь же своеобразную и устойчивую, как культуры “цивилизованных” наций. Их фольклор содержал глубокие образцы поэзии, их мифология поразительно напоминала древнейшие предания, дошедшие до нас в письменности Египта, Ближнего Востока и Греции; а нравственные понятия и правовые системы всех племён, при всём различии подробностей, были построены на тех же основных принципах, что и наши. Этнография свидетельствовала о глубоком единстве человеческого рода, в то время как биология пришла к выводу о его общем происхождении и, в конце концов, в Восточной Африке антропологи нашли его родину, приблизительно определив область, где жило первое человеческое племя.

Методы этнографии совершенствовались: от первоначального описательного подхода эта наука перешла к углублённому изучению функционирования общественных механизмов, а после возникновения кибернетики этнографы стали рассматривать племена как живые системы, аналогичные “цивилизованным” сообществам, но оста-

новившимся на более древней стадии развития. Глубокое понимание этих систем было достигнуто в синтезирующих работах Клода Леви-Строса и Грегори Бейтсона. Этнографы поняли, что каждое племя — или группа родственных племён — имело свою *культуру*, и стали говорить о культуре ацтеков, кафров, таитян, острова Пасхи и т. д. Кибернетический подход к племенным культурам увидел в них *модели* человеческой культуры, демонстрирующие её различные стороны и возможности. Понятие “модели” требует объяснения.

Научное исследование всегда стремится свести более сложное к более простому — настолько простому, чтобы можно было понять свойства более сложного объекта, изучая его упрощённый аналог. Если надо изучить сложный объект *X*, то ищут более просто устроенный объект *Y*, воспроизводящий некоторые свойства *X*, и исследуют эти свойства на объекте *Y*. *Y* называется моделью *X*. Для других свойств того же объекта *X* можно воспользоваться другой моделью, *Z*, так что процесс изучения основного объекта *X* требует привлечения различных моделей, каждая из которых лишь частично отражает свойства *X*. Уже в самом начале человеческого познания люди пытались “моделировать” явления природы действиями человекообразных существ; таким образом, в качестве древнейшей “научной теории” возникла религия. В этом случае моделируемые объекты часто бывали, по своему строению, *проще* человека: человек служил моделью потому, что о нём кое-что знали. Конечно, религия была очень плохим способом моделирования природы, и её значение состояло в психологической организации человеческого поведения, а не в научном познании. Более серьёзной была попытка моделировать на человеке систему *сложнее* человека — человеческое общество. Менений Агриппа, пытаясь умиротворить взбунтовавшийся римский плебс, сравнивал гражданское общество с человеческим телом, причём разным сословиям соответствовали различные органы тела. Этот подход, при всей его наивности, несколько напоминает современную этологию человека, моделирующую культуру видами животных.

В так называемых точных науках применяются математические модели: система *X* заменяется системой символов *Y*, связанных между собой определёнными отношениями, воспроизводящими те или иные явления в системе *X*. В физике в качестве моделей используют “уравнения движения”, исследование которых доставляет понимание явлений природы. Более сложные явления не поддаются математическому моделированию — то есть моделированию абстрактными системами. Уже в самом начале кибернетики Норберт Винер

и его сотрудники моделировали работу органов человека с помощью саморегулирующихся механизмов, таких, как регулятор Уатта, гироскоп или автопилот. Для более сложных функций моделирование механическими или электрическими системами оказывается недостаточным: эти системы слишком просты. Поэтому попытки моделирования общественных явлений техническими системами, предпринимавшиеся на первом этапе кибернетики, не привели к интересным результатам. Инженерные устройства были слишком просты, чтобы отображать эти явления. Хорошая модель должна быть достаточно проста, чтобы на ней видны были интересующие нас явления в изучаемой системе. Но в то же время достаточно сложна, чтобы эти явления имели в ней своё отображение. Как уже было сказано, этология моделирует человеческую культуру (одну определённую из культур) некоторым видом животных (тем или другим видом, в зависимости от изучаемых явлений). Плодотворность этого подхода доказывается в книге Лоренца «Оборотная сторона зеркала». Но задолго до возникновения этологии и кибернетики этнографы поняли, хотя и без отчётливых формулировок, что «первобытные» сообщества служат моделями современных «развитых» культур, и нередко изучали их с этой точки зрения. При этом они сознавали, что племенные культуры достаточно сложны, чтобы служить моделями современных культур, но не сомневались в том, что они существенно *проще* современных, и поэтому легче поддаются изучению. Именно это обстоятельство стимулировало более глубокое исследование «первобытных» культур: при всей их самостоятельной ценности, они помогают нам понять самих себя.

«Первобытные» племена очевидным образом находились на разных стадиях развития. В Центральной и Южной Америке из них развились уже государства, во многом напоминающие культуру древнего Египта. В Северной Америке и в Африке были уже племенные союзы, похожие на союзы кельтов и германцев, какими их нашли римляне. Другие племена находились на более древних стадиях развития, а некоторые из них, по-видимому, регрессировали с более развитого уровня, оказавшись в особенно неблагоприятных условиях. Как правило, географическая изоляция племён и племенных групп способствовала их культурному отставанию. Различные племенные культуры, при надлежащем их понимании и расположении, раскрывают перед нами всю историю развития человечества до изобретения письменности. Они напоминают кадры единой киноленты, точно так же, как близко родственные разновидности одного вида, остановившиеся на разных стадиях развития, раскрыли

перед Лоренцем историю развития поведения, как будто снятую замедленной съёмкой. В обоих случаях можно проверить закономерность построения путём “интерполяции”: наподобие того, как Менделеев предсказывал элементы, “недостававшие” в его таблице, которые впоследствии обнаруживались в природе, можно предсказать промежуточные формы животных или человеческих сообществ, которые в дальнейшем удаётся найти.

Никто из серьёзных учёных никогда не оспаривал эту историческую последовательность культур, дошедших до нашего времени в различных стадиях развития. Тем самым, культуры располагаются в упорядоченную последовательность по уровню своего развития — впрочем, с некоторой оговоркой. Хотя мы всегда можем оценить этот уровень развития, например, по материальной культуре, языку, иерархической организации и т. д. — это не значит, что культуры можно *строго* упорядочить, установив для *каждых* двух культур, которая из них более развита. То, что в действительности наблюдается, есть скорее “частичная упорядоченность”, в которой культура *A* может быть в некоторых отношениях более развита, а в других — менее развита, чем культура *B*; но если уровни этих культур *значительно* различаются, то их упорядочение не вызывает сомнений. Так же обстоит дело и в истории поведения, которую можно изобразить не одной, а несколькими “кинолентами”, похожими друг на друга. Если они совсем расходятся, то образуется новый вид; это происходит обычно путём быстрого мутационного процесса, причём промежуточные формы вымирают. В случае человеческих племён очень мало можем узнать о вымерших племенах, но все выжившие определённо составляют “один вид”.

Культурные релятивисты не углубляются во все эти сложные вопросы, опасаясь задеть самолюбие какой-нибудь расовой или национальной группы. В самом деле, если сконструировать из различных племенных культур понятие “африканской культуры” (точнее, культуры банту), то уровень этой культуры может оказаться ниже уровня развития европейской культуры; но тогда могут обидеться активисты чёрного студенчества, требующие, чтобы европейская и африканская культуры рассматривались как “равноценные”, чтобы им отводилось одинаковое место в программах, и т. п. Конечно, эти активисты возмущались бы, если бы от них потребовали знание какого-нибудь из языков банту, но зато у них появляется возможность заметно облегчить “европейскую” часть своей учебной нагрузки. Взамен истории Европы им предложат, например, послушать “равноценную” историю Африки, а вместо “белых” преподавателей

можно потребовать себе “чёрных”, предполагая, разумеется, что эти всегда будут “равноценны”. Иначе говоря, основываясь на “равноценности” культур, некоторые студенты будут добиваться права на *отдельную* форму образования и отдельные программы, то есть на *сегрегацию* в рамках своего университета, предполагая при этом, что им выдадут те же дипломы, что и всем остальным — дипломы, дающие им те же права. Если довести эту логику до конца, то любая группа, добивающаяся для себя особых привилегий, могла бы ссылаться на “равноценность” своей культуры с тем же успехом, если только у неё будет такой же “политический” нажим.

Сущность культурного релятивизма можно выразить простой формулой: “поскольку все люди равны, все человеческие культуры равноценны, и любая попытка установить между ними ранговый порядок есть «расизм»”. Эта формула популярна среди американских “левых”. Готовность принять её даже рассматривается как признак “левизны” или “либерализма”; отказ согласиться с нею неизбежно навлекает на человека обвинение в “консерватизме”, помещая его в один лагерь с людьми, которых он не желает знать. Иначе говоря, перед нами вовсе не научная теория, а политическая доктрина, претендующая на научное обоснование и имеющая целью смягчение напряжений в “многорасовом” обществе. Что же означают в этой формуле “равноценность” или другие аналогичные выражения, в применении к культурам? Что имеют в виду люди, поддерживающие формулу культурного релятивизма, и что хотят сказать те, кто с нею не согласны?

Прежде всего, надо решить, что означает “равноценность”. Самая форма этого слова указывает на то, что перед нами *ценностное суждение*, суждение о том, “что хорошо, и что плохо”. Ценностные суждения недоказуемы — они принимаются вместе с традицией. Если формула культурного релятивизма означает, что все существующие культуры вызывают у сторонника этой формулы *одинаковое одобрение*, одинаковое эмоциональное отношение к ним, то носителя таких эмоций можно заподозрить в неискренности. В самом деле, способность любить своих “ближних”, как уже говорилось выше, у человека ограничивается группой в несколько десятков человек, потому что эта способность определяется инстинктом, сложившимся в первоначальных группах этой численности. По отношению к другим людям у нас может быть другая, не столь интенсивная эмоция, уже не инстинктивного, а “культурного” происхождения. Ещё более избирательны наши эмоции по отношению к культуре: человек больше всего любит и ценит культуру, в которой он воспитан, её язык,

её музыку, её обычаи, её литературу и искусство. В редких случаях у человека развивается достаточное знание другой культуры, чтобы её полюбить, как свою собственную; у образованных людей возникает чувствительность к нескольким “чужим” культурам — но никоим образом не ко всем. Таким образом, “ценностное” определение “равноценности” представляет неправдоподобное допущение о наших эмоциях. Чтобы придать формуле культурного релятивизма серьёзный смысл, надо вложить в неё не эмоциональное, а рациональное содержание. В каком же смысле её можно истолковать?

В этой формуле идёт речь также о правах людей. Мы признаём равноправие всех людей, хотя не можем их всех любить, как любим близких людей. Это значит, что любой человек, по нашему убеждению, должен пользоваться одинаковыми возможностями развития и подчиняться одинаковым ограничениям. Несомненно, в таком виде это рациональное суждение, хотя и нагруженное определённой безличной эмоцией, порождаемой нашей культурой. Я бы определил эту эмоцию следующим образом: мы допускаем, что любой человек в принципе может вступить с нами в близкие отношения, то есть, достоин нашей любви.

Что же означает “равноценность культур”, и вытекает ли она из равноправия индивидов? Как мы уже видели, речь идёт не об эмоции, а о рациональном отношении к культурам. Можно ли, с *рациональной точки зрения*, приписать им одинаковую ценность? Простое признание за всеми культурами права на существование и развитие здесь недостаточно: подобное признание предполагает невмешательство в их жизнь со стороны господствующей западной культуры, поскольку она очень быстро разрушает все “местные” культуры, как только приходит с ними в соприкосновение. Но оставим пока в стороне проблему выживания культур и займёмся их “оценкой”.

На первый взгляд такая оценка представляется подозрительной. Сто лет назад даже либеральные авторы непринуждённо говорили о “высших расах”, и “низших расах”, смешивая антропологические характеристики людей и их традиционную культуру. Такие авторы не отдавали себе отчёта в том, что расовая принадлежность человека не находится в однозначном соответствии с его культурой: она зависит от генетической наследственности человека, а с культурной наследственностью связана лишь статистически, то есть большинством представителей данной расы, по историческим причинам, принадлежат некоторой культуре, но может принадлежать и другой. Монголы принадлежат “жёлтой” расе, вместе с китайцами, но язык

их был некогда перенят у “белых” племён, а образ жизни не имеет ничего общего с китайским; чёрные американцы, какова бы ни была их политическая установка, принадлежат западной культуре, в её очень определённой американской разновидности, а вовсе не к африканской культуре, и т. д. Культура — в том числе её важный отличительный признак, язык — никоим образом не тождественна с расой. Это отчётливо понимали уже лингвисты и антропологи девятнадцатого века, если даже они пользовались нелепыми выражениями, будто бы “оценивая” расы как “высшие” и “низшие”. Я не говорю здесь, конечно, об учёных и неучёных расистах, терминология которых не представляет интереса.

Раса определяется генотипом человека; характерное время изменения расовых признаков — десятки тысяч лет. Культура определяется культурной наследственностью человека; характерное время изменения культурных признаков — сотни лет. Таким образом, на данном этапе существования человечества можно рассматривать расовые признаки как постоянные (отвлекаясь от происходящего в наше время интенсивного смешения рас!), тогда как культурные признаки быстро меняются.

Это значит, что в отличие от расы, культуры имеют *историю*. Расы — понятие биологическое. Они входят в социологию как постоянные величины, которые можно сравнивать по физическим и психическим признакам, как подвиды одного вида, причём различия, с биологической стороны, несущественны. Поэтому бессмысленно говорить о “высших” и “низших” расах: это смешение культурных признаков с физическими. Культуры — понятие социальное и историческое. Мы пока мало знаем о культурах, но изучение мёртвых культур, завершивших свой жизненный цикл, показывает, что каждая культура проходит фазы развития, аналогичные развитию вида, но значительно быстрее. Во всяком случае, культура начинается с более простой, “примитивной” формы, затем усложняется, достигает длительного устойчивого состояния и, наконец, приходит в упадок или гибнет в столкновении с некоторой другой культурой. Моделирование культуры зоологическим видом гораздо более продуктивно, чем сравнение с жизнью индивида. Можно говорить о “детстве” культуры, о её “зрелости” и “дряхлоści”. Но культура не “смертна” в том же смысле, как индивид. Культура способна существовать в условиях длительной стагнации: история египетской или китайской культуры, относительно защищённых от внешних опасностей, напоминает историю видов, живущих в очень медленно меняющейся среде и имеющих мало стимулов изменяться. “Гибель”

культуры как правило не означает полного прекращения её существования: сталкиваясь с другой культурой, она трансформируется в “гибридную” новую культуру. Во всяком случае, культуры *развиваются* от более простых форм к более сложным, а затем может произойти упрощение культуры, с выпадением её более утончённых функций. В ряде случаев культуры изолированных племён обнаруживают доказуемые признаки такого упрощения.

Аналогия между развитием культуры и жизнью индивида неудовлетворительна ещё и в том отношении, что индивид, если только не умрёт, непременно превращается из ребёнка во взрослого; между тем, история культуры во всех известных нам случаях останавливается на некоторой стадии, более или менее “развитой” в зависимости от местных обстоятельств, а затем следует застой или распад.

Сложность культуры является её качественной — хотя, разумеется, не количественной — характеристикой. Обычно эта сложность возникает из приспособления культуры к изменяющейся среде и свойственна культурам, *устойчивым* к изменениям среды, а следовательно, способным к распространению, к выживанию при столкновении с другими культурами и влиянию на другие культуры. Имеется в виду сложность культуры как динамической системы, взаимодействующей со своей средой и приспособленной к изменениям этой среды, а не утончённое приспособление к неизменной среде, с детализацией знания об этой единственной среде. Этнографы обнаружили у многих племён поразительный запас сведений об окружающей природе, о растениях и животных, о погоде, об оттенках цвета и запаха и т. п., а также детально разработанную мифологию, пытающуюся упорядочить и объяснить все эти факты; Леви-Строс назвал эту мифологию “примитивным мышлением”. Конечно, сложность этого мышления никак нельзя сравнить со сложностью современного естествознания, позволяющего понять и объяснить явления во всевозможных природных условиях. Но культурные релятивисты настаивают на том, что “все культуры одинаково сложны”, и на этом основывают утверждение на их “равноценности”. Сложность структуры, в научном значении этого слова, означает *структуру, приспособленную к выживанию и развитию в разнообразных и меняющихся условиях*.

Этим определяется и оценка сложности вырождающихся, “упадочных” культур. Португальские мореплаватели обнаружили в Индии культуру с гораздо более утончённым уровнем материального быта, но уже разложившуюся и не способную к сопротивлению. При всём их варварстве, эти грубые насильники представляли культуру

с более высоким потенциалом развития — более сложную культуру; индийские раджи, не менее жестокие и бессовестные, представляли более простую, увядающую культуру. Я отдаю себе отчёт в том, что европейская колонизация была насилием над населением колонизированных стран, порабощением народов этих стран и их безжалостной эксплуатацией. При этом, в отличие от “обычного” столкновения культур, колонизация не могла быть оправдана даже моральными критериями самой европейской культуры.

Сложность культуры, в указанном выше “кибернетическом” смысле, измеряет её уровень развития и диапазон её возможностей. В этом смысле более сложные культуры издавна назывались “высокими” культурами, а культуры вообще различались по их “высоте”. В наше время, под политическим нажимом культурных релятивистов, немногие решаются сказать, что одна культура выше другой. Конрад Лоренц усматривает объективные причины для такой классификации культур и применяет к ним это обозначение. Нет серьёзных причин отказываться от утверждения, что культура древней Греции выше культуры острова Таити. Это утверждение никоим образом не оскорбляет чувства таитянина, который может быть столь же способным человеком, как Платон или Архимед, но не сможет проявить эти способности, оставаясь в рамках “своей” культуры. Для проявления способностей человека нужны культурные условия. Вряд ли надо кому-нибудь доказывать, например, что японцы могут делать первоклассные работы по математике и физике, но полтора века назад, когда Гончаров прибыл в Японию на фрегате “Паллада”, ни один японец этим не занимался, что не мешало проницательному путешественнику предсказать Японии блестящее будущее. В то время японская культура — весьма утончённая феодальная культура, напоминающая европейское средневековье — была ниже европейской, а теперь во многих отношениях ей не уступает. Но это уже не та японская культура, какую наблюдал Гончаров: произошла “прививка” к этой культуре европейской культуры, и она испытала качественное изменение. Такую же “прививку” совершил в России Пётр Великий. Лоренц считает “прививку” культуры важнейшим фактором культурного развития, несколько напоминающим возникновение нового вида путём мутации. Он ссылается на французского поэта П. Валери, у которого заимствует термин для обозначения этого процесса (*“la greffe”*).

Эволюция и прогресс¹

Несмотря на сомнения выдающихся мыслителей, общепринятая в наше время психическая установка состоит в том, что на Земле продолжается “прогресс”. Это представление давно уже не вызывает прежнего энтузиазма, но самый факт вряд ли оспаривается, потому что невозможно отрицать происходящие в нашем мире изменения. Меняется, прежде всего, техника, вторгающаяся в повседневную жизнь, и наука, снабжающая эту технику неожиданными идеями; поэтому термин “прогресс” чаще всего сопровождается ограничивающим его прилагательным: говорят, что происходит “научно-технический прогресс”.

Конечно, уже давно известно, что техника приносит нам не только блага, но и тяжёлые проблемы, но в общем люди не сомневаются, что этот прогресс благотворен и необходим. Иначе обстоит дело с человеческой составляющей прогресса. Доктрина прогресса, возникшая в 18 веке, считала само собой разумеющимся, что развитие науки и техники будет сопровождаться совершенствованием человеческих учреждений и самого человека, ради которого существуют эти учреждения. За последние сто лет учреждения и в самом деле изменились; но главный вопрос в том, как изменилась человеческая личность, или, выражаясь принятым в этой книге языком, как изменился *тип человека*. По этому поводу суждения наших современников далеко не единодушны, и самые проникательные наблюдатели этого процесса оценивают происходящее изменение человека с примечательным пессимизмом.

С точки зрения гуманистической философии, *целью культуры является создание более высокого типа человека*. Продвижение в этом смысле никоим образом не измеряется ни количественными показателями коллективного благополучия, вроде национального дохода или уровня производства, ни качеством материального потребления. Но тип человека трудно поддаётся оценке, как и вся духовная жизнь вообще. Поэтому в главе 4, когда речь шла о сравнении культур, мы исходили из эмпирического наблюдения, что более высокие культуры — культуры, вырабатывавшие более высокие

¹Статья написана в начале 2000-х годов как эскиз для книги “Инстинкт и социальное поведение”, откуда происходят неоднократные ссылки на предыдущие главы. — *Прим. ред.*

образцы человеческой личности — могут быть описаны более объективным критерием. Этот критерий, подробно рассмотренный в той же главе, мы обозначили термином “сложность”. Разумеется, невозможно доказать превосходство “сложного” над “простым”, развитого над примитивным, менее вероятного над более вероятным. Предпочтения этого рода как раз и составляют принимаемую нами философию. Старый спор между идеалом Спарты и идеалом Афин решается в зависимости от того, какой тип человека вы находите более высоким. Но если ваша философия предпочитает Афины, то вы замечаете, сверх того, что афинская цивилизация была *сложнее*. Этот объективный критерий должны будут признать и те, чьи симпатии на стороне Спарты.

Может показаться, что наша Западная цивилизация непрерывно усложняется; вместе с её техническим оснащением усложняется её повседневная жизнь, структура потребления и запросы потребителя. Значит ли это, что повышается уровень Западной культуры?

Для ответа на этот вопрос надо рассмотреть культуру как систему, состоящую из взаимодействующих подсистем. Конечно, структура этой системы очень сложна, но важнейшим её элементом является отдельный человек — индивид. Сложность машины может заключаться во взаимодействии её деталей, в то время как сами эти детали могут быть просты; в человеческом обществе существует совершенно иное отношение между целым и его частями. Человек уже потому не может быть простой “деталью” общественной машины, что он сам неприводимо сложен, не может быть произвольно упрощён. Если даже оставить в стороне ту “глобальную” истину, что сама культура существует ради человека, то и с чисто кибернетической стороны человек — подсистема очень своеобразная. Во-первых, его собственная сложность намного превосходит всё, что требует от него “общественная машина” — о чём ещё будет речь; во-вторых, его нецелесообразно использовать для совсем простых функций, которые можно поручить роботам, а более сложные функции требуют от него, чтобы он не был слишком уж прост. Например, современная Западная культура уже неспособна произвести *грамотного* работника, и скоро уровень его грамотности опустится до уровня компьютерного чекера, или ниже.

Упрощённый человек, о котором была речь в предыдущей главе, — это человек, врожденные способности которого большей частью остаются без применения. Кроме немногих из них, нужных для его производственной функции, все они — как мы уже видели — остаются не востребуемыми. Как *элемент культуры*, такой

человек прост, при всей потенциальной сложности его природы: общество пользуется человеком столь же неразумно, как человек, забивающий скрипкой гвозди. Но в таком случае при оценке сложности нашей культуры мы должны прежде всего обратить внимание не на сложность её второстепенных технических элементов, а на человека этой культуры. Катастрофическое упрощение этого основного элемента культуры — хотя и безличное для её столь же некультурных политических деятелей, упростившихся вместе с нею, — означает уменьшение её сложности, то есть снижение уровня культуры.

Очень скоро этот процесс приведёт и к очень серьёзным экономическим трудностям, которые только и умеют замечать руководители западного общественного мнения. Уже и сейчас многие фирмы не могут найти грамотную рабочую силу: школьные аттестаты ничего не стоят, и этим объясняется процветание американских университетов, поскольку бюрократы всё ещё верят в университетский диплом. Но вернёмся к нашей теме.

Упрощение человека означает упрощение культуры, и тем самым снижение уровня культуры. Культура становится всё более однородной, в ней всё реже происходят культурные события, в основе которых всегда лежит особая индивидуальность. В самом деле, идеи рождаются в голове отдельного человека. Творческую личность нельзя заменить работой коллектива. Можно создать “мозговую трест”, но откуда взять мозги? Упрощённый человек не мыслит и, во всяком случае, не производит новых идей. Ещё в шестидесятые годы американские социологи, встретившись с очевидной неспособностью учёных решить некоторые насущные проблемы, задались вопросом, какие условия лучше всего способствуют научному творчеству. Они пришли к выводу, что глубокие научные идеи рождались не в больших, насыщенных дорогостоящей техникой современных университетах, а в малых университетах старого типа, какие были в европейских странах 19-го века, где на кафедре был один профессор, а у него один или два ученика-ассистента. Даже технические изобретения, как правило, рождаются не в институтах крупных фирм, а в небольших частных лабораториях, устроенных небогатыми энтузиастами. Идеи нельзя купить за деньги. Технический тупик, изображённый в предыдущей главе, иллюстрирует эту простую истину.

Вопрос о “роли личности в истории” никоим образом не нов.

Старые историки, вплоть до 19-го века, склонны были объяснять исторические явления общественным мышлением — борьбой религиозных и политических идей. В их изложении исторических событий главную роль играли носители новых идей, “великие люди”. Это был “субъективный” подход к истории, не подходивший к общему настроению образованного общества 19-го века. Европейской общество перенесло свою веру с религии на науку, и это отразилось на гуманитарных учёных, стремившихся сделать свой подход “объективным”.

Мы уже видели, какое воздействие на общественное мышление произвёл Дарвин. Но сам Дарвин был очень осторожен в применении идеи естественного отбора к человеческому обществу. Хотя первым толчком к этой идее была книга Мальтуса, относившаяся прежде всего к человеку, Дарвин видел в мотивах человеческого поведения не только конкуренцию в использовании ресурсов окружающего мира, но и прямую внутривидовую борьбу, вредность которой для сохранения вида он отчетливо сознавал. Знаменитый пример маховых перьев фазана-аргуса, иллюстрирующий это утверждение, Лоренц заимствовал из книги Дарвина о происхождении человека. Тем более, Дарвин не мог не видеть опасности войн между племенами и государствами, в особенности современными цивилизованными государствами. Такие войны превратились в угрозу для нашего вида задолго до изобретения атомной бомбы — может быть, даже до изобретения пороха. К сожалению, последователи Дарвина — дарвинисты — не были столь осторожны. Они начали применять представление об естественном отборе ко всем человеческим конфликтам, отступив тем самым от строго научного подхода Дарвина к древней пошлости, толковавшей человеческое общество как *“bella omnium contra omnes”* (“война всех против всех”).

Отцом “социального дарвинизма» был английский философ Герберт Спенсер. ещё до выхода в свет “Происхождения видов”, в начале 1850-х годов, Спенсер, не имевший никакой естественно-научной подготовки, пришёл к своей формуле “борьба за существование” (“struggle for life”). В обстановке раннего капитализма, уже породившей книги Адама Смита и Мальтуса, такое понимание жизни не представляло особенного достижения: можно сказать, что оно разделялось всеми предпринимателями и политиками того времени. В отличие от Дарвина, исходившего из наблюдений над животными и очень осторожно применявшего свои выводы к людям, Спенсер знал только людей и переносил свои наблюдения с людей на животных. Затем, полагая, что он открыл общую закономерность всего живого

и опираясь на плохо понятую им теорию Дарвина, Спенсер ещё более уверенно применял свои идеи к человеку. Эти чисто умозрительные построения Спенсера — бывшего всего лишь посредственным философом-доктринером — произвели сильное впечатление на общество 19-го века, поскольку Дарвин неосмотрительно принял для обозначения естественного отбора термин Спенсера “борьба за существование”. Здесь произошёл очень распространённый в истории культуры “перенос акцента с содержания на слово”. Напомним ещё раз, что естественный отбор в смысле Дарвина — это *соревнование в использовании ресурсов вневидового окружения, в котором “победители” имеют больше шансов выжить и оставляют больше потомство*. При этом особи одного вида не вступают в прямую борьбу друг с другом, а их агрессивность ограничивается охраной “охотничьей территории”, и у высших животных инстинкт внутривидовой агрессии не приводит к убийству или к серьёзному ранению собрата по виду.

Социал-дарвинизм был очень влиятелен в Европе конца 19 и начала 20 века. Особенно вредны для культуры были его последствия в Германии, где он впоследствии стал идеологической основой нацизма. Многие думали в то время, что эта философия, признающая привилегии “сильной личности”, противоположна “нивелирующему” воздействию современной демократии. Но в действительности она ставит силу на место права, отбрасывая общество на уровень раннего средневековья; можно увидеть, как в Германии эта идеология соединилась с тем, что Гегель называл “философией права” — в признании основной вечного права любой формы захвата или насилия. Ясно, что с точки зрения социал-дарвинизма не могло быть никаких “прав человека”, так что подавляющее большинство населения должно было довольствоваться участием рабочего скота. Представление о правах человека, утверждённое Французской революцией, было мощным двигателем прогресса, и это представление социал-дарвинизм хотел заменить культом грубой силы и финансового успеха.

С другой стороны, социал-дарвинизм уничтожил всё христианское наследие Западной культуры, подрывая её традиционную этическую установку. С его точки зрения, “лучшим” человеком был человек, преуспевающий в конкурентной борьбе за существование. Мы видели, как это представление отразилось в кальвинизме; но даже в этом учении оставалось христианское понятие греха, умерявшее его бесчеловечность. С позиций “социал-дарвинизма” отождествлялись понятия “сильного” и “наиболее приспособленного” человека;

но сплошь и рядом преуспевающим в буржуазном обществе оказывался вовсе не человек, способный сопротивляться и бороться с окружающей средой, а человек податливый и покорный, готовый примениться к существующим условиям. Итак, общество неограниченной конкуренции, изображённое Спенсером как естественное, согласное с законами природы состояние человеческого вида, оказывается отступлением от давно достигнутых достижений высокой культуры. Как известно, “дикий капитализм” в Англии должен был уступить место более цивилизованным методам производства, а нацизм в Германии оказался вовсе уж эфемерным культурным явлением.

Другой попыткой описания “объективного” описания общества был марксизм. Как мы уже видели, марксизм написал на своём знамени “освобождение труда” от наёмного рабства. Но эта его эмоциональная установка парализовалась его “классовым подходом”, видевшим в человеке прежде всего представителя определённого социального класса и наделявшего каждого человека соответствующим “классовым сознанием”. По существу, Маркс всегда оперировал “усреднённым” по классу человеческим существом. В этом смысле надо понимать его знаменитое изречение “общественное бытие людей определяет их общественное сознание”. Прилагательное “общественное” означает “среднее по классу”, так что “человек” для Маркса — всегда “средний” рабочий, “средний” буржуа, и т. д. Но эта формула Маркса отражает лишь одну сторону *взаимодействия между человеком и обществом* — ту, в которой человек играет *пассивную роль*, т. е. несёт на себе печать своего образа жизни.

Активная роль человека в этом взаимодействии может быть выражена дополнительной формулой: “И общественное сознание людей определяет их общественное бытие”. Марксисты признают, в сущности, эту истину, поскольку проповедают социальную революцию. Но, в отличие от массированного давления “бытия” на человека, влияние человека на “бытие”, начинается всегда с *индивида*. Идея, приходящая в голову одного человека, становится общественной силой, и сам Маркс составляет здесь пример. Но марксисты очень неохотно признавали эту “роль личности в истории”, поскольку она плохо уживалась с их историческим детерминизмом. В самом деле, личность неповторима и непредсказуема; лишь “общественное сознание” действует на “общественное бытие”, но это сознание должно прежде зародиться в чьей-то голове. Это обстоятельство приводит, в значительной степени, к непредсказуемости истории. На этом Поппер основал свой вывод о несуществовании “законов истории”, в том смысле, как понимаются законы физики

или астрономии; ему достаточно было сослаться на роль научных открытий и изобретений, которые нельзя предвидеть, и которые резко меняют ход истории.

По существу, одной из главных ошибок Маркса, углублённой догматическим фанатизмом марксистов, было некритическое использование усреднённых значений. Чтобы упростить картину общественной жизни, Маркс рассматривал общественные группы — в его терминологии “классы” — как нечто вроде индивидов, каждый из которых наделён характеристиками, типичными для “среднего” индивида этого “класса”; а затем отношения между “классами” рассматривались примерно так же, как если бы это были отношения между “рабочим”, “капиталистом”, и т. д.

Во-первых, в каждом классе общества (выделяемом, например, уровнем дохода) все характеристики распределяются вовсе не равномерно — в том числе и самый уровень дохода. Границы между классами размыты, они имеют общие черты, что отнюдь не означает отсутствия классовых различий. Классовые группы вполне реальны, несмотря на отсутствие (во всяком случае в современном западном обществе) отчётливых классовых границ. Это *культурные* различия, далеко не столь резкие, как генетические. У человека даже генетические различия трудно провести с полной уверенностью, как, например, различия между расами; но различия между нациями в значительной мере условны, что не означает отсутствия наций. Так же обстоит дело и с классами, реальность которых мы проследили на протяжении всей истории. При описании ошибки Маркса мы поставили слово “классы” в кавычки, чтобы подчеркнуть схоластический способ рассмотрения классов, свойственный Марксу и марксистам.

Характеристики, применяемые для выделения классов, могут быть вполне реальны; они даже могут выражаться числами, как, например, личный доход индивида. В таких случаях существуют средние значения для различных групп населения, и можно говорить, что группа *A* отличается от группы *B*, если среднее значение выбранной характеристики для первой группы отличается от среднего значения второй. Но *перед* вычислением средних значений по группам надо уже иметь какое-то описание этих групп и, естественно, такое описание не может опираться на полученные *после* него средние. Например, можно выделить группу *A* не работающих по найму и группу *B* работающих по найму, и потом выяснить, каков средний доход в каждой из этих групп. Но в действительности при любом способе первоначального описания группы вы-

бранная численная характеристика распределена в ней сложным образом. Большинство особей группы могут быть близки к среднему значению дохода, но очень важно, *насколько* близки; отклонения от среднего могут быть малы или велики. Маркс пренебрегал этим разбросом величин, принимая во внимание лишь средние значения¹. Но чем сильнее отклоняется такая величина от среднего, тем меньше индивид напоминает “типичного” представителя “своей” группы.

Во вторых, различные характеристики могут противоречить друг другу, поддерживая или не поддерживая предполагаемое разделение на группы. Особую трудность представляют при этом характеристики, не поддающиеся численному выражению. Например, психические установки отдельных лиц могут сильно отличаться от средних установок в их группе. Маркс и Энгельс, буржуа по происхождению, иллюстрируют такую возможность. Роль таких личностей в истории может быть совершенно несоизмерима с их численностью. Известное представление марксистов о “роли личности в истории” нетрудно объяснить их упорным стремлением свести все вопросы к вычислению “средних”. Это же заблуждение привело Маркса и его последователей к некритическому коллективизму, при котором неуважение к правам отдельной личности легко превращается в пренебрежение правами всех.

Наконец, сознание одного класса может приближаться к сознанию другого. Бытие определяет сознание не столь простым образом, как предполагал Маркс. “Пролетарий”, добившись некоторого материального благополучия, приобретает не только доходы мелкого буржуа, но в ещё большей мере его психический склад. Европейский социализм становится “буржуазным социализмом”, и все предсказания Маркса рушатся.

В начале 20-го века “органическая” теория общества, основанная на социал-дарвинизме, и марксистская концепция общества, основанная на экономическом объяснении истории, господствовали в мышлении образованных людей, и в значительной мере влияли на установки широкой публики. Первая из них была идеологией большинства “правых” партий, а вторая вдохновляла наиболее ра-

¹Для читателей, знакомых с методами статистики, это замечание можно уточнить: Маркс имел дело лишь со средними значениями, не учитывая их дисперсии.

дикальных “левых”. Я хотел бы напомнить, однако, реакцию против этих модных направлений европейской мысли наиболее самостоятельных мыслителей России, вышедших к тому времени из стадии ученического подражания западным образцам. Выше я много раз ссылался на Александра Ивановича Герцена, свидетеля событий 1848 года. Герцен был крупнейший русский философ, один из первых — наряду с Джоном Стюартом Миллем — заметивший первые признаки упадка европейской культуры. Герцен видел страдания рабочего класса и разделял его надежды, но не верил в неоправданные обобщения Маркса и критиковал его насильственные установки. В то же время он видел изменение идеологии низших слоев населения, всё больше приближавшегося к позиции мелкого буржуа. Он изложил свои взгляды в работах “С того берега”, “Концы и начала”, “Письма старому товарищу”, где содержалась отчётливая критика стагнации сложившегося буржуазного общества и вырождения личности в однородный стандартизованный тип. Герцен, рассматривавший эти явления преимущественно на французском материале, создал для обозначения такого общества и его идеологии термин “мещанство”, сыгравший важную роль в мировоззрении русской интеллигенции. Первоначально это слово означало, как уже говорилось выше, городское сословие населения России, так что оно было попросту термином бюрократического языка. Герцен придал ему общее психологическое значение и применил его сначала к европейской буржуазии своего времени, которую он наблюдал во время эмиграции. Впоследствии это обозначение типа личности, уже вполне отделившееся от своего сословного смысла, вернулось в Россию и превратилось в название, которым русская интеллигенция заклеила своего главного врага.

Примерно в то же время английский философ и социолог Дж. Ст. Милль исследовал явление английского мещанства в своих книгах “О свободе” и “Представительное правление”. Милль, подобно Герцену, понял, что мещанское вырождение общества превращает демократические процедуры в фикции, прикрывающие сохранение сложившихся общественных отношений и, под видом устойчивости, оберегающие общий застой. Эти явления Милль называл “китаизацией” английского общества, предсказывая, что они положат конец всему прогрессу и создадут нежизнеспособную систему, не способную не только совершенствоваться, но даже противостоять неизбежным опасностям. Ещё раньше те же опасения высказал Токвиль в своем исследовании американской демократии. Но Токвиль, как мы видели, занимался главным образом конфликтом

между буржуазией и феодализмом, считая его движущей силой истории. Лишь в конце жизни у него открылись глаза на положение “четвертого сословия”, к которому он, в отличие от Герцена и Милля, не испытывал никакого сочувствия. На этом примере видно, как эмоциональная ограниченность может отразиться на мировоззрении историка, отрезав его от большинства человеческого рода. Другой русский эмигрант, Лавров¹, автор знаменитой книги “Исторические письма”, подчеркивал особую историческую роль “критически мыслящей личности” и призывал русскую интеллигенцию организовать свои силы для просвещения народа. Его последователи, “критические народники”, видели в этом свою главную задачу, понимая, что развитие народного сознания и судьба народа зависят от работы мыслящих людей, не связанных народными “мнениями” и не стоящих на коленях перед историей.

Главным идеологом “критического народничества” был Михайловский². В течение сорока лет, в условиях подцензурной печати, этот выдающийся социолог боролся со всеми проявлениями мещанства в русской культуре и, в частности, с “органической теорией общества”, то есть с возникшим уже после Герцена социальным дарвинизмом. С другой стороны ему противостоял марксизм, захвативший центральное место в идеологии радикальной интеллигенции. Михайловский противопоставлял экономической ограниченности марксистов более широкую концепцию человека, принимающую во внимание его биологические и психологические свойства.

Работы Михайловского, отделенные от нас столетием, изложены старым, иногда наивным языком, но это подлинная социология, гораздо более интересная, чем нынешняя наука под этим названием, измеряющая благополучие человека его денежным доходом. Михайловский признаёт гениальное открытие Дарвина, но возражает против попыток рассматривать общественные конфликты людей как естественный отбор. Эти явления несводимы к биологическим объяснениям и не ведут к дивергенции признаков в смысле Дарвина, создающей новые виды. В самом деле, в течение всей истории человечества люди оставались одним видом, способным к неограниченному скрещиванию, и если даже в отдельных популяциях происходит естественный отбор, то вырабатываемые им особенности, обычно психического характера, сглаживаются непрерывным смешиванием племён. По существу, Михайловский признаёт, что формирование

¹Пётр Лаврович Лавров, 1823–1900.

²Николай Константинович Михайловский, 1842–1904.

человеческого индивида зависит не только от генетической, но и от культурной наследственности.

Далее, “выживание наиболее приспособленных” означает преимущества по отношению к окружающей среде, то есть — для животных — к невидовому окружению. Но человек “борется за своё существование” не столько с природой, сколько с окружающим обществом. Михайловский ещё не знает, насколько вредна *внутривидовая* конкуренция описанного Лоренцем типа. Но он остро ощущает ложность “органического” мировоззрения, восхваляющего эту конкуренцию как источник всех человеческих достижений.

Как мы уже знаем, против одностороннего толкования “борьбы за существование” выступил выдающийся русский естествоиспытатель П. А. Кропоткин, обративший внимание на забытый дарвинистами, но открытый самим Дарвином *социальный инстинкт*. Задолго до открытия инстинкта внутривидовой агрессии Кропоткин подчёркивал, что конкуренции в использовании ресурсов противостоит в животном мире “сотрудничество” особей одного вида, послужившее в ходе эволюции стимулом образования сообществ. Эта позиция, изолированная в то время (в начале 20-го века), гораздо ближе к точке зрения современной биологии, чем заблуждения социал-дарвинистов, не понимавших индивидуального отбора и переносивших это непонимание на групповой отбор. Как мы уже знаем, эти извращения дарвинизма надолго подорвали доверие к самой концепции группового отбора, автором которой был также Дарвин.

Михайловский подчеркнул фундаментальную ошибку социал-дарвинистов, отождествлявших “приспособленных к среде” индивидов с “сильными” и даже “лучшими” — в некотором извращённом понимании этого слова. В частности, в случае человека “приспособленность” индивида к среде — особенно к современному буржуазному обществу — никоим образом не означает, что перед нами биологически сильнейшая, или тем более нравственно лучшая личность. Как правило, в таком обществе преуспевают люди совсем иного типа, моральные правила которых описаны в главе 3 нашей книги. С точки зрения культурной традиции всех человеческих племён это вовсе не “сильные” и не “лучшие” люди, а, напротив, люди, готовые пожертвовать ради выгоды собственным достоинством и всеми правилами приличия. Но в таком случае оправдание классовых привилегий, выдвигаемые социал-дарвинистами и восторженно повторяемые всевозможными “консерваторами”, отнюдь не согласны с обычным смыслом выражений “сильный” и “лучший”, испокон веку повторяемых консерваторами всех времён. Точно так

же не выдерживает критики и оправдание завоевательных войн, которое социал-дарвинисты услужливо предлагают своей “национальной” буржуазии. То и другое — радикальное отступление от консервативных доктрин, и псевдонаучные рассуждения этих людей — не что иное как признание их несостоятельности перед современной жизнью.

Но если в современном обществе преуспевают вовсе не “сильнейшие” и не “лучшие” — говорит Михайловский — то подавляющее большинство населения, вынужденное жить наёмным трудом, низводится до уровня простых деталей экономической машины. Современному обществу нужно в человеке очень немного — однообразный труд на какой-нибудь машине, выполняющий какую-нибудь функцию, которую дешевле поручить человеку, чем самой машине. При этом большинство способностей человека не используется, и тип человека всё более деградирует. “Эволюция” общества происходит, но можно ли её назвать “прогрессом”? Михайловский полагает, что буржуазное общество *деградирует*, то есть — на языке этой книги — что *уровень современной культуры снижается*.

Это утверждение могло показаться парадоксальным уже сто лет назад, поскольку разнообразные научные открытия и технические достижения можно было выдавать — и до сих пор ещё выдают — за “прогресс” этой культуры. Но Михайловский заметил, что такая позиция игнорирует основной элемент культуры — человека. Если культура существует ради человека, а не наоборот (как у муравьёв или пчёл, где индивидов в собственном смысле вовсе нет, а есть только сообщество!), то не может быть высокой культуры с убогим человеком. Между тем, современная буржуазная культура вырабатывает всё более жалкую личность — и на верхних, и на нижних этажах общественной иерархии. Михайловский выражает оба основных факта — усложнение общественных механизмов и упрощение человеческой личности — своей концепцией *степени и типа развития*.

В основу её он положил известный из биологии “закон Бера”¹, который распространял на все явления природы. По этому закону живой организм тем выше, чем больше дифференцированы его органы, то есть чем детальнее разделение функций между органами, и чем совершеннее каждый орган приспособлен к своей функции. По аналогии с отдельным организмом, социологи 19 века часто приме-

¹Карл Эрнест Бер (1792–1876), уроженец Эстонии, был членом Петербургской Академии Наук. Он считается “отцом эмбриологии”.

няли этот закон к человеческим культурам, сопоставляя “органы” с индивидами, а разделение функций — с общественным разделением труда. Они считали возрастающее разделение труда, при машинном производстве, признаком как раз той дифференциации, о которой говорит закон Бера. По этой аналогии, эволюцию буржуазного общества следовало рассматривать как “прогресс”, то есть как повышение уровня европейской культуры.

Михайловский считал эту аналогию недопустимой, поскольку основные элементы системы — в этом случае люди — используются всё меньше, становятся примитивнее, и связи между ними в буржуазной культуре сводятся к стандартизованным связям с экономической машиной, не затрагивающими их важнейших человеческих возможностей. Узкая специализация есть злоупотребление человеком, какого никогда не бывает в природе: у животных органы, используемые лишь в небольшой части их возможностей, рудиментируются, то есть вырождаются в более простые устройства. Поэтому система, всё меньше использующая свои по-прежнему сложные, потенциально более производительные элементы, не усложняется, а упрощается, несмотря на её количественный рост и возрастание её общей производительности. Михайловский говорит, что повышается степень развития такой системы, но одновременно снижается тип её развития.

С нашей, кибернетической точки зрения это значит, что *снижается её сложность*. Развитие механических систем доставляет ряд примеров этого рода. Можно запрячь в карету сто лошадей, но это не то же самое, что создать автомобиль в “сто лошадиных сил”: возрастание “степени” в этом случае не приводит к более высокому “типу” экипажа. Лошадь имеет добавочные свойства, не используемые на транспорте; например, её можно забить на мясо. Человек, как элемент культуры, используется ею в несравненно меньшей мере, чем лошадь в упряжке, и мера его использования *снижается*. Все функции человека, не используемые культурой, остаются без применения. В этом проявляется чудовищная расточительной современной культуры, её *низкий тип*. Представьте себе машину, части которой очень сложны, но от каждой части используется лишь одна её возможная функция, а остальные ни с чем не связаны и бездействуют. Вы не одобрите конструктора такой машины! На схеме её отдельные узлы имеют ряд возможных “выходов”, из которых только один присоединён, а остальные никуда не ведут. Более простое общество — даже примитивная сельская община или охотничье племя — лучше используют свои человеческие элементы: они

связаны друг с другом целым рядом отношений и не могут быть заменены носителями единственной механической функции. В этом смысле такая примитивная культура, конечно, уступающая современной степени своего развития, имеет более высокий тип.

Означает ли повышение *степени* развития культуры какой-нибудь “прогресс”, или при этом снижается её “*тип*”? Это сомнительно даже с чисто кибернетической точки зрения. Ведь среди “человеческих деталей” такой системы будут её ученые, инженеры, изобретатели, от которых зависит самая возможность развития системы, а может быть и её существование. В таком случае “критерий сложности” надо применять осторожно. Может случиться, что дальнейшее “развитие” в высоту приведёт к столь неустрашимому типу системы, что она не сможет устоять.

Но ведь дело не в одной *сложности*! Если наша культура должна служить человеку — а иначе зачем она нужна? — то она не может его без конца упрощать. Слишком простой человек вообще не будет жизнеспособен. На некоторой стадии такого упрощения инстинкты человека взбунтуются против бесчеловечной общественной машины — потому что, как мы уже знаем, набор человеческих инстинктов неизменен, и слишком грубое их игнорирование не остаётся безнаказанным. Особенно фрустрируется социальный инстинкт: ведь “выходы” человеческих узлов на описанной выше схеме — это связи между людьми, предусмотренные наследственной программой нашего вида.

Использование человека современной цивилизацией — наёмный труд с разделением между людьми примитивных функций — есть *культура низкого типа*, обречённая на гибель, если мы не сумеем её во время исправить. Представление о фатальном — или, если угодно, детерминированном — характере общественного развития было заимствовано из точных наук, где можно достаточно точно задать начальные данные каждого процесса, чтобы получить надёжные предсказания. Невозможность таких предсказаний для человеческого общества доказал, как известно, Поппер в своей книге “Нищета историцизма”. Но в начале 20 века люди представляли себе, что историей управляют строгие причинные законы. Так думали социал-дарвинисты, уподоблявшие развитие общества эволюции животных; так думали и марксисты, верившие в неумолимую закономерность экономического развития. В то время, конечно, эти наукообразные представления не мешали людям заниматься политикой. Но только Михайловский прямо заявил, что в истории есть “категория возможного”, то есть *нет* детерминизма, потому что че-

ловеческое вмешательство *может* изменить ход событий в желательном для людей направлении. Это утверждение неудачно назвали “субъективным методом в социологии”, хотя речь идёт о *возможности* некоторого результата, а не его *желательности*. “Возможность” может доказываться объективно, то есть может быть предметом науки; а “желательность” может быть лишь предметом научного изучения, как социальное явление.

Мудрость Запада и мудрость Востока¹

Культуры Запада и Востока издавна противостоят друг другу. “Западом” обычно называют Европу и страны, населённые выходцами из Европы. Западные народы принадлежат, главным образом, к индоевропейской расе. Их культура испытала значительное влияние семитов, доставивших ей письменность и религию. “Востоком” называют страны Азии, достигшие в прошлом высокой культуры, и составляющие три различных цивилизации: ближневосточную, индийскую и дальневосточную. Ближневосточная культура состоит из народов семитической расы и тюркской расы, объединяемых религией (исламом); индийская, смешанная по происхождению, группируется вокруг индоевропейцев; дальневосточная делится на китайскую и японскую, сложившуюся под влиянием китайской. Ислам является продуктом семитов, впервые пришедших к монотеистической религии; арабская письменность ислама, как и западная письменность, произошла от финикийской. Индия осталась «языческой», не приняв монотеизма; Дальний Восток изобрёл иероглифическую письменность, но не дошёл до буквенной, и в значительной мере утратил религию, заменив её этическими учениями.

Таким образом, различие Запада и Востока — не расовое, а культурное. Культуры Востока разнородны, и три её ветви не чувствуют родства. Это мы, западные люди, объединяем их в понятие “Восток». Культура Запада однородна, и её представители ощущают своё единство.

Итак, противопоставление “Запад-Восток” есть *западная* концепция, перенятая в наше время и восточной культурой, как и другие западные изобретения. Эта концепция, впрочем, вполне реальна, потому что между Западной культурой и разделённым на три ветви Востоком есть важное различие. Западная культура *динамична*, а Восточная — *статична*. Это значит, что Западная культура, возникшая в Европе и ранее называвшаяся “христианской”, в Новое время необычайно быстро развивалась и, более того, сделала развитие одной из своих главных ценностей, выработав с 18 века концепцию “прогресса”, что произошло впервые в человеческой истории; восточные культуры, как и все другие известные нам культуры, всегда считали, и до сих пор считают своей главной ценностью

¹Набросок написан предположительно около 2000 года. — *Прим. ред.*

сохранение собственной культуры, идеализируя некоторое прошлое состояние и сопротивляясь любым его изменениям. В наше время Запад ещё продолжает развиваться, хотя его “прогресс” замедлился, тогда как Восток давно уже — во всяком случае, в течение последних пятисот лет — только подвергается влиянию Запада, но утратил все стимулы независимого развития. Такое положение вещей, конечно, *связано* с “колонизацией”, то есть с политическим и экономическим господством западных стран, но вовсе *не объясняется* этой причиной; около 1500-го года, когда европейские мореплаватели добрались до Индии и Дальнего Востока, они нашли там уже застойную, мёртвую в идейном и моральном смысле цивилизацию. Этим, напротив, объясняется лёгкость колонизации этих стран, намного превосходивших тогда Европу населением и уровнем материального благополучия. То же относится и к исламской культуре, исчерпавшей свой потенциал роста ещё раньше, хотя и продолжавшей военную агрессию в Турецкой империи.

Исторические причины такой различной судьбы Запада и Востока весьма сложны, и только одной из них я собираюсь заняться: коренным различием “западного” и “восточного” мышления. Это различие проще всего, хотя и не вполне точно, можно описать формулой: *западное мышление рационально, а восточное — иррационально*. Это вовсе не значит, что на Западе не было иррационального мудрствования: до сих пор в Европе и её культурных сателлитах существуют богословские и философские факультеты, но их значение в современной жизни Запада ничтожно. Но западное мышление ещё и в древности испытало великую культурную мутацию: оно создало науку, то есть доказуемое знание.

Глагол “знать” и происходящее от него существительное “знание” имеют весьма неоднозначный смысл. Можно “знать” наизусть священные тексты или любимые стихи; можно “знать” философские системы и правовые нормы, произведения искусства и нормы поведения. Но все эти виды “знания” *не принудительны*: человек, которому сообщают это знание, может принять его или нет. И в самом деле, в разных культурах — или даже в разных фазах одной культуры — описанные виды знания принимали разный вид. Но есть *принудительное знание* — такое, которое не может оспаривать ни один добросовестный человек, давший себе труд с ним ознакомиться. К этому знанию относится прежде всего *эмпирическое знание*, или знание фактов.

Конкретные факты, то есть результаты чувственного опыта, независимо от их истолкования, признают люди любой культуры. Я

оставлю в стороне так называемые “чудеса”: самое существование этого слова уже означает редкую и необычную разновидность явлений, какие не наблюдаются в повседневной жизни, но, как утверждали некоторые люди, наблюдались ими в особых случаях, или вызывались усилиями особенных личностей. Чтобы не входить в обсуждение таких явлений, достаточно включить в определение факта его *воспроизводимость*, то есть возможность повторения этого факта в известных условиях. Здесь возникает, конечно, трудность с “историческими фактами”, которые не воспроизводимы; в таких случаях, как это делают историки, повторение фактов заменяют повторением независимых свидетельств об одном и том же явлении. Мы не будем здесь говорить об “исторических фактах”; это значит, что мы будем понимать “эмпирическое знание” в очень конкретном смысле, не вызывающем никаких споров. Эмпирическое знание включает не только явления природы, происходящие без человеческого участия, но и явления, искусственно вызываемые человеком, если они воспроизводимы.

Написание Пушкиным “маленьких трагедий” — невоспроизводимый “исторический” факт; зажигание спички при трении о коробок — воспроизводимый эмпирический факт. В знании эмпирических фактов китайцы и индийцы 15-го века, несомненно, превосходили европейцев, если не считать использования пушек и мореплавания; в этих исторически решающих навыках европейцы воспользовались изобретениями китайцев — порохом и компасом — которые в Китае не получили развития.

К принудительному знанию относятся также доказуемые связи между фактами, прежде всего — прямые наблюдения над последовательностью явлений, а затем теоретические конструкции, позволяющие упорядочить имеющиеся факты и предсказывать их заранее. Эти конструкции должны подтверждаться опытом; они должны быть объективны, в том смысле, что его выполнению можно научить любого желающего, и что все применяющие их приходят к одинаковым выводам. Поскольку знание этого рода приводит к результатам, не зависящим от знающего субъекта, и подтверждается неоспоримыми фактами, такое знание принудительно; оно называется *научным знанием*.

Элементы научного знания возникли во всех культурах. Многие народы древности были знакомы с простыми свойствами геометрических фигур, со счётом целых предметов и арифметическими действиями, а некоторые умели предсказывать положение звёзд на небе и затмение Солнца и Луны. В частности, такие знания были у

египтян, вавилонян, индийцев, китайцев и индейцев майя; они передавались по традиции, обычно составляли достояние жрецов, и первооткрыватели их были неизвестны. Систематическое изучение природы и построение логически связанных теорий — то есть подлинное научное знание — возникло лишь в одном месте и один раз, у древних греков в седьмом и шестом веке до нашей эры. От греков научное знание перешло к европейцам; хотя в течение полутора тысяч лет наука почти не развивалась, оттеснённая богословием и религиозной философией, её всегда продолжали преподавать и изучать, главным образом по двум книгам, резюмировавшим античную науку: “Началам” Евклида и “Альмагесту” Платона. Сохранились и другие работы греческих учёных, относившиеся к математике, астрономии и механике, например, труды Архимеда, содержавшие, в частности, сведения о гелиоцентрической гипотезе Аристарха Самосского, трактат о конических сечениях Аполлония из Перги, подсказавший эллиптические орбиты планет; география Страбона, биологические работы Аристотеля, Теофраста и Плиния. Это наследие греческой науки дошло до Европы и легло в основу нового европейского мышления. Но не менее важно, чем прямое продолжение древнего научного наследия, была традиция рационального мышления, сохранившаяся в Европе и связанная с греческой наукой. Эта традиция, парадоксальным образом, продолжилась даже в схоластике средних веков — в религиозной философии, применявшей логику Аристотеля к предметам человеческой фантазии, о чём ещё будет речь.

Напротив, в восточных культурах рациональное мышление не развилось, или рано прервалось. В арабском халифате, начиная с 7-го века, усвоенные у греков научные знания — прежде всего математика и астрономия — были восприняты людьми разного происхождения, писавшими на арабском языке, и потому называвшиеся в Европе “арабами”. Арабы занимались геометрией, в том числе проблемой параллельных прямых, но в особенности алгеброй, в сущности, основанной ими; самое слово “алгебра” — арабского происхождения. Наконец, арабы ввели десятичную систему счисления (“арабские цифры”), весьма облегчившую арифметическое вычисление. Арабы сохранили и изучили трактат Птолемея, получивший у них название “Альмагест” (“великое”); европейцы впервые ознакомились с астрономией древних в арабском переводе. Таким образом, в исламской культуре рациональное мышление получило не только продолжение, но и важное развитие. Но к началу эпохи Возрождения (15-й век) эта культура уже пришла в упадок, возможно,

вследствие распада халифата. С этого времени страны ислама не участвовали в развитии рационального мышления. Индийцы, которым приписывается изобретение знака “нуль”, перестали заниматься наукой задолго до Возрождения; пожалуй, у них, как и у китайцев, просто не сложилась научная традиция. Страны ислама и Индия получили алфавитную письменность от финикийян. Китай же так и остался с иероглифами, что можно считать главным признаком упадка его культуры.

Итак, в начале Нового времени Восток уже не имел (или ещё не имел) традиции рационального мышления. Между тем, около 1500-го года Европа имела уже предпосылки развития светской культуры и технического прогресса. К этому надо прибавить важный политический фактор — разнообразие и конкуренцию независимых государств. Индия была захвачена мусульманами и превратилась в “империю моголов”, Китай был централизованной империей и также неоднократно подвергался завоеванию. Страны, возникшие при распаде халифата, подверглись завоеванию монголами, тюрками и (на Пиренейском полуострове) христианами. Китайцы были географически изолированы от других культур и не имели конкурентов. Всё это может в какой-то мере объяснить упадок восточных культур. Но самый факт упадка не вызывает сомнения. При столкновении Запада с Востоком победу одержал Запад, и теперь будущая всемирная культура строится на основе культурной традиции Европы.

Итак, главное различие между культурами Запада и Востока — это рациональное мышление, развившееся только на Западе, то есть наука и техника в современном смысле этих понятий. В дальнейшем самое различие между Западом и Востоком потеряет значение, потому что традиция рационального мышления станет всеобщей.

Возникает вопрос: не будет ли при этом утеряна некоторая важная часть восточной традиции, и в чём она состоит? В двадцатом веке эту особую глубину восточной мудрости подчёркивали многие мыслители Европы, жаждавшие “благой вести” с Востока.

Заметим сначала, что “нерациональное”, то есть ненаучное мышление составляет главное, и до недавнего времени единственное содержание *философии*, в западном смысле этого слова. Если не считать современной гносеологии — начиная с её перестройки Расселом — вся европейская философия была “платонизмом”, то есть псевдологическим построением *more geometrico*, как выразился Спиноза — “по образцу геометрии”. (Вероятно, по этой причине Поппер,

после всей уничтожающей критики Платона, всё же называет его “величайшим из философов”!) В европейской философии — кроме, пожалуй, английского эмпиризма — неизменно имитировался выработанный в греческой геометрии метод рассуждений, но этот метод применялся к объектам, не допускавшим ясного определения, и выводы не имели принудительной силы — более того, не допускали однозначного понимания. Это относится не только к средневековой схоластике, но и к её продолжению в «немецкой классической философии», и ко всей философии её эпигонов, а также к философии Декарта, Гоббса и даже Бэкона. Всю эту философскую традицию следует отнести к “псевдорациональному” мышлению.

Примечательно, что и этой формы мышления не было на Востоке. Восточные мыслители, не прошедшие школу Платона и не знавшие о существовании греческой науки, занимались совсем другим делом. Если они и претендовали на некое “знание”, то не имели понятия о возможности достоверного знания и не претендовали ни на что подобное. Если не причислять к философии практического моралиста Конфуция, все восточные мудрецы пытались действовать не на сознание, а на *подсознание* своих учеников. Они не убеждали их. А препарировали их мозги, вырабатывая некоторые желательные психические состояния — обычно состояния равновесия и спокойствия, нечувствительности к противоречиям и конфликтам жизни, а на этом фоне — мистические переживания. Сюда относятся “классическая философия” Упанишад, всевозможные школы йоги и даосизм, а также секты буддизма, например, дзен-буддизм.

“Глубина”, которую усматривают иногда в этих учениях, состоит в “загадочности” текстов, не допускающих логического истолкования. Это не простая запутанность или недосказанность, а нарочитый метод воспитания, примиряющий противоречия и снимающий озабоченность смыслом учения. В одной работе, посвящённой Упанишадам, я прочёл интересное описание этого метода: “деструкция смысла”. Человеку предлагают текст, поддерживаемый высоким авторитетом, но вызывающий в его наивном (ещё не извращённом) уме глубокое беспокойство своей бессмыслицей. Ученик, не решаясь отвергнуть “священный” текст, пытается его “принять”, то есть совместить в своём подсознании впечатления от его логически несомнимых утверждений и заполнить пробелы в мышлении каким-нибудь психическим материалом, устраняющим ощущение дискомфорта. Если, например, современный (или древний?) учитель дзена предлагает ученику подумать о “хлопке одной ладонью”, это не значит, что тот должен решить какую-нибудь проблему и дать на

неё ответ в определённых терминах; это значит, что ученик должен научиться хорошо себя чувствовать с этой глупостью на уме, с помощью какого-то механизма компенсации, возможно, пригодного и для других целей. Как показывает опыт, “решение” такой проблемы часто приходит внезапно, как если бы речь шла о “решении” серьёзной задаче. Всё это, в сущности, не что иное, как техника психотерапии для устранения неприятных переживаний, но переживания эти — те самые, что стимулируют творческую работу ума и общественное развитие. “Деструкция смысла” действует как наркотик, вызывающий нечувствительность к психическому дискомфорту. “Мудрец” этого рода кастрирует в себе способность переживать и, в этом смысле, обретает спокойствие.

“Мудрость” и у нас на Западе зачастую понималась как “невозмутимость”, но обычно как непроницаемость поведения, не исключаяющая переживания. Если ценой этого зрелища является и в самом деле бесчувственность, то мы такие спектакли не ценим; да и на Востоке этого прямо не признают. Предполагается, что мудрец всё понимает, всё чувствует — и спокоен. Но это против природы человека! И, конечно, мудрец никак не умеет это объяснить. “Деструкция смысла” есть реакция на извечное рабство Востока, признание безнадёжности этого мира. Восточный мудрец спасается вне общества: “Иди и живи один, как слон в слоновом лесу”. Итак, на Востоке “мудростью” называется психическая тренировка, подавляющая логическую и моральную чувствительность, аналогичная более грубому действию наркотиков и позволяющая индивиду спокойно переносить унижение и принуждение в окружающем обществе, не отвечая на них каким-либо активным поведением.

Разумеется, все эти функции “мудрости” известны и в Западной культуре. Нечувствительность к условиям человеческого существования на Западе достигалась в христианском учении о грехе и загробном воздаянии. Но это не означало непрерывной изоляции “мудреца”: церковная система, с развитой иерархией священников, не отпускала его в леса и пещеры, как восточные культы, и более жёстко контролировала своих отшельников и аскетов, чем буддийская церковь, где она сохранилась, и тем более, индийские “языческие” культы. Поэтому на Западе способы “духовной психотерапии” были более стандартизованы и менее зависимы от инициативы частных лиц. Это была скорее подготовка послушных монахов. Так как религия здесь была “нормативной”, на Западе возникло понятие “ереси” и преследование “еретиков”. Парадоксальным образом восточный мудрец мог быть свободнее западного; но он не употреб-

лял свою свободу на пользу людям, а заботился, в сущности, только о себе.

Уже древние философы Греции стремились воздействовать не только на разум своих последователей, но на всю человеческую личность. У них, как и у всех мудрецов Востока, главной целью было создание психического равновесия. Но это достигалось не полной, а частичной “деструкцией смысла”. Вместо “локальной” бессмыслицы Упанишад, вовсе не предполагавшей рационального понимания, христианскому ученику предлагалась “глобальная” бессмыслица богословия — псевдо-логическое построение из призрачных понятий. Несомненно, здесь происходило разрушение критического мышления, но с участием логических способностей ученика, которые всё же получали некоторую пищу. Таким образом мог, в конце концов, выработаться аппетит к познанию.

Судьба демократии¹

Общественное устройство, именуемое “демократией”, или “представительным правлением”, стало в настоящее время господствующим. Хотя эта система в действительности существует лишь на небольшой части Земли — в Западной Европе, Северной Америке и Австралии — её репутация такова, что все страны, за редкими исключениями, пытаются имитировать демократические институты — как правило, смехотворные на фоне их подлинного образа жизни. Я просто не могу найти исключений, если иметь в виду общепринятую терминологию: все *называют* себя демократами и разыгрывают какую-нибудь версию “выборов” в “законодательное собрание”, “выборов президента”, и т. п. Может быть, где-нибудь в Саудовской Аравии или Арабских Эмиратах эту комедию и не разыгрывают, но и там, конечно, ссылаются на “волю народа”, а не на божественное право монарха. Далай-лама, если бы он остался в Тибете и правил, как живой бог, непременно объявил бы себя демократом. На чём основывается эта решительная монополия системы, которая насчитывает — в её нынешней форме — немногим более ста лет? В Англии всеобщая подача голосов для мужчин была введена лишь в 1884 году, а для женщин — ещё на полвека позже; и даже эта страна, родина европейской демократии, сохранила до сих пор пережитки средневековья в своём государственном устройстве.

Превосходство демократии основывается на экономической эффективности этой системы власти. Опыт эпохи капитализма свидетельствует о том, что технический прогресс, со всеми его социальными следствиями, происходил только в демократических странах. Некоторые страны, имитировавшие европейские способы производства и управления, но по существу сохранявшие азиатский образ жизни и мышления, в конечном счёте потерпели неудачу, и теперь мучительно пытаются стать “более демократичными» — в определенном смысле вылезть из своей азиатской кожи. Это относится не только к Турции и Японии, но и к России. Без демократии не удастся подражать её достижениям, если даже это делается каннибальскими методами, не считающими человеческих жизней. Демократии

¹Статья написана в 2000 году как эскиз к книге “Инстинкт и социальное поведение”. — *Прим. ред.*

оказываются сильнее и в том случае, если им приходится столкнуться с выродившейся разновидностью европейской культуры, как это было во Второй мировой войне; правда, тогда победа досталась им с большим трудом. Нет сомнения, что фашистские диктатуры использовали наследие более свободного строя. Но в наше время “семерка” экономически развитых стран безраздельно господствует во всем мире. Правда, Япония только притворяется демократической страной, но, в сущности, там ничего нового и не выдумывают: эта вторая в мире экономика не способна к техническому прогрессу, но приспособилась разрабатывать чужие изобретения и стала, таким образом, дорогостоящим паразитом демократических стран, не способным к самостоятельному существованию.

Сила на стороне демократии. Никто и не пытается противостоять “семерке”, с её бюрократическими и военными придатками вроде ООН, НАТО и т. д. Лишь особенно глупые политики в отсталых странах пытаются продлить свою власть, эксплуатируя пережитки племенных и религиозных настроений, а ещё больше — неповоротливость международной бюрократии и гуманитарные ограничения демократических правительств. Мусульманский “фундаментализм” не имеет ни малейших шансов, хотя и способен вредить; коммунизм существует лишь по имени, где он ещё не переименовал свое имя. Решающее преимущество демократии — это её экономическая сила, столь очевидным образом переходящая в военную, что в близком будущем военную силу, пожалуй, уже не придется применять. На Земле устанавливается диктатура “западной демократии”. Эта диктатура, конечно, будет гуманнее и человечнее провинциальных диктаторских режимов, с которыми ей приходится сталкиваться, и в этом смысле будет *меньшим злом*, чем все режимы, которые ей ещё противостоят. Если говорить о самом прямом результате “мировой полиции” семерки, то им будет спасение человеческих жизней. Эта цель мне кажется более привлекательной, чем идеи Гегеля или председателя Мао, требующие, напротив, человеческих жертвоприношений. Ценности, все ещё противостоящие европейской цивилизации, не вызывают у меня доверия.

Я придерживаюсь некоторых ценностей, выработанных европейской цивилизацией; систему этих ценностей я называю “философией гуманизма”. С точки зрения гуманизма, *целью человеческого общества является создание более высокого типа человека*. Это значит — создание человека, всесторонне развивающего свои способности во всех областях жизни — от простого к сложному, от грубого к утонченному, от неразумного к разумному. При этом, в отличие от

бесчеловечных представлений сословного общества, высокое развитие должно быть доступно *каждому* человеку, что предполагает, тем самым, высокое развитие общества *в целом*.

Возникает вопрос: удовлетворяет ли этим требованиям жизнь так называемых “развитых” стран западной цивилизации? На этот вопрос, как легко видеть, можно дать лишь отрицательный ответ. *Общество, именуемое “демократическим”, не только не создаёт условий для развития человеческой личности, но вступило на путь культурного разложения, производя всё более примитивные и упрощённые человеческие типы.*

Но тогда это общество не выполняет своего назначения, потому что никакие “коллективные” показатели общественного благополучия не могут оправдать катастрофической деградации человека. Конечно, современная цивилизация имеет значительные материальные достижения, беспрецедентные в истории человечества. Главное из этих достижений — *создание общества без нищеты*. В самом деле, с самого начала классового общества во всех странах неизменно существовала противоположность бедных и богатых, причем бедность всегда доходила до крайней нищеты. Голодные и раздетые люди, просившие милостыню, встречались на каждом шагу; Иисус говорил апостолам: “Нищие всегда будут с вами”. В XX столетии в ряде развитых стран этой “классической” нищеты больше нет; заповеди христианского милосердия не могут больше пониматься в их буквальном смысле, поскольку (если не считать небольшого числа психически неполноценных бродяг) голодных и раздетых уже встретить нельзя. Более того, значительное большинство населения пользуется невиданным в прежние времена материальным благополучием, при весьма умеренных трудовых усилиях.

Другое важное достижение Западной цивилизации — это “права человека”. В развитых странах Запада действуют законы, охраняющие жизнь человека и его имущество, а также ограничивающие рабочее время физиологически безопасными пределами. За каждым признаётся право свободно выражать свое мнение в устной и печатной форме, если у него есть для этого средства. Признаётся право граждан устраивать собрания, организации и партии. В установленные сроки все граждане равноправно выбирают членов парламента и местных органов управления, контролирующих исполнительную власть. Все эти “права человека”, гарантированные законами, в странах западной демократии осуществляются в том смысле, что обычно не допускаются прямые нарушения указанных в законах норм.

Наконец, законодательное ограничение рабочего дня и гарантированные выходные и отпуска доставляют гражданам много свободного времени, что открывает возможности образования и культурного роста. Можно утверждать, что условия жизни современного человека в демократических странах значительно лучше, чем жизнь, изображенная в утопиях Мора и Кампанеллы — не говоря уже о чудесах техники, по-видимому, делающих современную жизнь несравненно более интересной.

Нищеты в старом смысле слова больше нет, но мы живём среди нищих духом.

Старые утопии были статичны. Утописты вряд ли считали свои мечты достижимыми; самое слово “утопия” означает по-гречески “нигде”. Но они изображали, конечно, идеальное, *предельное* состояние общества, к которому надо стремиться. Если представить себе такое предельное состояние достигнутым, то оно уже не нуждается в дальнейшем улучшении, и его незачем менять. Граждане такого общества живут из поколения в поколение в одинаковых условиях, по неизменным правилам и — если верить утопистам — это им не скучно. Разумеется, ни Мор, ни Кампанелла, ни, тем более, их античные предшественники, не знали никакой идеи прогресса, то есть сознательного изменения общества усилиями людей. Они представляли себе, что их идеальное общество возникло по воле богов, или под предводительством вдохновленного свыше мифического героя. Утописты не предлагали своим современникам приступить к осуществлению утопии. Они просто изображали некие образцы для подражания и размышления. Граждане утопии были не более реальны, чем праведники в раю: праведникам тоже надо было подражать, но неприлично было спрашивать, не скучно ли им их райское блаженство.

Граждане современной утопии смертельно скучают, даже если они этого не сознают. Они не согласились бы всегда носить одну и ту же для всех одежду из серого сукна, как это полагалось в утопии Мора. Хотя в их жизни, по существу, мало что меняется, они все время пытаются скрасить свое существование какими-нибудь видимыми переменами: меняют одежду, автомобили или сексуальных партнеров. Они жадно ловят жалкие сенсации, создаваемые для них жалкими сочинителями. Им доставляет особенное удовольствие вообразить любые отклонения от своих утопических средних значений. В общем, это статическое общество, обезумевшее от ску-

ки. Но эти люди не признают, что им скучно, да они и в самом деле этого не понимают. В самом деле, пока человек находится в неизменном основном состоянии, он не реагирует на это состояние, по крайней мере сознательно, поскольку его сознание не получает сигналов об “отклонении от нормы”. Нормой человека может быть положение честного труженика (который подсознательно ненавидит свою работу), или образцового семьянина (которому давно надоела его жена), и так далее. Подсознание реагирует на биологически неприемлемое “нормальное” состояние, а сознание — лишь на заметные отклонения от этого состояния. Можно полагать, что основное состояние современного “западного” человека — это скука, причиняемая ему *биологически неестественной безопасностью и обеспеченностью жизни*.

Существование первобытного племени было опасным и ненадежным; инстинкты человека в то время были приспособлены к этой жизни. У нас все те же инстинкты, но совсем другая жизнь. Я не хочу сказать, что человек нуждается в *таких же* опасностях и лишениях, но он безусловно нуждается в *переменах*. До недавнего времени общественный прогресс — одобряемый или порицаемый, вызывающий энтузиазм или сопротивление — доставлял людям необходимые им ситуации происходящих перемен. Но теперь так называемые развитые страны уже почти не меняются — во всяком случае, не сознают, что им нужны значительные перемены. Некоторые модные философы думают даже, что современное общество почти достигло идеального статического состояния (на языке инженеров: процесс выходит “на плато”), и ближайшим образом такого состояния считаются современные Соединённые Штаты. Один из этих философов ссылается даже на Гегеля, тоже видевшего вокруг себя почти законченное идеальное государство — Прусскую монархию. Это было и в самом деле очень скучное государство, но гегелевская концепция истории — и особенно “завершения истории” — противоречит биологической природе человека. Человек не выносит неподвижности, вырывается из любого статического идеала. Давно уже нет государства по имени Пруссия, и никто не знает, как долго продержится государство по имени Соединённые Штаты.

Замечательно, однако, что идея прогресса, давно скомпрометированная модной идеологией, все ещё сохраняет свое призрачное существование в капиталистической экономике. Мерой экономического (а тем самым и всякого) благополучия считается годовой прирост производства. Если такого прироста нет, считается, что дела идут плохо: в самом деле, годовой прирост населения известен, и

если прирост производства от него отстает, то будет безработица. Это рассуждение кажется логичным, и оно даже оправдывается на практике, но не имеет ничего общего с представлением об идеальном статическом государстве. Конечно, население такого государства должно быть постоянно, иначе в нем будет давление в сторону перемен. Но стабилизация населения сама по себе не происходит: для этого нужны сознательные усилия людей, вовсе не входящие в схему “стабилизации истории”. Можно спорить о том, надо ли стабилизировать население, но общество без перемен — настоящих, серьёзных и (в современном мире) сознательных перемен — биологически невозможно.

Мы не можем предвидеть все опасности, угрожающие современному человечеству. Некоторые из них уже вполне очевидны и требуют немедленных действий. В действительности современное общество не гарантировано даже от вымирания в течение сравнительно короткого времени. Но, в отличие от племён первобытных людей, мы не ощущаем этой опасности с должной, биологически необходимой остротой, потому что это не “внешняя”, а “внутренняя” опасность: нам не угрожают никакие пришельцы с других планет — мы угрожаем *сами себе*. Гораздо легче пробудить благотворное ощущение прямой *цели*, предъявив людям конкретного “чужого” противника, чем какую-нибудь отвлеченную идею, касающуюся их собственного населения.

Первичной целью племени было выживание, и все, что угрожало его выживанию, было понятно. Затем естественно возникали другие цели, поскольку племя стремилось улучшить условия своей жизни. Типичным примером таких целей были новые территории, отчего происходили миграции. Более развитые племена могли устраивать походы в дальние страны, с целью грабежа. Еще более развитые — укрепляли свои силы, чтобы отбиться от грабежей, и так далее. На каждом этапе перед племенем стояла определенная цель. Слишком безопасные условия могли привести к бесцельному существованию, не требовавшему особенных изменений, а это означало вырождение. Так могли выродиться аборигены Австралии, оказавшись владельцами обширной страны, где у них не было врагов. Цель — это главное, что отличает поведение человека от животных. Главное несчастье современной западной цивилизации состоит в том, что она *лишилась целей*.

Как уже было сказано, это вовсе не значит, что перед ней в самом деле не стоят никакие цели: напротив, её объективное положение прямо навязывает ей неизбежные цели её ближайшего раз-

вития, даже если она не умеет уже представить себе более отдаленные цели. Первый вопрос, которым мы должны заняться, — это ближайшие и отдаленные цели современной западной культуры. Те и другие, как мы увидим, неотделимы друг от друга. Общество, не имеющее отдаленных целей, не в силах ставить себе и ближайшие цели. Эту простую истину мы знаем уже из поведения индивида: человек, не способный представить себе далекие цели своей жизни — не знающий, кем он хочет быть, — обычно ставит себе случайные и не связанные между собой цели, редко их достигая. *Главное несчастье современного общества в том, что оно не знает, чем хочет быть.* Иначе говоря, у него нет *общественных идеалов*. Я намеренно возвращаюсь здесь к этому старому выражению, вместо общепринятого теперь термина “ценности”, и сейчас объясню, почему.

Дело в том, что термин “ценности” несет в себе охранительный, консервативный отпечаток. Когда мы говорим о “ценностях” некоторой культуры, то невольно подразумеваем традиционные, заимствованные у наших предшественников и уже сложившиеся понятия о должном и правильном поведении. Но слово “идеал” подразумевает не только и не столько *старые*, сколько *новые*, вновь создаваемые понятия. Можно, конечно, говорить (вместе с Ницше) о “творении ценностей», но я предпочитаю говорить о творении идеалов. Живое, развивающееся общество активно творит свои идеалы — отдаленные цели своего развития: это неизбежно очень общие, неопределенные и неподдающиеся точной формулировке, но важные для этого общества цели. Стагнирующее, бессильное общество не способно уже создавать идеалы; оно цинично высмеивает идеалы своих предков. Для современного общества как раз и характерно такое ироническое, мнимо снисходительное и мнимо высокомерное отношение к идеалам своего прошлого. Такое общество внушает себе, что все идеалы смешны.

Отдаленные цели культуры решающим образом влияют на её ближайшие цели. В наше время, когда ведущую роль играет западная культура, особенно важно, каковы её отдаленные цели, и как они отражаются на ближайших целях. Приведу два примера, в которых отдаленные цели человечества прямо отражают инстинктивные установки человека.

Инстинкт внутривидовой агрессии в наше время уже не может выражаться в нападении на наших братьев по виду: XX век войдёт в историю не двумя мировыми войнами, а сознательным прекращением войн. Эта установка выражает, в конечном счете, возвраще-

ние к другому, более древнему инстинкту всех высших животных, запрещающему убивать себе подобных. Но свойственная человеку агрессивность нуждается в выходе, и таким выходом будет, несомненно, присущее человеку стремление к экспансии. В течение всей истории люди расселялись по Земле и осваивали её возможности, к несчастью, причиняя вред людям других племён. Теперь, как может показаться, освоение Земли окончено, открывать больше нечего, и самые размеры нашей планеты кладут предел экспансии человека. Представление об ограниченности нашей планеты со времени Мальтуса определяет идеологию “перенаселения” Земли и подсказывает биологически невозможную цель “статического общества”. В основе этого взгляда лежит подсознательное восприятие Земли как нашей космической тюрьмы.

Но мы не обречены всегда оставаться на Земле, как наши предки не были обречены сидеть на берегу моря. Отдаленная цель человечества — освоение Вселенной. Хотя пока лишь немногие люди сознают эту цель, она неизбежно будет влиять на более близкую цель — подлинное хозяйственное освоение Земли. В действительности наша планета *недонаселена*. Огромные пространства — даже в Соединённых Штатах — почти безлюдны, потому что требуют больших капиталовложений и не сулят *немедленных* доходов. Вспомним, что Колумб долго не мог получить средства на свое путешествие, и что совсем недавно президент Картер решил сэкономить деньги на исследовании Луны. Между тем, возможность безграничной космической экспансии может снять психологические препятствия, мешающие людям достигнуть их ближайших целей на Земле.

Другой пример отделенной цели — это братство всех людей, которого требует наш социальный инстинкт. Совсем недавно события в дальних странах не вызывали у “цивилизованных людей” почти никаких реакций. Когда в 1915 году в Турции были истреблены миллионы армян, цивилизованные европейцы на это никак не реагировали; впрочем, в это время они были заняты — убивали друг друга. Но вот совсем недавно девятнадцать “западных” государств уже не позволили истребить албанцев в Косовском крае, в самом нищем и захудалом закоулке Европы. Трудно представить себе, как медленно и бездарно это делалось, но в конце концов сотни тысяч людей были спасены от убийц, защищены и накормлены — хотя все эти государства не имели никаких интересов в этих местах. Надо отдать должное людям, у которых была ближайшая цель — защитить от смерти всех братьев по виду, с которыми их не связывают другие чувства. Пусть мне не говорят о по-

литических комбинациях, о блоках, или о влиянии России. Всё это отступило перед простым фактом геноцида — когда глупый провинциальный диктатор бросил вызов всему цивилизованному миру. А сейчас ООН вступает за чёрных, живущих на острове Тимор, которых в прошлом веке почти не считали людьми. Ближайшие цели всё же действуют, но не надо забывать лежащую в их основе отдалённую цель.

Крушение идеалов обычно предшествует гибели культуры. Напротив, рождение новой культуры всегда начинается с появления новых идеалов. Важнейший, ещё недостаточно изученный вопрос истории культуры — каким образом, в каких средах возникают идеалы, и как они распространяются в обществе. Можно различить три способа возникновения идеалов. Самый древний и самый очевидный — это *традиция*. Свойственная человеку культурная наследственность, как мы уже видели, создаёт ценности культуры, к которым этот термин подходит, пожалуй, лучше, чем “идеалы”: в самом деле, “ценности” явно относятся к тому, что сохраняется и, следовательно, было приобретено в прошлом, тогда как “идеалы” обозначают скорее ещё не воплощённые в жизнь будущие ценности. Во всяком случае, слово “идеал” — явно романтического происхождения вошло в употребление в начале XIX века, когда появились новые идеалы. Старых идеалов, утвердившихся в культурной традиции, просто не замечали или считали чем-то само собою разумеющимся: их называли “обычаями”, “нравами” или “образом жизни”. Около 1905 года немецкие социологи ввели общее понятие “ценностей”, о котором уже была речь. Но теперь нас интересуют не медленные процессы образования традиционных ценностей, а более быстрые, часто революционные способы их возникновения, так что слово “идеал” нам теперь больше подойдёт. (Замечу, что Ницше ещё раньше социологов говорил о “творении ценностей”, воображая, что ценности произвольно придумываются отдельными людьми).

Значительно более быстрый способ приобретения ценностей — это их *заимствование*. Прежде всего заимствуются ценности других культур, ранее отделённых друг от друга географическими или политическими условиями. Завоевание или вторжение в чужую страну может привести к “гибридизации” культур, которую Лоренц называет словом “прививка” (*la greffe*), заимствованным у Поля Валери. Влияние чужих культур возрастает при развитии международных

связей и ослаблении защитных механизмов, предотвращающих смешение культур. Как мы уже видели, в наше время западная культура, преодолевшая сопротивление всех других культур, становится господствующей культурой нашей планеты. Но процессы заимствования не ограничиваются усвоением ценностей чужих культур. Они происходят и внутри каждой отдельной культуры.

Давно замечено, что в классовом обществе ценности различных социальных групп могут различаться — тем больше, чем более жёстки разделяющие их барьеры. В кастовом или феодальном обществе, где эти барьеры почти непроницаемы, каждая группа развивает свои собственные ценности, рассматривая своё социальное положение как “закон природы”, вроде различия между зоологическими видами. Но когда барьеры между сословиями разрушаются, начинается “фильтрация” ценностей и обычаев внутри одной и той же культуры — сверху вниз и снизу вверх. Первый из этих процессов происходил в Греции при переходе архаической сельскохозяйственной экономики в торгово-промышленную. Как показал исследователь греческой культуры Вернер Йегер¹, понятия и обычаи “благородных” начали распространяться в массе простого народа, обычно считающего “лучшим” то, что делают высшие классы населения. То же происходило в Европе в конце феодальной эпохи, когда буржуазия стала перенимать ценности аристократов и подражать их поведению; а затем, уже в XIX и XX веках, рабочий класс Европы стал подражать буржуазии. Историю этой фильтрации ценностей можно проследить по распространению принятых форм обращения. Обращение “господин” (*monsieur*, *Herr*, *mister*, *pan* и т. д.) в Средние века применялось только к привилегированным сословиям, а в Новое время стало общим для всего населения — впрочем, в России до этого не дошло.

Менее обычной была фильтрация ценностей снизу вверх. Если не считать буддизма (поскольку Гаутама был всё-таки царский сын), то первым примером такого процесса было распространение христианства. Эту религию основал сын плотника, который кормился со своими учениками подаянием и был казнён позорным распятием на кресте. Первые христиане были бедные труженики, и лишь постепенно их учение стало проникать в высшие классы Римской империи.

Процессы культурной фильтрации, конечно, не создают новых идеалов (здесь мы возвращаемся к этому слову и больше не гово-

¹Jaeger W., *Paideia*, в 3 томах. Есть английский перевод.

рим о “ценностях”!): они сводятся к заимствованию идеалов другой культуры или другого общественного класса. Создание *новых идеалов* происходит особым способом, который и будет нас, главным образом, интересовать. Чтобы этот процесс был возможен, общество должно быть способно к восприятию новых идей, что предполагает уже значительный уровень развития. В древности и в Средние века представление о произвольном новшестве, о личном изменении традиции было настолько неприемлемо, что все секты и общественные движения настаивали на возвращении к обычаям прошлого, на *восстановлении нарушенной традиции*. Миф о Золотом веке существовал у всех народов; греческие философы были всепессимисты, то есть полагали, что мир становится все хуже, и предлагали даже остановить все возможные новшества, чтобы замедлить этот процесс упадка. Китайские крестьяне устраивали восстания, чтобы заменить плохого императора хорошим, и если это им удавалось, то получалась всего лишь новая династия. Индийские реформаторы пытались вернуться к древности, когда ещё не было каст, но дело кончалось тем, что они становились ещё одной кастой.

Как мы уже видели, еврейские “пророки”, начиная с восьмого века до нашей эры, впервые переместили Золотой век из прошлого в будущее, предсказывая грядущее улучшение мира. Правда, это улучшение должно было совершиться по воле бога, но верующие могли участвовать в улучшении своего ближайшего окружения, воздерживаясь от грехов. Пророческое движение, никогда не исчезавшее среди евреев, привело через несколько столетий к возникновению христианской религии, означавшей начало новой культуры. Другими источниками христианства были греческие секты, например, секта пифагорейцев или поклонники элевсинских мистерий.

Как только христианская религия стала ортодоксальной доктриной, со своим ритуалом и своей традицией, все секты и общественные движения Европы снова впали в пессимизм, настаивая на возвращении к евангельской чистоте первоначальных христианских общин. Таковы были все сектанты средневековья, проповедовавшие отказ от собственности и любовь к ближнему: как мы знаем, в этих сектах зародился “утопический социализм”. Мыслители Нового времени перенесли свой идеал в будущее, осознав прогрессивное развитие человеческой истории. Социалисты XIX века соединили идеал “прогресса” с идеалом “социальной справедливости”.

В Новой истории мы можем проследить возникновение и развитие новых культурных идеалов, и даже увидеть в этом процессе

известную закономерность. Лоренц описывает её как свойство *любой* культуры, но его описание¹ намеренно построено на материале нашей западной культуры, где процессы развития происходят несравненно быстрее, чем во всех ей предшествующих, и воспринимаются как органическая характеристика самой культуры. В самом деле, в прежних культурах процессы развития шли крайне медленно, а может быть, в условиях культурной изоляции, даже сводились к небольшим колебаниям вокруг среднего состояния: эти культуры можно с некоторым основанием назвать “статическими” — в том смысле, что их серьёзные изменения происходили лишь в случаях насильственного столкновения с другой культурой. Иначе развивается западная культура, которую можно назвать “динамической”, и которая сама себя рассматривает таким образом, включив в свои ценности “прогресс”.

В разделе “Длительная открытость миру и любознательность” Лоренц говорит:

“Как в приведённом для сравнения примере роста костей остеокласты противодействуют остеобластам и как в становлении видов изменчивость находится в отношении гармонического антагонизма к постоянству наследственности, так и в жизни культуры описанным в предыдущей главе функциям, сохраняющим структуру, противостоят другие функции, обеспечивающие необходимое для любого дальнейшего развития культуры *разрушение*.”

Насколько сильно жизнеспособность любой культуры зависит от равновесия этих двух групп факторов, лучше всего можно понять из нарушений, происходящих от преобладания одной из них. Увязание культуры в жёстких, строго ритуализованных обычаях может быть столь же губительно, как и потеря всей традиции с хранящимся в ней знанием. Функции, разрушающие постоянство культуры, которые мы теперь рассмотрим, носят столь же специфически человеческий характер, как и функции, сохраняющие её постоянство.

Как было уже сказано в главе 7, в разделе о любознательном поведении, одна из характерных особенностей человека состоит в том, что у него апетенция к исследованию и игре, в отличие от других высших организмов, не исчезает с достижением половой зрелости. Это свойство, вместе со склонностью к самоисследованию, делает человека конституционно неспособным безусловно подчиниться принуждению старой традиции. В каждом из нас существует напря-

¹“Оборотная сторона зеркала”, главы 11, 12. “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества”, глава 7.

жение между господством освящённых традицией ценностей и мятежной любознательностью, влечением к новизне. У римлян политическим термином для революционера было выражение «*Novatum regum cupidus*».¹

Дальше, в разделе «Стремление к новшествам в юности», Лоренц объясняет биологические мотивы этого стремления:

«Все мы считаем само собой разумеющимся, что старшие обычно консервативны, а младшие стремятся к новшествам, так что у нас не возникает повода задуматься, не кроется ли за этим антагонизмом некая глубокая гармония. . .

У шимпанзе и вообще у обезьян половая зрелость наступает ещё до того, как животное достигает своего окончательного веса, а именно, сразу же после смены зубов, то есть примерно на седьмом году жизни. С этого момента проходит ещё пять-шесть лет, прежде чем молодой самец начинает играть роль взрослого в свойственной виду социальной структуре. Как известно, у человека юношеское развитие ещё более растянуто во времени. Естественно предположить, что селекционное давление, вызвавшее это удлинение времени развития, произошло от необходимости усвоения традиционного знания. В естественно образовавшемся языке слова «детство» и «юность» были созданы для двух качественно различных фаз развития. Можно выдвинуть некоторые гипотезы о смысле и цели этих периодов жизни.

Долгое детство человека служит для обучения, для заполнения резервуара его памяти всеми благами кумулирующей традиции, в том числе языком. Долгий период между наступлением половой зрелости и принятием роли взрослого, называемый «юностью», также служит вполне определённой цели. Когда юноша во время полового созревания начинает критически подходить ко всем традиционным ценностям родительской культуры и искать новых идеалов, это, безусловно, нормальное явление, предусмотренное филогенетическим программированием человеческого социального поведения. Так ведут себя и «хорошие» дети, у которых при внешнем наблюдении их отношений с родителями вначале не заметно никаких перемен. Но втайне, несомненно, происходит некоторое охлаждение чувств к родителям и другим уважаемым лицам. И это касается, как показал Н. Бишоф, не только эмоциональной установки в отношении родителей, семьи и самых уважаемых людей, но, что весьма важно,

¹Буквально: «страстно жаждущий нового» (лат). В политическом контексте это означало «стремящийся к переменам».

также позиции юноши по отношению *ко всему, что принимается на веру* . . .

Сразу же после того, как юноша начинает критически и несколько враждебно относиться к отеческой личности и сообщаемым ею нормам социального поведения, он начинает также высматривать других людей, передающих традицию, но стоящих дальше от узкой традиции его семьи. За годами учения следуют вошедшие в пословицу годы странствий. Часто они и в самом деле состоят в перемене мест, но часто и в чисто духовных поисках. То, что влечёт молодого человека вдаль, — это стремление к чему-то высокому и безымянному, совершенно отличному от повседневных происшествий семейной жизни. Нетрудно ответить на вопрос, в чём заключается подлинная цель такого поведения, служащая сохранению вида: она состоит в отыскании культурной группы, традиционные культурные нормы которой *отличны* от норм родительского общества, но при этом всё же достаточно похожи на них, чтобы возможно было отождествление с ними... таким образом подросток часто «присваивает» себе в качестве людей, передающих традицию, учителя, старшего друга, а нередко и целую дружественную семью.

В критической стадии развития юноша воспринимает родительские формы поведения как пошлые, устарелые и скучные. Внезапно он проявляет готовность принять чужие, отклоняющиеся от родительских нравы, обычаи и взгляды. Для выбора этой новой традиции важно, чтобы она содержала идеалы, *за которые можно бороться*. По этой причине как раз эмоционально полноценные юноши примыкают к некоторому *меньшинству*, которое очевидным образом подвергается несправедливому обращению и за которое стоит бороться. . .

Я выдвигаю гипотезу, согласно которой только что описанные процессы, в их закономерной временной последовательности, имеют выработанную эволюцией программу, а функция их для сохранения культуры и вида состоит в том, что они, разрушая устаревшие элементы традиционного поведения и строя вместо них новые, осуществляют текущее приспособление культуры к непрерывно меняющимся условиям окружающего мира.

Чем выше культура, тем более необходимы для её выживания эти функции, поскольку чем выше уровень культуры, тем сильнее, естественно, её социальное воздействие, изменяющее окружающий мир. Можно полагать, что пластичность культуры, обусловленная разрушением традиционных норм, не отстаёт от этих изменений. Есть основания считать, что в старых и примитивных культурах

традиция соблюдалась более жёстко, что сын более верно следовал в них по стопам своего отца и других людей, передающих традицию, чем в высоких культурах. Трудно сказать, случилось ли уже в прошлом, что высокие культуры погибали от расстройств описанных выше процессов, прежде всего от преобладания процессов разрушения культуры. Но нашей культуре, без всякого сомнения, угрожает опасность гибели из-за слишком быстрого разрушения и даже полного обрыва всей её традиции”.

К сожалению, Лоренц не написал второго тома “Зеркала”, где он собирался рассмотреть патологические явления современного общества. Но, по его собственному объяснению, краткое резюме некоторых мыслей этого тома содержится в лекциях “Восемь смертных грехов цивилизованного человечества”, прочитанных им по венскому радио. В этих лекциях он подчеркивает необходимость “молодых групп старой культуры”, где рождаются её новые идеалы.

Такие группы существовали, несомненно, уже в самых древних культурах, как об этом свидетельствует удивительное религиозное движение в Египте, связанное с именем фараона Эхнатона. Целью этого движения была реформа религии в направлении монотеизма, и аналогичные устремления примерно в то же время возникли у мыслителей Индии. Первым народом, уверовавшим в единого бога, были евреи, и это культурное открытие не было утрачено: оно сохранилось и породило в дальнейшем главные религии человечества — христианство и ислам. Но самой выдающейся попыткой построения новой культуры была греческая демократия, центром которой были Афины пятого и четвертого века. Это было светское общественное движение, сумевшее построить и сформулировать свои идеалы, устремлённые в будущее. Речь Перикла, объясняющая совершенную в Афинах духовную революцию, осталась её вечным памятником и образцом для всех поколений. Но древний мир не дорос до свободной жизни и поглотил её преждевременное проявление.

Первые “молодые группы” средневековой культуры были, как мы уже видели, ориентированы на идеалы *прошлого*. Это относится ко всем “еретическим” сектам, и даже к движениям, объективно стремившимся к освобождению от феодализма — например, к английским “пуританам”. Реформация была первой ересью, которую не удалось подавить, и из неё выросла новая буржуазная культура, теперь именуемая “западной”. Но деятели реформации были ещё

пассеисты: их сознательной целью была реконструкция идеального “евангельского христианства”. Идеологию “Возрождения” выработали так называемые “гуманисты”, также видевшие свои образцы в прошлом — в древнем Риме и древней Греции.

Подлинно новые идеалы, составившие основу новой европейской культуры, были выработаны учёными и философами Англии и Франции в XVII и XVIII веках. Мы уже говорили о тех, кто направил человеческую мысль в будущее и создал представление о прогрессе. Первые из них всё ещё были скованы христианской мифологией и не отдавали себе отчёта в революционном перевороте, произведённом их мышлением: таков был горизонт самопонимания Декарта и Ньютона. Но уже во второй половине XVIII века в этом молодом направлении европейской культуры выросло ясное представление о разрыве с прошлым, о безграничных возможностях “безбожного” человеческого развития. Французы назвали это время “эпохой Просвещения”.

Как только Французская революция утвердила власть буржуазии, возникло социалистическое движение, выступившее против частной собственности и наёмного труда. Это движение существенно изменило некоторые аспекты капитализма, но не разрешило его главных проблем. В XIX веке буржуазия несомненно теряет свою роль “культурного авангарда”, погрязнув в самодовольстве. Впечатление культурной немощи и пошлости этой победившей буржуазии лучше всего передал Герцен, в своих впечатлениях о Франции эпохи Наполеона III. Примерно в то же время Джон Стюарт Милль, анализируя английскую парламентскую систему, заметил в ней тенденцию к застою, напоминающую Китай. Это было сказано в то время, когда Маколей всё ещё восторгался триумфальным шествием прогресса в своей стране, и должно было показаться странным англичанам того времени: как выразился наш нынешний сатирик, “в XIX веке никто не предвидел, что за ним последует XX”.

Но в XIX веке всё же действовали “молодые группы” европейской культуры, позволявшие предвидеть её будущее развитие. Одной из них была группа рационального мышления, создавшая науку и технику, другой — группа этического протеста, породившая социализм.

Развитие науки и техники в XIX веке изменило облик нашей планеты и заложило материальную основу будущего человечества. Вряд ли надо напоминать великолепные достижения учёных и инженеров, которыми XX век так постыдно злоупотребил. Но надо заметить, что эти достижения лишь *завершают* старую культуру, а не открывают новую. По-видимому расцвет рациональной деятель-

ности, сопутствующий упадку эмоций, вообще образует последнюю фазу любой цивилизации. Греческую культуру завершили Архимед, Птолемей и Герон Александрийский; в конце эпохи Возрождения стояли Галилей и его ученики. Чудеса науки и техники были *последним словом* европейской буржуазной культуры.

Точно так же, как общины первых христиан предвещали — в недрах античной культуры — появление новой, христианской культуры, возникновение социализма означало стремление к другой, ещё загадочной будущей культуре, которая будет очень непохожа на нынешнее “общество массового потребления”. Наивность первых социалистов очень напоминает эсхатологическое нетерпение первых христиан, ежечасно ожидавших второго пришествия. Но очень скоро выяснилось, какая взрывчатая сила содержалась в их идеях. Первые группы социалистов ещё и тем напоминали первых христиан, что не посягали на существующий государственный строй, и даже не придавали значения политическим учреждениям, а довольствовались мирной пропагандой. Подобно христианству, социализм был вначале *нравственным* учением. Лишь там, где он сталкивался с полицейскими запретами государства, он приобретал агрессивные черты. Не случайно немецкий марксизм, в отсталой полуфеодальной Германии, был непохож на английский лейбористский тип социализма, а русский марксизм превратился в “большевизм”.

Мы уже говорили об идеалах первых социалистов. Наиболее консервативным из них был Сен-Симон, сильнее всех повлиявший на Маркса и европейскую социал-демократию. По существу, он хотел устроить плановый капитализм, управляемый государственной бюрократией из “промышленников” и учёных. Если не считать значительно меньшей роли учёных (явно не подходящих для функций “планирующих” чиновников и замещаемых в наше время псевдоучеными, выдающими себя за социологов, психологов и экономистов), то нынешний “западный” капитализм и есть воплощение идей Сен-Симона. В сущности, Сен-Симон не был демократом: он предполагал олигархическое правление, которое должно было “осчастливить” всё население, поскольку олигархи будут планировать общественную жизнь именно с этой целью. “Счастье” людей при этом отождествлялось с материальным благополучием, которое Сен-Симон (в отличие от Маркса), даже не связывал с экспроприацией богатых. Для успокоения масс современная западная цивилизация, вдобавок с бюрократическому сен-симонизму, где уровень человеческого благополучия измеряется потреблением, создала иллюзию представительного правления. Как мы увидим, даже этот суррогат счастья

ускользает от подавляющей массы населения: потребление на душу населения постепенно убывает.

Более радикальные идеалы представляли Оуэн и Фурье. Хотя Фурье охотно шёл на компромиссы с буржуазным обществом и даже предлагал “капиталистам” акции своих фаланстеров, по существу он хотел устранить наёмный труд, заменив его добровольным и приятным трудом, принимающим во внимание инстинктивные стимулы и личные вкусы людей. Впрочем, даже в идеальном обществе он, кажется, не мог освободиться от денег: Фурье был всю жизнь мелким конторским служащим. Ещё более Сен-Симона он был склонен к фантастическому уточнению своих проектов; он был мистик, предполагавший к тому же связь между “микрокосмом” и “макркосмом”: как только люди начнут жить справедливой жизнью, сама природа чудесным образом изменится, создав для них новый мир. Первые же фаланстеры должны были вызвать революцию в мироздании.

Самым проницательным из первых социалистов был Оуэн, имевший опыт промышленной организации и прямое знание жизни рабочих. Практическое знакомство с хозяйством предохранило его от доктринальных измышлений и — как это ни странно для фабриканта, каким он был в первую половину жизни, — от преувеличения материальной стороны человеческого существования. Оуэн понимал, что главная задача будущего общества — *воспитание* людей. Он знал, что с людьми, выросшими в старом мире, нельзя построить новый мир. Конечно, его вера во всемогущество воспитания была иррациональна, но эта вера давала ему силу жить и работать. Воспитание человеческого рода оказалось более сложным делом, чем он думал. В отличие от умозрительных проектов Сен-Симона и Фурье, Оуэн пытался создать образцовое предприятие в Нью-Ленарке, постепенно привлекая рабочих к участию в его управлении. Под руководством такого воспитателя удалось добиться больших успехов, но буржуазная Англия не позволила ему продолжать этот эксперимент. Тогда Оуэн, веривший в силу примера, начал более радикальное предприятие, устроив “коммуны” в Америке. Это была уже попытка создания нового общества на новом месте; но ему пришлось убедиться, что он по-прежнему имел дело со “старыми” людьми. Изоляция общества не может быть только материальной, но должна быть также культурной. “Коммуны” религиозных сектантов существуют в Соединённых Штатах (где их не преследуют) уже двести лет; но последователи Оуэна не сумели создать для своих учеников изолированную культурную среду. Их “коммуны” всегда распадались.

Идея *воспитания человеческого рода*, восходящая к французскому Просвещению и Роберту Оуэну, составляет важнейшее наследие европейской культуры, утраченное современной социал-демократией. Социал-демократы боролись за улучшение материальных условий наёмных трудящихся, и добились немалых успехов, практически устранивших — в пределах “западных” стран — физическую бедность. Но они почти ничего не сделали для преодоления *духовной нищеты*. На это обвинение социалисты обычно отвечают, что сначала людей надо накормить, одеть и т. п., а потом уже их просвещать. Этот софизм, характерный не только для марксистов, мы рассмотрим в дальнейшем. Во всяком случае, ориентация на потребление трогательно соединяет социал-демократов с обыкновенными буржуа.

Впрочем, и сами нынешние социал-демократы — буржуа по своему воспитанию и характеру. Они перестали быть духовной элитой своего общества. В более далекой перспективе им нечего предложить людям. В повседневной деятельности они не более чем приказчики капиталистических хозяев, их агенты по “человеческим отношениям” (*“human relations”*). Примерно то же говорили о них коммунисты, и были правы. Что могли предложить они сами, мы видели в России: это была “партийная” диктатура, с особыми привилегиями для её чиновников.

После приведённых выше примеров можно поставить ряд вопросов о нынешней западной культуре. Является ли она “старой” культурой, и в каком смысле? Что представляет собой её правящая, то есть “материальная” элита? Каковы сейчас “молодые” группы этой культуры, способные стать её духовной элитой? Что означает утверждение, что западное общество нашего времени является “демократией”? Происходит ли в этом обществе культурный прогресс? И, наконец, каково возможное будущее этого общества?

Современная западная культура основана на рыночном хозяйстве и денежных отношениях. В ней давно уже нет сословных привилегий — во всяком случае, в юридическом смысле. Расовые и национальные привилегии фактически существуют, но единственная важная привилегия в этой культуре — это привилегия *денег*. В этом смысле её следует назвать *буржуазной*, поскольку тип человека, ориентированного главным образом на деньги, называется французским словом “буржуа”. Это слово давно вошло в употребление в России — именно в том специфическом смысле, о котором только

что была речь. Первоначальный смысл его (“горожанин”) утрачен и в современном французском. По-английски буржуазию обозначают (не вполне точно) выражением “средний класс” (*middle class*), а в немецком языке слово “*Bürger*” означает не только “буржуа”, но ещё и “гражданин”. С первого взгляда ясно, что ценности западной культуры теперь измеряются деньгами, и ничем другим. С другими вещами иногда приходится считаться, но они рассматриваются лишь как препятствие к основному занятию — “делать деньги”.

В этом своём нынешнем виде буржуазная культура существует уже около трехсот лет: началом её следует считать “Славную революцию” в Англии (1688 год); последние пережитки феодализма в Европе потеряли значение после Первой мировой войны. Перед этой вполне буржуазной эпохой европейская культура развивалась в течение нескольких столетий в направлении к “власти денег”. Хронологически продолжительность буржуазной культуры вполне сравнима с длительностью феодализма или античного рабовладения.

Более убедительным признаком “старой” культуры является её неподвижность, неспособность к изменению. В западной культуре давно закрепились догмы “представительного правления”, а после Второй мировой войны также табу на не подлежащие обсуждению вопросы. За исключением военных катастроф (по-видимому, уже уходящих в прошлое), вся политическая жизнь Запада сводится к препирательствам о мелких денежных преимуществах, ничего не меняющих в содержании общественной жизни. В Соединённых Штатах после гражданской войны политика никогда не имела другого содержания. Английская двухпартийная система и построенная по её образцу американская оказались наиболее устойчивыми и удобными для правящей элиты, и теперь им подражают в других странах. При этой системе различия между партиями носят столь несущественный характер, что вряд ли можно говорить о серьёзных общественных вопросах, и тем более их решать.

Наконец, очевидные признаки разложения Западной культуры, вполне аналогичные явлениям распада прошлых культур, не оставляют сомнения, что мы имеем дело с дряхлеющей культурой, потерявшей способность к внутреннему развитию. Её внешняя экспансия объясняется исторически сложившимся техническим превосходством и более ранним разложением других культур. В общем, это упадок всей человеческой культуры, о чём мы уже подробно говорили выше.

Что представляет собой “материальная элита” Западной культуры, то есть группы, которым принадлежит в ней сложившаяся

по традиции власть? Уже Токвиль заметил, на примере Соединённых Штатов, что единственное социальное различие между американцами составляет их имущественное положение, и указал на особое положение американской “аристократии богатства”, не имеющее аналогов в истории. Токвиль увидел “подвижность” богатства в Америке, где состояния обычно возникают и исчезают в течение одного поколения, причём это богатство не связано ни с происхождением, ни с наследственным землевладением и, таким образом, гораздо “демократичнее” богатства в Европе. В этих условиях — говорит Токвиль — в Соединённых Штатах очень небольшую роль играет *наследственное* богатство, а потому не образуется традиция богатства: нет никакого общего *культурного* признака, выделяющего класс богатых. Между тем, уже в то время (около 1830 года) в Америке отчётливо определилось не только экономическое, но и политическое преобладание “денежного” класса.

Таким образом, в Америке *есть неравенство, но нет аристократии*, и в наши дни такое же положение сложилось во всех странах Запада. Стремление к равенству, в смысле отсутствия сословных привилегий, достигло своей цели, и — с точки зрения гуманизма — это хорошо, поскольку человек не должен быть унижен своим происхождением. Этого *недостаточно* в том отношении, что наличие класса неработающих людей, занимающих в обществе руководящие позиции, вызывает социальный протест. Как мы знаем, привилегии богатства воспринимаются как *“социальная несправедливость”*, и эта оппозиция неустраима, поскольку она выражает социальный инстинкт. К этой главной теме нашей работы мы ещё вернёмся; а теперь мы займёмся другой стороной дела — характеристикой нынешней правящей элиты, которую мы назвали “материальной элитой”.

С внешней стороны, бросается в глаза её банальность. Эта материальная элита ничем не выделяется из общей мещанской среды — ни образованием, ни вкусами, ни стилем жизни. Прошли времена, когда представителей правящего класса можно было узнать по одежде, драгоценным украшениям, роскошным выездам, по особым манерам и даже по особому языку (у нас в России барским языком был французский, а раньше он исполнял эту роль во всей Европе). Нынешняя правящая элита стыдится показывать своё богатство и старается его не афишировать. Из ритуальных признаков общественного превосходства сохранились только дорогие автомобили, да и то их шофёры больше не носят ливрей. Женщины этого класса лишь изредка надевают свои драгоценности по слу-

чаю какого-нибудь бала, а мужчины больше не носят галунов и перстней.

Эти люди больше не выделяются изысканным образованием. Их речь и манеры несколько не отклоняются от норм всего “среднего класса”, определяемых главным образом телевидением. Точно так же, у них банальные вкусы: если они покупают произведения искусства, то лишь для помещения капитала или для престижа, потому что они так же неспособны наслаждаться искусством, как средний нынешний буржуа. Существует даже статистически доказанная закономерность, по которой богачи в первом поколении — то есть активные приобретатели капитала — имеют особенно низкое, чаще всего неоконченное образование. Их дети, конечно, учатся в университетах, но в культурном отношении заурядны. Выходцы из богатых семей не проявляют себя ни в науке, ни в литературе, ни в искусстве. Большой частью это избалованные бездельники.

Правящая элита *все больше изолируется от общества*. Самые богатые живут в загородных резиденциях, окружённых стенами и охраняемых, как крепости, тщательно отобранной стражей. Не столь богатые селятся в закрытых кварталах городов, куда не пускают без приглашения. Эти кварталы контролирует частная полиция, крайне грубо обращающаяся с обыкновенными гражданами. Богатые так много тратят на обеспечение своей безопасности, что мотивы их не вызывают сомнений: *они боятся*. Зачастую рядом с их кварталами находятся городские районы, населённые “низшим классом” населения — так называемые “гетто”. При переходе границы такого района богатые испытывают панический страх, напоминающий отношения придуманных Уэллсом “элов” и “морлоков”. Чего же боятся богатые?

Ответ на это даёт статистика. Начиная с 1968 года прекратился послевоенный рост доходов американских трудящихся, то есть людей, живущих на заработную плату. С тех пор их уровень жизни медленно, но постоянно снижается. Хотя уровень производства растёт, свыше 90 процентов происхождения отсюда дохода достаётся *одному верхнему проценту* населения — верхнему именно в смысле дохода. Растущий разрыв в доходах между богатыми и бедными не вызывает сомнений у экономистов и социологов, при всей их готовности оправдать существующий общественный строй. Можно с уверенностью сказать, что мечта “либералов” об “обществе всеобщего благосостояния” с постепенным выравниванием доходов населения окончательно провалилась. В других странах Запада наблюдаются те же тенденции; не составляет исключения и Япония, при всём

своеобразии её социальной системы. Не значит ли это, что Уэллс с его вийдением элоев и морлоков в конечном счёте оказался прав?

Мятежи американских чёрных в 60-е годы нагнали страху правящей элите. Были сделаны значительные уступки беднейшим слоям населения: по существу, система социального обеспечения под названием “уэлфер” была подачкой богатой страны самым бедным из своих граждан. Эта подачка на некоторое время подействовала, но вызвала недовольство “среднего класса”, поскольку предотвращение социальной катастрофы легло тяжёлым бременем на *всех* налогоплательщиков. Кроме того, уэлфер произвёл развращающее действие на значительную часть бедных, приучив многих трудоспособных людей жить на пособия. Теперь подачки уэлфера постепенно берут назад, ожидая, что из этого выйдет. В Европе система, аналогичная уэлферу, настолько укоренилась, что предприниматели не нанимают новых рабочих, а расширяют производство в слаборазвитых странах. Если разрыв в доходах будет дальше расширяться, а безработица будет всё больше загонять трудящихся в “теневую” экономику, то современный капитализм неизбежно столкнётся с социальной катастрофой. У богатых есть серьёзные причины бояться.

Как мы видели, материальная элита современного Запада — при всех видимых успехах “западного” образа жизни в слаборазвитом мире — охвачена глубоким страхом и давно уже неспособна придумать что-нибудь новое. Мы уже описали застой западной науки и техники, давно довольствующихся развитием наследия прошлых поколений, и полный паралич литературы и искусства. Возникает вопрос, есть ли в Западной литературе “молодые группы” в смысле Лоренца, её *духовная элита*, способная предчувствовать и подготовить её будущее развитие? Всякий, кто внимательно следит за тенденциями развития этой культуры, вынужден ответить на этот вопрос: *никакой духовной элиты в западном обществе нет.*

Я не думаю, чтобы кто-нибудь стал всерьёз опровергать это утверждение, поскольку несогласные с ним должны предъявить противоречащие ему факты, то есть указать общественные группы, заслуживающие называться духовной элитой. Скорее мне возразят, что современное общество и не нуждается в таких группах, то есть не требует больше радикальных изменений, а может довольствоваться кое-какими мерами регулирования. Как я уже говорил, такую позицию философского самодовольства и в самом деле занимает

один американский автор, который не может представить себе ничего лучшего нынешних Соединённых Штатов.

Общественный строй, который установился в странах Западной Европы и в Соединённых Штатах, а также в некоторых других странах, населённых европейскими колонистами (например, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии), называется “демократией”. Можно указать общие принципы демократического строя, признаваемые во всех этих странах:

1. Граждане равны перед законом.
2. Государство управляется под контролем парламента.
3. Граждане пользуются так называемыми “правами человека”.

Первые два из этих принципов были лозунгами многовекового общественного движения, целью которого было “равенство”, а движущей силой — европейская буржуазия. Это движение описал и оценил Токвиль, ещё в XIX веке. Третий принцип оказался в центре внимания уже в XX веке, хотя самое выражение “права человека” гораздо старше. Мы приступим теперь к краткому анализу этих трёх принципов и их практического применения.

“Равенство граждан перед законом” означает, что все граждане пользуются одинаковыми юридическими правами, то есть никто из них не имеет *формальных* преимуществ при осуществлении своих прав и обязанностей. В частности, это значит, что государство не признаёт сословных, национальных и имущественных различий при выполнении своих функций. Здесь содержатся одинаковый суд, одинаковые воинские обязанности, одинаковые избирательные права, одинаковые права на экономическую деятельность. Первоначальный, почти забытый мотив этого требования состоял в устранении средневекового неравенства сословий. Теперь в западном мире давно нет сословных привилегий, если не считать некоторых декоративных пережитков прошлого в Англии и в Испании. Напротив, национальные и имущественные различия сохраняют своё значение. Скажем, в Англии человек чёрной или жёлтой расы, хотя бы имеющий британское гражданство, формально подвергается общей судебной процедуре, но не всегда может рассчитывать на такое же отношение, как природный англичанин. Важнее всего, однако, имущественное положение человека. У богатых гораздо больше возможностей защитить свои интересы в суде. Они не опасаются судебных издержек, потери рабочего времени; они могут нанимать лучших адвокатов; наконец, у них гораздо больше способов обходить законы. Например, они могут уклоняться от уплаты налогов многими способами, недоступными для бедных. Таким образом, “равенство

перед законом” — это не подлинное равенство прав и обязанностей, а всего лишь *гарантия соблюдения одинаковых формальностей*. Во всяком случае, она охраняет человека от прямых унижений.

Парламентское или представительное правление означает, что избранный гражданами парламент издаёт законы и утверждает правительство, причём все взрослые граждане пользуются равным избирательным правом. Конечно, влияние отдельного гражданина на государственные дела не может быть, и не должно быть слишком велико: демократия, как принято думать, выражает “волю большинства”. Естественно, этому понятию не отвечают прямое вмешательство уличной толпы в работу законодательных учреждений или мятежи в больших городах и воинских частях, выдаваемые за народную волю. Такие стихийные явления обычно использовались демагогами для имитации “народоправства”; они приводили большей частью к бессмысленным кровопролитиям или к установлению диктаторского правления. Ханна Арендт вполне права, отвергая популистские методы политической деятельности, применённые во Французской и Русской революциях. История выработала метод, избавляющий общество от диктаторов и от диктатуры толпы: это представительное правление.

Конечно, путь, ведущий от желаний отдельного человека к принятым и соблюдаемым законам, долг и труден. Но общество — если оно не находится в рабстве — всегда делится на группы, отстаивающие различные взгляды и интересы. В зрелом и сколько-нибудь свободном обществе из таких групп образуются *политические партии*. У нас в России укоренилось недоверие к партиям, потому что это слово было скомпрометировано советской системой, где была всего одна “партия”, а значит, вовсе не было партий; теперь его всё ещё порочат клики чиновников, именующие себя “партиями”. Но вообще партии неизбежны, и уже от самих граждан зависит поддерживать в них дух свободной дискуссии и стремление к серьёзным решениям. Если, например, социалистические партии Европы давно утратили своё прежнее значение духовной элиты, то вовсе не потому, что партии вообще не годятся или непременно вырождаются, а потому что выродились люди, составляющие эти партии: они теперь *буржуа*.

Представительное правление — это некоторая государственная машина, изобретённая в Англии, как и многие другие полезные машины. Составными частями этой машины являются парламент, избираемый всеобщими выборами, правительство, ответственное перед парламентом и сменяемое по его воле, и судебная система, независимая от других властей. Как показал опыт Англии и других

стран, перенявших эту машину управления, она работает гораздо лучше, чем другие государственные устройства — наследственное самодержавие, военная диктатура или тоталитарный режим. Представительное правление предохраняет от монополизации власти отдельными лицами или группами, ограничивает злоупотребления и коррупцию, обеспечивает мирную и упорядоченную смену руководящего персонала. Все эти преимущества действуют независимо от того, какие партии и лица стоят у власти в то или иное время; если можно применить к этому старому изобретению новый термин, это *кибернетические* свойства представительного правления. Американцы, с их трезвым здравым смыслом, понимают эту независимость своего государственного строя от замещения должностей; они могут осуждать нынешнего президента и нынешний конгресс, но уважают свою “конституцию”. Конечно, этим уважением не следует злоупотреблять.

Если демократические убеждения — это приверженность к представительной системе правления, то я демократ. Но есть и другие толкования слова “демократия”, которые нам предстоит рассмотреть. Например, у нас в России это слово чаще всего понималось как “народовластие”, в смысле неограниченной власти большинства народа, и без всякого анализа механизмов этой власти. Но если не указаны точные процедуры управления и не гарантировано их соблюдение, то любой диктатор может претендовать на роль выразителя народной воли. Если же эти процедуры известны и применяются на практике, то результаты правления могут зависеть от наличного состояния нации. Впрочем, нация, выбирающая диктатора, уже не заботится о дальнейшем соблюдении законов.

Я только что указал на главную опасность демократии. В 1933 году нацисты имели Веймарскую конституцию, составленную по лучшим образцам представительного правления. Немцы избрали *по этой конституции* парламент, утвердивший рейхсканцлером Адольфа Гитлера: демократия в Германии свершила самоубийство. Ещё раньше, в 1849 году, французы избрали президентом республики Луи-Наполеона Бонапарта, хотя они должны были понимать, что этот человек добивается личной власти. Через два года Франция перестала быть республикой. В наши дни парламентскую систему переняли нации, вовсе к ней не подготовленные, такие, как Япония, Индия и Россия. В таких случаях приходится надеяться не столько на демократические чувства народа, сколько на раздоры среди господ, стремящихся к власти, и на недостаток энтузиазма к какому-нибудь “спасителю”. Надо признать, что единственной

гарантией представительного правления является демократическое воспитание граждан.

Конечно, всевозможные “республики” Азии, Африки и Южной Америки всего лишь прикрывают демократическими вывесками власть какого-нибудь диктатора или олигархии. Прежде чем воспитывать все эти народы, нации Запада должны позаботиться о собственном воспитании. Они должны подвергнуть критике и самые механизмы своего управления, всё менее пригодные на пороге третьего тысячелетия. В самом деле, кто в действительности управляет в “демократических” странах, и какие реальные механизмы власти используют их формальную власть?

Ответ на этот вопрос хорошо известен, хотя в последние десятилетия эту простую истину не принято упоминать. Этот ответ дали ранние социалисты; критическая сторона их учения, как обычно, была сильнее их позитивной программы. Нынешние социалисты, примирившиеся с капитализмом в его “цивилизованном” виде, попросту с ним сотрудничают, и забыли не только туманные идеалы своих предшественников, но и вполне конкретную и справедливую критику “дикого” капитализма, в которой мало что требует изменения в наши дни. Впрочем, при “диком” капитализме подлинные пружины власти не особенно скрывались. “Отцы американской революции” — члены Континентального Конгресса — почти все были богатые люди, а более половины их вели денежные операции или, как тогда откровенно говорили, “давали деньги в рост”. Эти люди вовсе не имели в виду отдать власть большинству народа; они полагали, что Конгресс должен главным образом выражать “интересы собственности”, или просто “денежные интересы” (в зависимости от того, как мы переведем *vested interests*), хотя и признавали, что в нижней палате должны быть в известной мере представлены и мнения народа¹. В самом деле, Вудро Вильсон подсчитал, что в нача-

¹“A landed interest, a manufacturing interest, a mercantile interest, with many lesser interests, grow up of necessity in civilized nations, and divide them into different classes, actuated by different sentiment and views. The regulation of these various and interfering interests forms the principal tasks of modern legislation.” J. Madison, *The Federalist*. (“Интересы землевладения, интересы промышленности, интересы торговли, денежные интересы и множество менее важных интересов, неизбежно возникающих в цивилизованных нациях, разделяют их на разные классы, движимые разными чувствами и мнениями. Регулирование этих различных и противоречивых интересов и составляет главную задачу современного законодательства”. Здесь деятельность конгресса сводится, главным образом, к обслуживанию интересов бизнеса, а интересы народа, несомненно, сводятся к “менее важным”. Джеймс Мэдисон был главным автором американской конституции и четвертым президентом Соединённых Штатов. Уже в XX веке другой

ле американской республики избирательным правом пользовались всего 120 000 человек из 4 миллионов американцев; если принять во внимание, что среди этих американцев были женщины, дети и чёрные, которые считались одинаково неспособными к политической жизни, то полноправными гражданами признавали далеко не всех взрослых белых мужчин. Цензовые ограничения, введённые в каждом штате, привели к тому, что в выборах в то время участвовало не более 15 процентов этих “полноценных” людей. Так обстояло дело с “народовластием” в первой демократической республике! И если к 1860 году все взрослые белые мужчины уже могли голосовать, это означало, что система власти, под нажимом снизу, несколько изменилась.

Изменилась, но не так уж сильно. Я помню карикатуру XIX века из учебника американской истории, изображавшую американский сенат. Учебник был очень консервативный, а карикатура была сделана в то время, когда американцы ещё меньше нынешнего были склонны к социализму. Художник представил сенат в виде ста денежных мешков с чем-то вроде человеческих голов, с надписями, объясняющими эти мешки в смысле денежных интересов: “уголь”, “зерно”, “железные дороги”, и т. д. Такой экономический подход не особенно шокировал читателей Драйзера, Синклера и Льюиса, понимавших, что почём в американской политике. Но уже в начале XX века американские политики почувствовали, что им нужен более благородный “имидж”. Создавался идеал “цивилизованного капитализма” — “общества всеобщего благосостояния” (*welfare state*).

В это время экономическая машина капитализма настолько развилась, что могла обеспечить некоторое благополучие трудящихся без особого ущерба для своих хозяев. Можно подумать, что к этой экономической машине применимы те же соображения, какие оправдывают полезность политической машины представительного правления. Попробуем посмотреть на неё с этой точки зрения. Как мы уже знаем, эта машина использует “полусвободный” рынок с государственным вмешательством, предохраняющим её от кризисов. Она оказалась достаточно эффективной в XX веке — в нейтральном “кибернетическом” смысле слова — и возникает вопрос, нельзя ли её использовать как-нибудь иначе, с большей пользой для общества. Для этого надо было бы, конечно, передать управление ею в другие руки и поставить перед ней другие цели. Нечто в этом роде имел в

американский президент сформулировал ту же истину совсем просто: “Дело Америки — это бизнес”.

виду Маркс, хотя он и не объяснил, как это сделать. Марксисты в России попросту сломали эту машину, но это уже другой вопрос.

Идеологи “государства всеобщего благосостояния” внушают нам, что в машине *ничего* не надо менять, более того: *опасно* что-нибудь изменить. Конечно, они ссылаются на опыт “стран социализма”, но этот опыт доказывает лишь, что *таким образом* изменить её нельзя, то есть нельзя улучшить работу машины, попросту её разрушив. Машина “цивилизованного” капитализма внушает его адептам подлинное благоговение — это их священная корова. Если держаться такого мнения, то опасно нарушать интересы господ, стоящих у штурвала машины, или даже исполняющих при ней какую-нибудь декоративную роль: как бы чего не вышло! Что бы ни случилось, этих господ надо спрашивать, с ними надо советоваться: иначе может упасть ВВП — “внутренний валовой продукт”, может разрегулировать рынок, вырасти безработица, и так далее. В общем, неизбежные совещания и согласования с крупными компаниями играют точно такую же роль в управлении государством, что и простое лоббирование при диком капитализме; но всё это делается, разумеется, в интересах народа. Ничего не меняет и тот факт, что крупные компании возглавляют теперь не обязательно их подлинные хозяева, а чаще всего наёмные менеджеры. Подробности всей этой системы можно найти в книге Райта Миллса “Правящая элита”: тот, кто описывает факты, как они есть, считается крайним радикалом, но даже Миллс вовсе не социалист.

Впрочем, в 1964 году, как показал опрос общественного мнения, лишь 29 процентов американцев полагало, что их страна управляется в интересах богатых, а в 1992 году уже 80 процентов держалось такого мнения. Таким образом, я могу присоединиться к нему, не опасаясь обвинения в экстремизме. 80 процентов американцев убеждено теперь в том, что *всегда* говорили радикалы и социалисты. (Может быть, в критической части их рассуждений был какой-то смысл?) Кажется, я зашёл слишком далеко, ссылаясь на авторитеты. Итак, я думаю, что западным обществом управляют в наше время те же денежные интересы, *vested interests*, что и в эпоху Франклина и Мэдисона. Этот факт не удалось вытеснить из сознания простых американцев. Как сказал другой знаменитый американец, “нельзя всё время обманывать всех”. Таким образом, современная демократия — это *демократия для богатых*, власть богатых, где *реальные* права граждан никоим образом не равны. Точно так же, хотя на выборах каждый человек имеет один голос, богатые способны оказывать сильнейшее — обычно решающее — влияние

на исход выборов, потому что в их руках находятся дорогостоящие средства массовой информации. Поистине, в нашем мире действует закон Оруэлла: “Все животные равны, но некоторые равны больше других”. Но, как я уже говорил, в этом обществе всё-таки построена Ветряная Мельница — идеал голодного скота.

Любая банальность вызывает возражения. Затратив столько времени на доказательство очевидных вещей, я ожидаю возражений, более того — я их предвижу. Мне скажут примерно следующее:

“Неравенство людей — это закон природы. Люди являются на свет неравными в физическом, и ещё больше в духовном отношении. После этого случайности воспитания, больше всего зависящие от неизбежно случайных родителей, ещё усиливают неравенство между людьми. Но тогда не приходится удивляться, что люди по-разному обращаются с окружающей средой и окружающим обществом, и тем самым достигают в жизни разных успехов. Как бы вы не устроили общественную машину, в ней всегда будут более и менее выгодные места, и люди будут занимать эти места в соответствии со своими способностями”.

Это рассуждение — обычный софизм тех, кто защищает “социальную несправедливость”. Поскольку в этой книге не содержится никакого определения “социальной справедливости”, я поставил предыдущее выражение в кавычки и попытаюсь объяснить, *почему это софизм*. В самом деле, замещение выгодных мест в экономической системе не обязательно зависит от положительных способностей тех, кто их занимает: лучшие места достаются не всегда самым умным, самым честным, и уж конечно, не самым бескорыстным. Если же допустить, что лучшие места чаще всего достаются людям с отрицательными способностями — самым хитрым, самым лицемерным или самым жадным, — то предыдущая апология богатства приобретает в глазах многих мрачную убедительность, но вряд ли успокоит тех, кто “равен меньше других”.

Я вовсе не выдумываю парадоксы, а предлагаю план исследования. Социологи без конца исследовали бедных, но оставили без внимания богатых. Они изучали бедных, как в некотором смысле ненормальных граждан, и пытались понять, почему они бедны, и как им можно помочь справиться с бедностью. Симметричная задача, которой занимались очень мало, состоит в том, почему богатые богаты, и как им можно помочь справиться со своим богатством, потому что богатство тоже может быть несчастьем. Но главным образом меня интересует первая проблема: *какие* люди становятся богатыми, и *как* это им удаётся. А затем уже можно спросить, как они

пользуются своим богатством, и насколько они содействуют этим развитию культуры. Я отдаю себе отчёт в том, что исследователю будет гораздо труднее проникнуть в привилегированные кварталы, чем в городские гетто, и что обитатели роскошных резиденций не всегда им будут рады. Более того, ему труднее будет проникнуть в души богатых, потому что — если я не ошибаюсь — один из секретов богатства составляет скрытность. Изучение богатой части общества очень важно, хотя богатых не так много, как бедных: от них многое зависит.

В сущности, я не сказал ничего нового по поводу “равенства” — всё это настолько известно, что почти забыто. Следовательно, надо ещё раз это повторить. За фасадом современного западного общества, изображающим все виды гражданского равенства, всеобщее и равное избирательное право, представительное правление и ответственное правительство — за этим фасадом находится совсем другое здание, то общественное устройство, где людям в самом деле приходится жить. Это здание некрасиво, дряхло и угрожает обрушиться на головы своих жильцов. Путеводители по этому дому — не Токвиль, не Хартия ООН и не Интернет, а по-прежнему Бальзак, Теккерей и Достоевский.

Предстоит ещё определить, каким может быть равенство, и за какое равенство стоит бороться.

Если “равенство” было девизом XIX века, то XX век выдвинул на передний план идею “прав человека”. Две мировых войны, поставившие под угрозу все достижения культуры, в значительной мере научили людей, как опасно и невыгодно давать волю атавистическим инстинктам. Это привело к серьёзному ограничению проявления коллективной ненависти — войн и этнических преследований. Внешним выражением такого кризиса человеческой психологии было создание Организации Объединённых Наций. Конечно, люди, задумавшие эту организацию, должны были сотрудничать с тоталитарными правительствами, по разным причинам оказавшимися в лагере победителей. Но люди, писавшие Хартию ООН, не сделали уступок диктаторам: настроение переживших войну народов позволило им изложить свои убеждения без унижительных компромиссов, и тиранам пришлось хотя бы на словах согласиться с тем, чего они боялись больше всего: *с правами человека*.

Теоретически “права человека” охватывают всё, что касается человеческого достоинства, в том числе и гражданское равноправие, и экономическую безопасность. В этом широком смысле и говорится о правах человека в Хартии ООН, включающей и такие не очень от-

чётливые принципы, как “право на труд”, “право на образование” и “право на охрану здоровья”. Всё это — отдалённые цели, требующие уточнения; по существу же “правами человека” считают некоторые принципы, *охраняющие человеческую личность*. Человека нельзя убивать, истязать, произвольно перемещать против его воли, сажать в тюрьму или лагерь без суда; нельзя запрещать ему пользоваться родным языком или исповедовать свою религию; нельзя принуждать его к работе или требовать от него непосильной работы; нельзя оскорблять его за его происхождение, религию или политические взгляды; женщины пользуются всеми правами мужчин, в том числе, правом на равную плату за равный труд; наконец, признаются особые правила защиты детей. Все эти принципы, в некотором смысле, “пассивны”: они говорят, чего *нельзя* делать с человеком, но не гарантируют ему, что он *может* делать. Зато перечисленные запреты достаточно определённы, чтобы не допустить превратного толкования, и минимальны — в том смысле, что в них ни при каких обстоятельствах нельзя отказать никакому человеческому существу. Несомненно, признание прав человека было большим шагом в развитии человечества и, к счастью, находятся люди, напоминающие всевозможным правительствам об этих правах.

Вернёмся теперь к понятию представительного правления. Как мы видели, на это правление решающим образом влияют *vested interests*, денежные интересы. От этих интересов, то есть от крупных компаний, зависит отбор кандидатов на всех выборах — кроме, может быть, выборов низших муниципальных властей; эти кандидаты, в общих чертах, одинаково пригодны капиталистическим господам и будут вести на своих должностях почти одинаковую политику, но для иллюзии народного выбора устраивается дорогостоящий спектакль, в котором главную и безусловно фатальную роль играет телевидение.

Уже давно замечено, что телевидение — это средство информации для неграмотных людей, отучающее людей читать и понимать прочитанное. В отличие от печатного текста, сообщения телевидения не могут быть восприняты повторно в другое время и неторопливо изучены. Поэтому они обычно не обдумываются и плохо запоминаются. Зная это, хозяева телевидения заботятся главным образом о том, чтобы произвести на зрителя эмоциональное впечатление. По одной этой причине политическая информация, требующая не только эмоций, но также рационального рассмотрения, пло-

хо подходит для телевидения. Зритель, приученный воспринимать телевизионные передачи как развлечения, переносит эту привычку на политические передачи. В частности, избирательные кампании, опирающиеся преимущественно на телевизионную рекламу кандидатов и так называемые “телевизионные дебаты”, сосредоточивают внимание на внешнем виде и актёрских дарованиях участников и, в отличие от прежних избирательных митингов, не дают политикам почувствовать реакцию публики и прямо ответить на вопросы.

Я уверен, что можно было бы значительно уменьшить вредное влияние телевидения на политику, *запретив* вмешательство телевидения в избирательные кампании. Аналогичные запрещения уже налагаются на публикацию опросов общественного мнения перед выборами; точно так же, телевизионная реклама кандидатов может быть запрещена, как препятствующая сознательному мышлению избирателей. Конечно, вследствие этого неграмотная часть публики, не умеющая понимать печатные публикации, потеряет интерес к выборам; тем лучше! Из всех видов избирательных цензов один только образовательный ценз заслуживает одобрения. Трудно представить себе, что грамотные могут злоупотребить правами неграмотных в обществе, где образование давно уже доступно всем желающим. И, конечно, кандидаты постараются излагать свои мысли понятным языком.

Спешу заверить, что я вовсе не предлагаю как-нибудь ограничить всеобщее и равное избирательное право: его ограничат сами *незаинтересованные* в общественных делах избиратели. Юридическое равенство всех взрослых граждан выражает принципиальное признание человеческого достоинства всех людей — единственно возможное при огромном разнообразии человеческих качеств, не связанных ни с происхождением, ни с общественным и экономическим положением. Этим принципом общество выражает своё уважение к отдельному человеку, *каким он может быть*. Я заимствую это выражение у Экзюпери, говорившего, что его интересует в человеке не то, чем он является, а то, чем он может быть. Если отличать, по выражению Салтыкова, “народ исторический, то есть действующий на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократии”, то принципиальное равноправие очевидным образом относится к народу во втором смысле этого слова. Равенство означает, иначе говоря, что всем людям *дозволяется* быть людьми в полном смысле этого слова; но вовсе не означает, что они *уже таковы*.

“Представительное правление” в том виде, как оно осуществляется в западных демократиях, вовсе не предоставляет гражданам

в самом деле решать общественные дела, хотя и даёт им некоторое влияние на эти дела. Если предположить, что граждане верят в это влияние больше, чем в самом деле могут влиять, то нынешнее положение близко к тому, чего хотели Франклин, Мэдисон и другие “отцы-основатели”. Возникает два естественных вопроса: *в какой мере граждане способны решать общественные дела всеобщим и равным голосованием; и если нельзя признать их к этому способными, то как ограничить происходящее отсюда зло?*

Я понимаю, что самая постановка этих вопросов в наше время выглядит как недопустимая дерзость, и заранее представляю себе, какие опасные истолкования они допускают. Но при виде того, что в нынешней западной культуре называется “демократией”, я не испытываю к ней благоговения; более того, система правления, не изменившаяся по существу со времени “отцов-основателей” (если не считать косметических мер, маскирующих её подлинный характер), вызывает дальнейший вопрос: как могло случиться, что эта система не развивается? Мне могут возразить, что нынешнее западное (например, американское) общество — самое благополучное и свободное, какое когда-либо существовало, что надо ещё доказать возможность лучшего общества, а потому опасно касаться этого столь удавшегося шедевра, произведённого щедростью природы и человеческим благоразумием. Но если нельзя его касаться, то ничего лучшего никогда и не будет. Между тем, люди при этом общественном строе глубоко несчастны, гораздо несчастнее, чем во времена “отцов-основателей”. Они, конечно, больше потребляют, пользуются большим комфортом и большей безопасностью; но у них нет веры в будущее и уверенности в себе, нет любви к людям и простых радостей жизни, и у нас на глазах они перестают различать добро и зло. Всё это я берусь доказать. Но теперь вернёмся к “представительному правлению”.

Во время Франклина и Мэдисона американские избиратели, в общем, способны были судить о государственных делах, которые были куда проще нынешних. Конечно, иностранные дела, финансы и составление законов поручали специалистам; но общий смысл того, что делалось, можно было объяснить простым людям. Очень сомнительно, чтобы это было возможно в наши дни. Не обязательно объяснять людям все технические процессы: электрические лампы светятся, в автомобилях можно ездить, и не нужно знать, почему всё это происходит. Но привычка к этим вещам вызывает к ним неоправданное доверие. Не совсем безопасно жить вблизи проводов высокого напряжения, хотя мы ещё не знаем, почему это вредно

для здоровья; автомобили же выбрасывают в атмосферу углекислый газ, изменяющий климат Земли. Химическая промышленность производит десятки тысяч веществ, никогда не встречавшихся в природе; некоторые из них прямо ядовиты, но в большинстве случаев их действие просто неизвестно. Есть подозрение, что такие вещества могут разрушить озоновую оболочку Земли, охраняющую нас от смертоносных ультрафиолетовых лучей. Атомные электростанции, по-видимому, безопасны при соблюдении строгих правил эксплуатации; но случайное нарушение правил или действия каких-нибудь безумцев могут вызывать страшную катастрофу. Наконец, наша пища и одежда, изготовленные с помощью химических процедур, или просто синтетическим путём, давно уже не обещают безвредности естественных продуктов, проверенной тысячелетним опытом наших предков. Современный человек на каждом шагу сталкивается с ситуациями, о которых он сам не способен судить, и всё чаще с такими, которые возникают *впервые*. Его способность суждения ежедневно подрывает *реклама*, сплошь и рядом рекомендуемая ему плохие товары, и он приучается не доверять тем, кто хочет сбыть ему свои изделия. Он покупает их наугад.

Ещё хуже обстоит дело, когда избирателю предлагают выбрать какой-нибудь политический продукт. В этом случае применяются столь же обманчивые методы рекламы, прямо заимствованные из коммерческой практики и обозначаемые тем же глаголом “сбыть” (*to sell*): партии стараются *сбыть* избирателям своих кандидатов, а кандидаты — *сбыть* им свои идеи, приведённые в нарочито упрощённую форму и апеллирующие не к разуму избирателя, а к его вкусам и предрассудкам, изучаемых психологами с той же дотошной подробностью, как зоологи изучают повадки животных. Конечно, при таком способе изложения избиратель привыкает слышать только то, что ему нравится, и раздражается, если слышит что-то другое. Новые и непривычные идеи вызывают у него тем большую враждебность, что их восприятие требует умственной работы, от которой его всю жизнь стараются отучить. Выборы становятся, таким образом, ещё одним видом конкуренции, которая *хуже* торговой, потому что в политике полагается не только расхваливать собственный товар, но ещё и поносить конкурентов.

Если в обычной торговле покупатель давно уже не способен разобраться в предлагаемых товарах, то политический базар приводит его в полное замешательство. Кандидаты предлагают избирателю разрешить ряд сложнейших вопросов, начиная с налогов и таможенных льгот и кончая атомными станциями и космическими проектами.

ми. В действительности кандидат, как правило, разбирается во всём этом не больше, чем избиратель: его программу составляют эксперты, а он просто заучивает, что должен говорить. Если устраивают “телевизионный диспут”, эксперты натаскивают кандидата на самые вероятные темы, и поскольку его конкурент тоже получает такую шпаргалку, то дебаты не выходят за рамки заранее предусмотренного плана. Экспертам обеих сторон не надо сговариваться: они в самом деле понимают, какие темы важны, и если им заказывают ответы, стараются их убедительно обосновать. Труднее подготовить пресс-конференцию, где могут задавать неожиданные вопросы; для этого надо быть “профессиональным политиком”, умеющим отшучиваться и отвечать общими местами. Киноактёр Рейган этого не умел и часто попадал впросак.

Конечно, избиратели не умеют держать в голове много вопросов, и следят только за одним, а часто попросту голосуют за кандидата с более внушительным видом и более уверенной речью. Зачем же нужна вся эта комедия выборов? Не проще ли передать решение всех дел экспертам? Иначе говоря, если представительное правление превратилось в описанную выше систему, то в чём её преимущества, доставившие ей первенство в современном мире?

Эти преимущества можно разделить на две категории: психологические и кибернетические. Психологическое преимущество состоит, конечно, в том, что “простой человек” (как его назвал Франклин Рузвельт), хотя и знает, что серьёзные политические дела на самом деле решаются “материальной элитой”, то есть сговором дельцов, получает некоторое утешение от своего избирательного права, “поддерживая” кандидата, какой ему больше нравится, и вымещая своё раздражение на другом кандидате, обычно ничем не лучшем. Двухпартийная система заботится о том, чтобы более оригинальные личности и взгляды не появлялись среди кандидатов, то есть были устранены внутрипартийной фильтрацией. Это предотвращает образование не предусмотренных “элитой” политических движений и успокаивает недовольных. Несомненно, психологическое воздействие “равного избирательного права” способствует *равновесию* общественной системы. Той же цели служит кибернетический механизм выборов: давно уже “демократии” отводится роль случайного механизма, обеспечивающего “мирную” смену правящих лиц и снижающего уровень коррупции в государственном аппарате.

Равновесие означает устранение *резких* перемен, но чрезмерная забота о равновесии, свойственная всем консерваторам, может привести к устранению всех *существенных* перемен — к той самой

“китаизации” общественной жизни, о которой говорил Джон Стюарт Милль. Можно представить себе очень неподвижную систему правления, усыпляющую граждан, чтобы отвлечь их от политики, какими-нибудь зрелищами. Такую роль исполняли гладиаторские игры в Риме, состязания на ипподроме в Византии или бой быков в Испании. В современных “демократических” государствах эту роль исполняют выборы.

Несомненно, в нынешнем Западном обществе мы имеем дело с *патологией равновесия*. Обязательное требование “уравновешенности” перешло из общественной жизни в гуманитарные науки, превратившись в препятствие для самостоятельного мышления: любое суждение должно быть “уравновешенным” (*“balanced”*), то есть “учитывающим все за и против”, так что автору не дозволяется уверенно высказываться “за” что-нибудь, кроме очевидных банальностей, и тем более “против” чего-нибудь. Но вернемся к проблеме демократии.

Философ Поппер, специалист по гносеологии науки, волей обстоятельств вынужден был высказываться на общественные темы, о чём он сам говорил с некоторой неловкостью. Нелепые эксперименты коммунистов произвели на него удручающее впечатление. Поскольку он отрицал предсказательную силу исторических теорий, он ударился в другую крайность и предлагал отказаться от всех радикальных изменений общественного строя, ограничившись небольшими поправками существующего порядка. Эти поправки он назвал совсем уж неудачным термином *piecemeal engineering*, что в русском переводе означает приблизительно “кусочная починка”. Вряд ли это выражение может удовлетворить людей, глубоко возмущённых безвыходностью нынешнего образа жизни, и тем более людей, не потерявших надежду на лучшее будущее. У меня попперовская рекомендация вызывает воспоминание о наших искусниках, ходивших по дворам с предложением “паять и починять” старые каstrюли. Но дело не только в убогом символизме Поппера. Дело в том, что его предложение исключает решение всех серьёзных проблем.

В некоторых важных делах радикальные решения неизбежны, а частичные меры ни к чему не ведут. Общая природа живых систем в ряде случаев требует “дихотомических” поступков, выбора между “да” и “нет”. Без таких поступков птица не может взлететь, мужчина не может стать отцом, женщина не может стать матерью. В общественной жизни такими актами могут быть провозглашение независимого государства, отмена сословных привилегий или запрещение

рабства. Первые две меры были приняты в Соединённых Штатах после долгих раздумий, но в решительной и бескомпромиссной форме; третью пытались провести с помощью “кусочной техники”, но эта техника вызвала гражданскую войну.

Кусочная техника не срабатывает, например, в тех случаях, когда пытаются нарушить уже сложившиеся в обществе понятия. Можно искать различные причины американской гражданской войны, но главная причина была в том, что рабство уже нельзя было сделать плохим в одном месте и хорошим в другом. Точно так же, англичане могли “по кусочкам” вводить всеобщее избирательное право, но сознание современного человека не позволяет уже не ввести его *сразу* — ни в какой, сколь угодно отсталой стране. Слава богу, “демократия” стала модой. Пришло время подумать, как нам от неё спастись.

Дело не только в том, что “простой человек” не понимает смысла принимаемых решений. Иногда это неизбежно, и в таких случаях люди всегда полагались — основательно или нет — на мудрость своих вождей и жрецов. Гораздо хуже *равенство вкусов и привычек*, неизбежно ведущее к установлению низменных вкусов и примитивных привычек. Такое равенство порочно в своей основе, поскольку не принимает во внимание *духовное неравенство людей*.

Мыслящая элита. Описанный выше *нормальный* процесс общественного развития сравнивает — в далеко идущей биологической аналогии — развитие человечества с ростом ребёнка. Но ребёнок вырастает и перестаёт расти. Если верить, что существуют общие законы роста живых систем, то возникает пресловутый вопрос о “пределах роста”: можно спросить, когда же человечество будет “взрослым”?

Вспомним, однако, что развитие нашего вида есть развитие не индивида, а *культуры* — всё более единой человеческой культуры — аналогичной виду животных и живущей очень долго. Приспособление к меняющимся условиям среды позволяет виду существовать, по-видимому, сколь угодно долго, и история человеческих культур свидетельствует, что в благоприятных условиях они не погибают, а меняются. Общечеловеческая культура очень молода, она только складывается. Всё предшествующее ей развитие человека, по сравнению с временем жизни “обычных” видов, было очень недолгим. *Человечество не старо, а молодо*. И поскольку это первая живая

система, способная существовать неограниченно долго и наделённая самооценивающим разумом, можно полагать, что эта функция самооценки также эволюционирует вместе с системой.

Функция самооценки общества и выработки его стратегии развития принадлежит его *мыслящей элите*. Люди духовно не равны друг другу, и это неравенство приводит к совсем другим следствиям, чем их материальное неравенство. Все аристократии прошлого были основаны на привилегиях, то есть на особых правах; “аристократия духа”, которая нам нужна, будет основана на *особых обязанностях*. Кому много дано, с того много и спросится. Так всегда понимала свой долг русская интеллигенция: она была мыслящей элитой своего общества.

Насилия она не хотела. Лишь варварское угнетение царской монархии вызвало насильственный революционизм её радикальной, далеко не самой мыслящей части, погубившей русскую культуру и почти всех образованных людей нашей страны. Насилие опасно, даже в качестве средства для благой цели; а в обществе, где соблюдаются права человека, оно выражает лишь отчаяние и несостоятельность тех, кто к нему прибегает.

Мыслящая элита будет внепартийной, внеклассовой и бескорыстной. Она не будет единой организацией, даже союзом организаций. Она не будет ставить себе краткосрочных политических целей, вроде победы на выборах. Мыслящие люди будут думать и проповедовать свои мысли. Они будут искать союзников, инакомыслящих в том числе.

Герцен писал в своей последней работе:

“Я не верю в серьёзность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращённая к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нужны нам прежде авангардных офицеров, прежде сапёров разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам”.

Знаем ли мы, что мы хотим сказать людям? Вот в чём вопрос. Будущий мир не будет похож на нынешний. Люди научатся добровольно ограничивать себя для важных целей. Погоня за деньгами будет так же смешна, как претензии на дворянство. В человеке будут ценить его самого, его личность и его дела. И тогда, покончив с детскими болезнями, человечество сможет приступить к решению серьёзных проблем.

Двойная связка. Теория шизофрении по Грегори Бейтсону¹

Самую страшную из психических болезней называли шизофренией. Слово это составлено из греческих слов, означающих “раскол мозга”, а диагноз охватывает столько разнообразных явлений, что в России, где психиатрия отстала на полвека, иногда говорят о целой группе психических расстройств, объединённых одним словом. Некоторые из пациентов не понимают, что происходит вокруг, случайным образом реагируя на поведение людей и сочиняют бессвязные фантазии: это гебефрения. Другие вообще ни на что не реагируют, неподвижны, как статуи, отказываются от еды — это кататония. Наконец, многие реагируют на окружающее, подозревая во всём коварные замыслы и опасности: это — паранойя. Общая черта всех этих пациентов, пожалуй, состоит только в том, что у них расстроена способность общения с людьми. Пытаясь найти причину болезни, врачи установили, что в семьях шизофреников бывали такие же случаи, иногда в течение нескольких поколений. Наследственные болезни передаются генами, и как только генетика вошла в моду, стали искать “ген шизофрении”, но все открытия этого рода провалились. Поскольку причины болезни были неизвестны, лекарственное лечение искали вслепую, пробуя различные химические вещества. Некоторые из них давали облегчение симптомов, но результаты были нестойки, а сами лекарства вредны. Требовался новый подход, новое понимание работы мозга.

О мозге мы знаем очень мало. Это самое сложное устройство в известной нам вселенной, созданное эволюцией в три миллиарда лет, методом “проб и ошибок”. Эксперименты, с применением всех достижений физики и химии, выяснили только анатомию, но не способ действия мозга: почему столь эффективен этот сложный аппарат, мы не знаем, и все попытки уподобить человеческий мозг чему-то другому, например, компьютеру — ни к чему не привели. То небольшое, что мы знаем о работе мозга, получено методом “чёрного ящика”: рассматривают реакции мозга на заданные стимулы, то есть отношения между “входными” и “выходными” данными

¹ Доклад прочитан в 2000 году студентам Факультета семейного консультирования Томского педагогического университета. В 2003 А. И. разместил его на своём сайте “Современные проблемы. Библиотека”, только что учреждённом совместно с А. В. Гладким и Р. Г. Хлебопросом. — *Прим. ред.*

этой удивительной машины — как это делает механик, которому не разрешается вскрывать секретный механизм. При этом важную информацию можно извлечь из наблюдения психических расстройств, точно так же, как механик может судить о работе механизма, прислушиваясь к его неправильному шуму. Это и делают психиатры со времени Фрейда.

Но, как обычно бывает, выход из тупика потребовал привлечения новых идей; эти идеи были очень далеки от того, с чем привыкли работать врачи. Принёс их Грегори Бейтсон, биолог с широким научным кругозором. Он был сын Уильяма Бейтсона, одного из основоположников генетики (давшего это имя новой науке). После блестящих этнографических исследований Бейтсон, пытаясь объяснить разнообразие человеческих культур, обратился к только что возникшей кибернетике, и в конце 1940-х годов стал применять её идеи к анализу человеческого поведения. Затем, чтобы проверить свои представления на другом опытном материале, он начал заниматься психиатрией, собрав группу выдающихся сотрудников. Он заинтересовал этими исследованиями знаменитого психотерапевта Милтона Эриксона, который ввёл их результаты в свою клиническую практику.

Общение между людьми, или, как говорят на научном языке, коммуникация состоит из “сообщений”, различающихся не только сюжетом, но и логическим уровнем: человеческие высказывания могут быть более конкретны или более абстрактны. Простейшие из них — это описательные предложения, выражающие прямые отношения предметов, вроде сообщения “Кошка сидит на стуле”. К следующему логическому уровню относятся сообщения о сообщениях первого типа, например: “Все кошки ленивы”. Высказывания этого рода являются, в свою очередь, предметом более общих сообщений, вроде следующего: “Животные не двигаются без надобности”. Такие сообщения образуют более высокий логический тип. По-видимому, высокие типы абстрактных сообщений не свойственны животным и являются особой характеристикой человека.

Но простейшие виды абстракции встречаются уже у высших животных: важнейшим примером является *игра* — способ общения, при котором животное имитирует серьёзные занятия, вроде борьбы, охоты или полового сближения. Уже у животных есть система сигналов, отделяющих “игровое” поведение от “серьёзного”. У человека игровые способы коммуникации несравненно сложнее и разнообразнее, от повседневного юмора, театра и искусства до “звериной серьёзности” ритуалов политики и религии. Переход к

этим игровым состояниям отмечается сигналами, иногда отчётливо определёнными условиями, как театральный зал или обстановка богослужения, но чаще всего интонацией голоса, жестами и выражением лица. Очень редко переключение способов коммуникации производится объявлением “это шутка”, и принято думать, что только маленькие дети переживают события на сцене как подлинную жизнь.

Другая категория общения связана с агрессией, начиная с повседневных сцен раздражения до военных психозов, охватывающих целые популяции. Сигналы перехода в агрессивное состояние могут быть весьма разнообразны, от повышения тона до объявления войны. Вся семейная и общественная жизнь человека делится на сменяющие друг друга способы коммуникации; переключения их в обычных условиях столь привычны, что мы бессознательно производим и воспринимаем обозначающие их сигналы. Расстройство этой сигнальной системы и есть шизофрения.

Это значит, в частности, что шизофреник не понимает, в каком состоянии находится другой человек, и чего от него можно ждать. Он не умеет вступать в определённые отношения с людьми, а потому старается их избегать. Чтобы не определять эти отношения, он всё время смещает предмет разговора, заменяя лица и ситуации. Эти замены не случайны, а представляют обычно конструкции, связанные с его опасениями, но их беспорядочное наложение может производить странную смесь — так называемый “шизофренический винегрет”. В более тяжёлых случаях или на дальнейших стадиях болезни наступает полная изоляция, или параноидальная мания преследования, в которой пациент может быть опасен для окружающих.

Бейтсон пришёл к выводу, что непосредственной причиной шизофрении является неспособность воспринимать и производить сигналы, определяющие смысл следующей за ними коммуникации, что делает невозможным нормальное общение. Он приводит характерные примеры смешения сигналов, взятые из клинической практики.

Буфетчица спрашивает пациента, что ему угодно (в буквальном английском выражении: *What can I do for you?* — Что я могу для Вас сделать?). Сигналом, объясняющим смысл этого обращения, является контекст: поскольку девушка стоит за прилавком, речь идёт о предметах, которые она предлагает, но шизофреник не может понять, к чему относится сказанная фраза. Он колеблется между двумя толкованиями: девушка угрожает убить его, или назначает ему любовное свидание. Другой пациент каждый день проходит мимо

кабинета врача, на двери которого написано: “Просьба стучать”. Сигналом, объясняющим эту просьбу, является самый факт, что надпись находится на двери кабинета, но шизофреник понимает её буквально и каждый раз стучит в эту дверь.

Часто можно встретить нормальных людей, не понимающих шуток, и случается, что люди, считающиеся нормальными, увидев в телевизионной пьесе симпатичную простуженную девушку, посылают ей лекарства. Непонимание сигналов, свидетельствующих о переключении видов коммуникации, может быть причиной дипломатических осложнений, а при столкновении разных культур может вызвать кровопролитие. Капитан Кук, самый гуманный из мореплавателей, был убит на Гавайях людьми, не понявшими его намерений. И в наше время мы ежедневно воспринимаем нелепые попытки коммуникации, не достигающие своей цели — например, бездарную рекламу, вызывающую отвращение к предлагаемым товарам. Шизофрения — это предельный случай расстройства коммуникации.

Но что вообще представляет собой коммуникация между людьми, и каким образом можно определить её логический уровень? Уровнями абстракции занимается современная логика — “символическая” или математическая логика, классифицирующая всевозможные высказывания по введённым Расселом логическим типам. Связь повседневной коммуникации с логическими типами Рассела заметил в 1955 году сотрудник Бейтсона Джей Хейли. Бейтсон осознал, что логические типы являются важным ключом к пониманию психической жизни человека. Чтобы понять его открытие, нам тоже придётся кое-что о них узнать.

В 19 веке немецкий математик Георг Кантор, абстрагировав некоторые основные идеи ряда математических дисциплин, создал “теорию множеств”, вскоре ставшую необходимым орудием для решения внутренних задач математики. Теория эта была столь абстрактна и непохожа на обычные, что даже сами математики, в своём большинстве, затруднялись её понять. Уже сам Кантор, однако, обнаружил в ней трудности: принятые в ней способы рассуждения в некоторых случаях приводили к противоречиям. Его соотечественник Готлоб Фреге использовал теорию множеств для обоснования арифметики. Никто не сомневался в правильности арифметики, но у математиков бывают свои заботы, непонятные обыкновенным людям. Фреге выпустил уже первый том своих “Оснований арифметики” и подготовил к печати второй, когда молодой английский математик Бертран Рассел сообщил ему (в 1903 году) своё возмущение

против построений теории множеств, заставившее Фреге отказаться от публикации. Мы постараемся объяснить этот “парадокс Рассела”.

Множеством называется совокупность предметов, описываемая некоторым высказыванием. Обычно речь идет о предметах, объединяемых общим свойством: математики рассматривают множества чисел, точек, треугольников или других фигур. В повседневной жизни мы тоже всё время говорим о различных множествах, состоящих из конкретных или абстрактных предметов: можно представить себе, например, множество всех стульев, или множество всех слов русского языка, или множество всех железнодорожных расписаний. Трудности, связанные с понятием множества, удивительным образом ощутили ещё древние греки, предварившие столь многие из наших открытий: у них был так называемый “парадокс Эпименида”. Эпименид якобы утверждал, что “все критяне — лжецы”, но сам он был критянин. Если он говорил правду, то в качестве критянина он лгал; если он лгал, то отсюда следовало лишь, что не все критяне — лжецы, но вовсе не то, что сам он, в данном своём высказывании, сказал правду. В сущности, парадокс здесь не получился. Такой мнимый парадокс не испугал бы искушённого логика Фреге. Парадокс Рассела не так легко было сбросить со счёта.

Я приведу сейчас парадокс Рассела в том виде, как он был высказан. Понятие множества, как оно возникло в математике, не накладывало никаких ограничений на состав его элементов — то есть входящих в него предметов. В частности, при этом не запрещалось, чтобы множество было своим собственным элементом. Скажем, множество M может состоять из трёх элементов: чисел 1, 2 и самого множества M . В концепции Кантора не было ничего запрещающего такие множества! И вот, чтобы внести ясность в этот вопрос, Рассел выделил “хорошие” множества, не содержащие самих себя в качестве элемента, и “плохие”, содержащие себя в качестве элемента (эти названия он, впрочем, не применял). Затем Рассел рассмотрел множество *всех* “хороших” множеств: назовем это множество M . Спрашивается: какое множество M — “хорошее” или “плохое”? Предположим сначала, что M — “хорошее” множество. Тогда, по определению “хорошего” множества, оно не может содержать M в качестве элемента. Но M содержит в качестве элементов все “хорошие” множества; значит M не может быть “хорошим”. Пусть теперь M — “плохое” множество. Тогда M должно содержать себя в качестве элемента, но M , по определению, содержит в качестве элементов *только* “хорошие” множества — значит M не может быть “плохим”. В обоих случаях получается противоречие.

Этот простой парадокс произвёл на математиков потрясающее впечатление. Не только Фреге не мог окончить свой трактат; великий математик Пуанкаре переменял своё отношение к теории множеств и стал её избегать! Каким бы странным ни казалось “множество”, построенное Расселом, в распоряжении математиков не было тогда никаких средств избавиться от подобных парадоксов. Но сам Рассел не довольствовался этой “разрушительной” работой. Он стал искать выход из положения и нашёл его: он понял, что надо ограничить способы построения множеств, расположив их в иерархическом порядке. Это спасло теорию множеств и положило начало современному обоснованию математики и логики.

Идея Рассела состояла в том, что множества надо строить в строго иерархическом порядке, при котором никогда не сможет случиться, чтобы какое-нибудь множество оказалось элементом самого себя. Сначала строятся множества, состоящие только из конкретных индивидуальных предметов: точек, треугольников или стульев; назовем такие множества множествами первого типа. Затем строятся множества, элементами которых могут быть только множества первого типа; эти множества составят второй тип. Действуя и дальше таким образом, можно избежать “плохих” множеств, и парадоксы теории множеств исчезают. Это был грандиозный план, выполненный Расселом в сотрудничестве с его учителем Альфредом Уайтхедом (*Principia Mathematica*, 1910–1913).

Казалось, все эти абстрактные построения могли лишь косвенно повлиять на повседневную жизнь. Но Рассел прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как его идеи приобрели значение для теории коммуникации, и притом в самом прямом смысле этого слова — для понимания повседневных коммуникаций человека. Оказалось, что иерархический способ построения понятий и высказываний изобрела уже сама природа, создав человеческий мозг и способы человеческого общения! Как часто бывает, первый шаг к пониманию этой системы был сделан при изучении её патологических расстройств. Отношения между уровнями сообщений вполне аналогичны иерархическому построению множеств, последовательно возникающих в логике Рассела. Как правило, более высокие уровни сообщений абстрактнее более низких и относятся не к конкретным предметам, а к множествам этих предметов, объединяемым некоторым свойством, к описаниям или оценкам этих предметов. Такие сообщения более высокого типа определяют значение связанных с ними сообщений низших типов. Отношения между различными уровнями абстракции Бейтсон уподобляет отношению между обедом и ресторанным

меню. Меню несъедобно, и нормальный человек не смешивает его с обедом.

Другой пример — это отношение между частью Земли и изображающей её картой. Подобные ошибки не так уж редки. Если не говорить о журналистах и политиках, так часто обманывающих публику и самих себя, то и гуманитарные учёные не всегда отчетливо различают уровни описания, смешивая абстрактные понятия своих рассуждений со стоящими на другом уровне конкретными явлениями жизни. Их заблуждения аналогичны смешению карты с территорией. Мало того, как выяснил Рассел, значительная часть так называемой “классической философии” основана на путанице, происходящей от той же причины — смешения логических типов.

Шизофреник делает то же, но на уровне повседневной жизни. Его главная беда — это неумение различать логические уровни сообщений, потому что у него не действует система восприятия и анализа сигналов, различающих эти уровни. Шизофреник подобен человеку, не отличающему театральный спектакль от действительной жизни, потому что он не воспринимает сигналов, исходящих от сцены, занавеса и билетов. Если выразить его состояние более общим образом, он не воспринимает сигналов “это игра”, “это шутка”, “это сочинение” и т. д. — сигналов, которыми нормальные люди непрерывно обмениваются в ходе повседневного общения. Вследствие этого, шизофреник не может предвидеть поведение других людей и неспособен планировать своё собственное поведение. Он неправильно истолковывает свои восприятия и всячески избегает втягиваться в ситуации, которых не понимает.

Таким образом, шизофрения может быть понята как тяжкое *поражение системы общения с людьми* — сложнейшей системы, о которой мы обычно не задумываемся, потому что с детства постигаем правила обращения с ней, попутно с усвоением языка и элементов унаследованной культуры. Все странные формы поведения шизофреников можно расшифровать, исходя из этой гипотезы.

Возникает вопрос: чем вызывается шизофрения? Почему у некоторых людей не развивается или слабо развивается распознавание сигналов, означающих уровни коммуникации? Причины этого Бейтсон обнаружил в детстве шизофреника, в его семейном окружении. Как показало детальное изучение “шизогенных” семей, с подробной киносъёмкой, ребёнок в такой семье находится в особых условиях, и ключевое положение в развитии болезни чаще всего занимает его мать. То, что при этом происходит, плохо вяжется с обычным представлением о материнской любви. В таких семьях мать “вгоняет”

ребёнка в шизофрению с помощью точно описанного механизма, который Бейтсон назвал *“двойной связкой”*.

Прежде всего, надо расстаться с иллюзией, будто все матери любят своих детей. В нашей стране, где брошенные, отвергнутые матерями дети превратились в социальную проблему, можно было бы говорить об особой патологии, связанной с общественной катастрофой. Но гораздо раньше, в условиях *“благополучного”* буржуазного общества психологи заметили, что значительная доля матерей в действительности перестаёт любить своих детей в возрасте 5–6 лет. Эрих Фромм описывает в своей книге *“Искусство любить”* истерическое поведение таких матерей, выражающих в бурных сценах ненависть к своим детям, и советует верить этим чувствам. Объяснение, по Конраду Лоренцу, состоит в том, что общий всем приматам материнский инстинкт угасает, когда дети достигают указанного возраста. Но у человека воспитание ребёнка втрое дольше, поскольку развитие мозга гораздо сложнее; это явление — так называемая неотения — привело к возникновению другого, чисто человеческого инстинкта материнской любви, действующего в течение всей жизни. Механизм этого сравнительно молодого вторичного инстинкта, как это всегда бывает в эволюции, менее надёжен, чем действие древних инстинктов, и *“включение”* его после *“выключения”* первичного инстинкта часто не срабатывает. В таких случаях матери и в самом деле не любят своих детей, хотя по социальным причинам вынуждены изображать отсутствующее у них чувство. Конечно, эти несчастные женщины не понимают подсознательных процессов, о которых идёт речь, но попытки обмануть подсознание к добру не ведут. Другая причина, мешающая развитию материнской любви, — это нелюбовь к мужу, сознательная или нет, которая сплошь и рядом переносится на ребёнка.

Мать, не любящая своего ребёнка, но вынужденная имитировать отсутствующее чувство, представляет гораздо более частое явление, чем принято думать. Она не выносит сближения с ребёнком, но пытается поддерживать с ним связь, требуемую приличием. Ребёнок, нуждающийся в материнской любви, инстинктивно тянется к матери, поощряемый её словесным обращением. Но при физическом сближении у такой матери начинает действовать механизм отталкивания, который не может проявиться в прямой и недвусмысленной форме и маскируется каким-нибудь косвенным способом: мать придирается к ребёнку по любому случайному поводу и отталкивает его, высказывая это на более абстрактном уровне, чем первичный уровень *“материнской любви”*. У ребёнка находится какой-нибудь

недостаток, он всегда оказывается в чём-нибудь виноват; например, его любовь к матери объявляется неискренней, потому что он не сделал того или другого. Таким образом, ребёнок воспринимает противоположные сообщения, выражающие притяжение и отталкивание, и обычно на разных логических уровнях: притяжение выражается в более простой и прямой форме, а отталкивание — в более сложном, замаскированном виде, с помощью несловесной коммуникации или рассуждений, ставящих под сомнение его любовь к матери.

Складывающийся таким образом стереотип связи между матерью и ребёнком продолжается и тогда, когда ребёнок идёт в школу. Внушения матери в таких случаях тоже имеют двойной характер: на низшем уровне мать внушает ему, что он не должен драться с Петей, Васей и т. п., а на высшем, более абстрактном уровне — что он должен “защищать своё достоинство”, “не давать себя в обиду”, и т. д. Конечно, во всех случаях ребёнок оказывается виновным, поскольку он не исполняет либо первого, прямого внушения, либо второго, косвенного. Этот конфликт между двумя уровнями общения, при котором ребёнок “всегда виноват”, и называется *двойной связкой*. Открытый таким образом механизм двойной связки вовсе не ограничивается отношениями между матерью и ребёнком, но представляет весьма распространённую патологию человеческого общения.

Бейтсон иллюстрирует эти отношения клиническими примерами. Приведём один из них (*G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind*, Ballantine Books, N.Y., 1972).

“Молодого человека, только что вышедшего из острого приступа шизофрении, навещает в больнице его мать. Обрадовавшись ей, он импульсивно обнимает её за плечи, на что она отвечает оцепенением. Он отводит руку, и она спрашивает: “Разве ты больше не любишь меня?” Он краснеет, а она говорит: “Милый, ты не должен так смущаться и стыдиться своего чувства”. Пациент едва смог пробыть с ней несколько минут. Сразу же после её ухода он напал на ассистента, и его пришлось связать.

Конечно, этого можно было избежать, если бы молодой человек способен был сказать: “Мама, ведь я видел, что тебе было неприятно, когда я тебя обнял, что тебе трудно было принять моё чувство”. Но у шизофренического больного такой возможности нет. Его глубокая зависимость и его опыт не позволяют ему комментировать поведение его матери, она же комментирует его поведение и вынуждает его принять всю законченную последовательность действий. При этом пациент испытывает следующие трудности:

(1) Реакция матери, не принимающей чувства своего сына, искусно прикрывается осуждением его жеста замешательства, а пациент, приняв это осуждение, отрицает тем самым своё восприятие происшедшего.

(2) Высказывание “Разве ты больше не любишь меня?” в этом контексте означает, по-видимому:

(а) “Меня надо любить”.

(б) “Ты должен любить меня, а иначе ты плохой сын и виноват передо мной”.

(в) “Ты ведь любил меня раньше, а теперь не любишь”, и тем самым внимание смещается с выражения его чувства на его неспособность чувствовать. Для этого у неё есть основания, поскольку он также ненавидел её, и он, соответственно, отвечает на это чувством вины, на которое она реагирует падением.

(г) “То, что ты только что выразил, *не было любовью*”.

Возникает безвыходная дилемма: “Если я хочу сохранить мою связь с матерью, я не должен показывать ей, что люблю её, но если я не покажу, что люблю её, я её потеряю”.

Вовсе не всегда такой конфликт приводит к катастрофическим последствиям. Здоровая реакция ребёнка на бессознательное лицемерие матери — это сопротивление: почувствовав противоречия между требованиями матери, ребёнок начинает их “комментировать”, доказывая несправедливость матери и свою правоту. Но если мать реагирует резким запретом комментировать её поведение (например, угрожая покинуть ребёнка, сойти с ума или умереть, и т. д.) и тем самым не позволяет ему сопротивляться, то у ребенка подавляется способность различать сигналы, обозначающие характер коммуникации, что и составляет зачаток шизофрении. Иногда может помочь вмешательство отца, но в “шизогенных” семьях отец слаб и беспомощен.

Если ребёнок имеет возможность сопротивляться противоречивым требованиям матери, это, конечно, нарушает спокойствие семьи, но у такого ребёнка есть шансы вырасти здоровым: он научится распознавать сигналы, определяющие логические уровни сообщений. В более абстрактном требовании он распознаёт отрицание более конкретного, возмущается и не всегда повинется, но отнюдь не смешивает две стороны “связки”.

Иначе складывается дело, если ребёнок не может сопротивляться. Ребёнок *учится не различать логические типы сообщений*, делая тем самым первый шаг к шизофрении. На претензии матери он отвечает теперь искренним непониманием, так что его считают

“ненормальным”. А потом этот же шаблон отношений переносится на других людей; но это вовсе не значит, что такой ребёнок непременно станет психически больным. Он ходит в школу, проводит время вне семьи и может постепенно научиться различать “сигналы переключения контекстов”, если его отношения с “шизогенной” матерью были не слишком интенсивны. Может быть, он будет делать это не так хорошо, как другие; вероятно, у него не особенно разовьётся чувство юмора, и он не будет так заразительно смеяться, как его друзья.

Можно понять, как вся эта последовательность событий связана с наследственностью. Прежде всего, человек, воспитанный в “двойной связке”, сам подсознательно привыкает к этой системе отношений и применяет её к своим детям. По указанным выше причинам это чаще всего бывает мать: у отца, по-видимому, нет инстинктивной любви к детям, а культурно обусловленные чувства — не менее подлинные и сильные — не подвергаются у него рискованному перелому, связанному с инстинктом. Кроме того, отцы чаще всего не особенно занимаются детьми, поскольку больше заняты на работе. И так, мать склонна передавать навыки двойных связей своим детям. Если условия не позволяют детям сопротивляться этому воспитанию, то возникает “шизофреническая семья”; если позволяют, то вредная традиция не образуется, и в следующем поколении этот отвратительный механизм может исчезнуть. Но такая наследственность зависит не от генов, а от воспитания — это *культурная* наследственность.

Теперь можно представить себе и роль генетической компоненты. То, что наследуется с генами — это не какой-то мифический “ген шизофрении”. Все заявления об открытии такого гена неизменно опровергались при более тщательном исследовании: генетически ребёнок наследует большую или меньшую способность к сопротивлению, способность возражать, “комментировать” внушения родителей, быть “непослушным” — и вырастать здоровым, вопреки внушениям шизогенной семьи. Некоторая генетическая компонента присутствует и у матери: Бейтсон полагает, что эта способность зависит от *гибкости* поведения. Недостаток гибкости приводит к жёстким паттернам отношений между ребёнком и его матерью, устанавливаемым на всю жизнь, а потом переносимым на отношения с другими людьми. Генетикам ещё предстоит выяснить, что именно из наследуемых признаков способствует возникновению шизофрении. Во всяком случае, наблюдения Хейли показывают, что при успешном психотерапевтическом лечении шизофрении симптомы болезни

отстают, а это не свойственно болезням со специфической наследственной основой. Мифический “ген шизофрении” — всего лишь попытка найти лёгкое решение сложной проблемы.

Как часто бывало в истории науки, открытие механизма шизофрении привело к лучшему пониманию широкого круга явлений. Дело в том, что парадоксы, возникающие из смешения логических типов, играют важную роль в разных явлениях человеческой жизни. Например, юмор почти всегда возникает вследствие намеренного или нечаянного перехода от конкретного, буквального смысла к более общему, переносному, или наоборот. В простейшем случае так строятся басни, где звери заменяют определенные человеческие типы, или анекдоты, построенные на созвучии слов. Конрад Лоренц полагает, что юмор — новейшее достижение эволюции, свойственное только людям, и обозначает отсутствие чувства юмора выражением “звериная серьёзность”.

Без нарушения логических типов — без юмора и метафор — была бы просто невозможна художественная литература. Вся поэзия построена на метафорах, а метафора есть намеренная замена логического типа, обычно на более абстрактный. “Металла звон, глагол времён”, “Буря мглою небо кроет”, “Эта глупая луна”, “Память сердца”. Нельзя представить себе поэта, всегда соблюдающего логические типы! Более того, “парадоксальность” мышления лежит в основе всякого творчества. Последовательное соблюдение логических типов полезно, когда воспроизводят чужую мысль, но оно не может произвести новую мысль: творчество предполагает случайную составляющую, а случайность не знает правил. Пушкин оставил нам удивительные строки, бросающие свет на психологию творчества:

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...

Кому же, как не ему, было это знать?

“С точки зрения философии гуманизма, целью человеческого общества является создание более высокого типа человека. Это значит — создание человека, всесторонне развивающего свои способности во всех областях жизни — от простого к сложному, от грубого к утончённому, от неразумного к разумному. При этом, в отличие от бесчеловечных представлений сословного общества, высокое развитие должно быть доступно *каждому* человеку, что предполагает, тем самым, высокое развитие общества *в целом*.”



Абрам Ильич Фет (5 декабря 1924, Одесса — 30 июля 2007, Новосибирск) — известный российский математик и физик. Работал в Сибирском отделении Академии Наук.

Абрам Ильич много размышлял о человеческом обществе, о биологической и культурной природе человека. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

В дополнительный том вошли статьи А. И. Фета по философским, социальным и историко-культурным проблемам, не вошедшие в предыдущие тома данного Собрания сочинений.

American Research Press, 2015

ISBN 978-1-59973-400-2



9 781599 734002 >